

105)
по 53-
и

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ**

Областная библиотека
им. А. М. Горького
гор. Калинин

2

ВЫСШАЯ ШКОЛА

1963

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ

2(22)

1963



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
МОСКВА

35672

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. Д. Арутюнова, Л. И. Базилевич, Г. П. Бердников, Р. А. Будагов, Ю. Б. Виппер, Вал. В. Иванов (зам. ответственного редактора), Б. А. Ларин, Т. П. Ломтев (ответственный редактор), А. С. Мельничук, А. И. Метченко, И. В. Мыльцына, В. П. Неустров, Л. Д. Позднеева, К. С. Прогасова, П. Г. Пустовойт (зам. ответственного редактора), А. Н. Соколов, Л. Г. Якименко, В. Н. Ярцева

Ответственный секретарь редакции — *В. Н. Епифанская-Казюк*
Ст. редактор *С. В. Кузнецова*

Адрес редакции: Москва, К-9, проспект Маркса, 18,
редакция журнала «Филологические науки»
Тел. Б 9-99-14, доб. 1-96

СТАТЬИМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА

Г. П. Щедровицкий

Зачем нужно исследовать происхождение языка?

В XIX столетии необходимость и возможность такого исследования, по-видимому, не вызвала особых сомнений. Во всяком случае, Г. Штейнталь при обосновании этой проблемы счел возможным ограничиться относительно коротким указанием на то, что ею занимались по существу все крупные философы, начиная с Пифагора¹. XX век настроен куда более скептически. Например Г. Ревеш — автор самого интересного из последних исследований по происхождению языка — считает, что стремление к исследованию «происхождения» различных объектов не может быть объяснено задачами познания настоящего и лежит в «глубине глубин» человеческого духа². Если бы дело действительно обстояло так, то вопрос о происхождении языка (как и вопросы о происхождении всех других явлений) заслуживал бы только одного — исключения из сферы науки. Собственно, такого взгляда и придерживаются сейчас многие лингвисты, прежде всего — представители наиболее развивающихся «структуральных» направлений. В основе их отношения к этой проблеме лежит, судя по всему, то самое соображение, которое мы находим у Ревеша: исследование происхождения языка не даст ничего для познания его настоящего состояния. Поэтому именно это положение требует обсуждения.

Характерной особенностью современной науки является то, что на передний план выдвигается повсюду задача «структурного» исследования объектов и изображения их в виде сложных систем взаимосвязанных между собой элементов. Этот процесс захватывает в настоящее время и языкознание.

Последнее утверждение — особенно из-за слов «в настоящее время» — может вызвать возражения и нуждается поэтому в пояснениях, в частности, по линии различения и связанного с этим уточнения понятий *системности* и *структурности*. То, что разделение этих понятий до

¹ H. Steinthal, Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens, Berlin, 1877, s. 1—3.

² G. R é v é s z, Ursprung und Vorgeschichte der Sprache, Bern, 1946, s. 11

сих пор не проведено, объясняется прежде всего тем, что в специально научных исследованиях не различаются и не отграничиваются друг от друга характеристики *знания* и *объекта знания*.

Научное знание всегда системно. Уже простейшие виды знания, такие как «береза — белая», «металл — электропроводен» и т. п., представляют собой «системы»: форма их состоит из элементов, связанных друг с другом, а вместе с тем и содержание выступает расчлененным и одновременно связанным в некоторое единство. И какие бы другие более сложные виды знаний мы ни брали — отдельные положения или целые теории, — они всегда будут системными. Разница заключается только в виде и сложности самих систем.

Обратимся теперь к объектам. Всякий реальный объект, если говорить об его «материальной природе», представляет собой *сложное целое* и имеет определенное *строение*. Но, в зависимости от задач исследования, он может рассматриваться и рассматривается по-разному: во-первых, как *простое тело*, со стороны «внешних», если можно так сказать, свойств (последние, в свою очередь, могут быть: а) *атрибутивными*, или б) *функциями*); во-вторых, как *сложное тело*, со стороны *состава*, т. е. как собрание, *совокупность элементов* (последние могут рассматриваться: а) как разнородные, и тогда состав характеризуется только по «качеству», или б) как однородные в определенном отношении, и тогда состав получает также и *количественную характеристику*); наконец, в-третьих, как «*сеть*» или «*решетка*» *связанных* между собой элементов. В этом последнем случае на передний план в исследовании выступают не элементы и даже не отношения между ними, а связи элементов. Нам здесь важно отметить, что это — *объективные* связи, т. е. не связи между элементами знания об объекте — в этом случае мы опять вернулись бы к системности знания, — а связи между элементами самого объекта и в самом объекте, связи, не как продукт мыслительной деятельности, а как то, что исследуется и должно быть определенным образом воспроизведено в знаковой форме знания.

Только этот подход к исследованию объекта и только такое воспроизведение его в знании мы называем «структурными» (в противоположность «системным»).

С этой точки зрения, к примеру, знания «береза — белая» и «металлы — электропроводны» не являются структурными: они не выражают никаких связей между объектами и в объектах. Не являются структурными и такие знания как «А больше В»: они выражают *отношения*, а не связи³. Точно так же не являются структурными многие языковедческие знания и системы этих знаний (можно сказать, — по-

³ Почти во всех работах по логике и специальным наукам термины «связь» и «отношение» употребляют в настоящее время как синонимы. До самого последнего времени не было выявлено никаких точных критериев для различения *знаний об отношениях* и *знаний о связях* и, соответственно, *самих отношений* и *связей*. В резкой и достаточно общей форме этот вопрос впервые поставлен и решен А. А. Зиновьевым. (См. А. А. Зиновьев, Логическое строение знаний о связях, Сб. «Логические исследования», М., 1959; Его же, Следование как свойство высказываний о связях, ИДВШ, «Философские науки», 1959, № 3; Его же, К вопросу о методе исследования знаний. Высказывания о связях, Доклады АПН РСФСР, 1960, № 3; Его же, К определению понятия связи. Вопросы философии, 1960, № 8. См. также В. С. Швырев, К вопросу о каузальной импликации, Сб. «Логические исследования», М., 1959. О том, как складываются связи знаний вида «береза—белая» или «металл—электропроводен», не отражающие связей объектов, см. Г. П. Щедровицкий, О строении атрибутивного знания, Сообщения I VI, Доклады АПН РСФСР, 1958, № 1, № 4; 1959, № 1, № 2, № 4; 1960, № 6.

давляющее большинство). Они системны, но не структурны, поскольку не отражают объективных структур.

Этих замечаний недостаточно для точного определения понятий «системности» и «структурности», но их достаточно, чтобы пояснить смысл выдвинутого выше положения: говоря, что в настоящее время все науки, включая и языкознание, все больше вовлекаются в структурное исследование, мы имеем в виду именно то, что они все чаще и чаще начинают рассматривать свой объект как *структуру*. А это действительно датируется самым последним временем.

Более того, мы не говорим, что в этих науках осуществляется структурное исследование, а только то, что они вовлекаются в него. Тем самым мы стремимся подчеркнуть, что успехи структурного исследования еще крайне незначительны. Объясняется это прежде всего тем, что эмпирическое структурное исследование сложных объектов (какого бы частного вида они ни были) наталкивается на весьма серьезные затруднения, которые, в общем и целом, остаются пока что непреодолимыми.

Характер этих трудностей был довольно подробно описан в целом ряде книг и статей⁴, и мы поэтому не будем здесь на них останавливаться. Важно подчеркнуть только один момент: затруднения, возникающие на пути эмпирического анализа структуры сложных объектов, приводят к подмене, можно даже сказать, к «перевертыванию» самой задачи — вместо того, чтобы анализировать, расчленивать и абстрагировать заданный объект, начинают строить, конструировать другой объект, структурный, и рассматривают его в качестве *заместителя* или *модели* исследуемого объекта. Поскольку структура модели создается, строится самим исследователем, она известна, а поскольку она рассматривается как модель исследуемого объекта, то считается познанной и структура последнего.

Таковыми были уже самые первые исследования структур в механике (И. Бернулли, Ж. Д'Аламбер). Их метод был перенесен затем в исследование строения вещества (так называемые «молекулярно-кинетические», «электронные» теории и т. п.), а в последнее время получил распространение и во всех других науках. В частности, не так давно специально обсуждались возможности применения этого метода при анализе языка⁵. По существу, такое перевертывание задачи является, по-видимому, единственным известным нам сейчас продуктивным средством и способом исследования и воспроизведения в мысли структур объектов.

Но вместе с тем — и эта сторона дела должна быть отчетливо осознана — то обстоятельство, что структуры объектов-моделей строятся, конструируются, не снимает задачи *эмпирического*

⁴ См. в частности: W. Köhler, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand, Eine naturphilosophische Untersuchung, Braunschweig, 1920; Его же; Gestaltpsychologie, New York, 1929; Его же, Psychologische Probleme, Berlin, 1933; Н. Винер, Кибернетика, М., 1958; У. Росс Эшби, Введение в кибернетику, М., 1959; В. И. Кремянский, Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии, Вопросы философии, 1958, № 8; А. А. Зиновьев и И. И. Ревзин, Логическая модель как средство научного исследования, Вопросы философии, 1960, № 1; В. А. Лекторский, В. Н. Садовский, О принципах исследования систем (в связи с общей теорией систем Л. Берталанфи), Вопросы философии, 1960, № 8.

⁵ Y. Bar-Hillel, Logical syntax and semantics, «Language», vol. 30, 1954; N. Chomsky, Logical syntax and semantics: their linguistic relevance, «Language», vol. 31, 1955

анализа структуры исходных исследуемых объектов. В господствующих течениях современной позитивистской методологии или «логики науки» проблема построения систем моделей получила *специфически математическую* окраску и берется крайне односторонне. Вопрос о соответствии модели исходному объекту, или, иначе, вопрос об «адекватности» модели (конечно, относительно определенной задачи) отодвигается на задний план или совсем отбрасывается. Это достигается благодаря отделению вопроса о построении модели от вопроса о так называемой *интерпретации* ее. Получается, что сначала мы должны построить структуру («формальную», как часто говорят), а затем уже решать вопрос, может она рассматриваться как модель исследуемого объекта или не может. Все, что относится к решению первой задачи, есть фактически *чистая «математика»*, т. е. «формальная» дисциплина, занимающаяся построением (в пределе — любых) в возможных структурах; и это построение, по существу, независимо от задачи исследования того или иного частного объекта. Но таких структур, очевидно, может быть бесконечно много, а в эмпирическом исследовании нас интересует всегда только одна определенная структура, дающая «правильное» изображение заданного объекта. Поэтому в эмпирическом исследовании нас всегда интересует не просто построение какой-либо формальной структуры и не принципы построения формальных структур вообще, а такое построение, которое было бы оправдано с точки зрения задачи отражения или изображения одного определенного объекта, которое, если и не в каждом шаге, то уж, во всяком случае, в основных принципах, апеллировало бы к объекту, доказывало бы свою «эмпирическую истинность». Очевидно, что теория формального построения системы, т. е. построения, отделенного от процессов интерпретации, не может дать такого обоснования и оправдания. Но это значит, что «математическая» теория построения структур, хотя она и является как идея весьма естественной, а как теория — весьма плодотворной в определенных отношениях, тем не менее ни в коем случае не может заменить или полностью вытеснить задачу эмпирического исследования определенных структурных объектов. Она лишь становится рядом с этой последней и дает ей определенные формальные средства. Но, чтобы стать логикой эмпирического исследования, они должны быть дополнены приемами эмпирического анализа. А эти приемы, как мы уже говорили, остаются до сих пор в общем и целом неисследованными.

Когда в сферу изучения попадают *исторически развивающиеся* или, как их называл К. Маркс, «*органические*» объекты, то дело, с одной стороны, еще более усложняется, а с другой, несколько облегчается в определенных отношениях.

Усложняется потому, что в объектах такого типа существуют фактически две системы связей — *функционирования* и *генезиса*⁶, причем

⁶ Различение структур *функционирования* и *генезиса* существенно отличается от традиционного различения «*синхронии*» и «*диахронии*». «*Функционирование*» в такой же мере *кинематический* процесс, как и развитие. Схемы того и другого одинаково предполагают *время* и одинаково независимы от него. Различить функционирование и развитие можно только относительно структурного изображения объекта. Функционированием являются все движения, *оставляющие исходную структуру неизменной*. Сюда входят и те изменения структуры, которые происходят по циклической схеме, т. е. через некоторое время и через ряд промежуточных положений возвращают ее в прежнее состояние. Развитием, в противоположность этому, являются изменения, *приводящие структуру к новому виду*.

эти системы с одной стороны, существенно различны и должны быть различены, а с другой, не могут быть отделены друг от друга. Если мы, предположим, ставим перед собой задачу исследовать и воспроизвести в знании связи функционирования органического объекта отдельно от связей генезиса, то очень часто это просто невозможно сделать: в каждый момент времени, в каждом «синхронном» срезе объекта генетические связи продолжают действовать, продолжают оказывать влияние на связи функционирования и даже, более того, определяют характер и строение последних. Поэтому связи функционирования, если пытаться брать их отдельно, либо вообще не могут быть выделены, либо, если их все же удастся фиксировать, не могут быть объяснены; они кажутся неправдоподобными, мистическими.

Этот факт был обнаружен уже давно, и в работах Гегеля и Маркса было показано, что решение проблемы лежит в разработке «исторических теорий» подобных объектов⁷. Но принять этот тезис — значит согласиться с такой постановкой вопроса: для того, чтобы исследовать и воспроизвести в знании структуру функционирования объекта, надо предварительно исследовать и воспроизвести в знании его генетическую структуру (может быть, не всю, но, во всяком случае, в тех ее частях, от которых зависит характер структуры функционирования). Чтобы проанализировать одну структуру — функционарную, надо предварительно проанализировать еще другую — генетическую. При этом встает старый парадокс. Понимание структуры функционирования зависит от понимания структуры генезиса. Но и наоборот: степень понимания структуры генезиса зависит от того, насколько глубоко и детально мы проанализировали структуру уже «ставшего», развитого состояния рассматриваемого объекта. К. Маркс указывал на необходимость исследовать развитие состояния органических объектов с точки зрения истории их развития, но ему же принадлежат знаменитые слова о том, что ключ к пониманию анатомии обезьяны лежит в анатомии человека. Преодоление этой антиномии заключается в разработке такого способа исследования, который сочетал бы в себе приемы как функционарного, так и генетического анализа, в котором бы исследование «ставшего» состояния объекта было средством для воспроизведения его генезиса, а знание законов генезиса служило бы средством для анализа и более глубокого понимания структуры функционирования в самом развитом состоянии. По богатству и разнообразию своих приемов, по разнообразию связей между ними такой способ исследования, естественно, значительно сложнее, нежели способ исследования только функционирования или только генезиса. И выявление этих приемов и связей между ними представляет значительно более трудоемкую работу. В этом усложнение методологической задачи при переходе к исследованию органических объектов.

Но в этом же заключено и то, что облегчает ее. Анализ генетической структуры развивающегося объекта в подобном способе исследо-

⁷ См. по этому поводу: А. А. Зиновьев, Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса), Диссертация, МГУ, 1954; Б. А. Грушин, О приемах и способах воспроизведения в мышлении исторических процессов развития, Диссертация, МГУ, 1957; Его же, Логические и исторические приемы исследования в «Капитале» К. Маркса, Вопросы философии, 1955, № 4; Его же, Маркс и современные методы исторического исследования, Вопросы философии, 1958, № 3; Его же, Очерки логики исторического исследования, М., 1961; Л. С. Выготский, Развитие высших психических функций, М., 1960; А. Н. Леонтьев, Развитие психических функций, М., 1959

вания, как мы уже сказали, должен быть одновременно этапом в воспроизведении структуры функционирования этого объекта. Но если подходить к вопросу в этом плане, то нетрудно заметить, что знания о закономерностях генезиса можно использовать таким образом, чтобы они давали дополнительные, весьма важные данные о способе и порядке построения структуры функционирования заданного объекта, данные, которых не может быть при воспроизведении структуры обычного, неорганического объекта. Именно, можно положить, что это построение должно воспроизводить историю развития рассматриваемого объекта от его первого, простейшего структурного состояния до последнего, наиболее сложного. Иначе, в более общей форме, это выражается так: можно положить, что способ и порядок построения функциональной структуры органического объекта должен соответствовать закономерностям развития этого объекта.

Тогда задача отыскания структуры рассматриваемого органического объекта сведется к трем более частным задачам: 1) произвести эмпирический «неструктурный» (хотя и ориентированный на выявление определенных структурных моментов) анализ «ставшего» наиболее развитого его состояния; 2) выявить, найти каким-то способом структуру, которую можно было бы рассматривать как простейшую для него, генетически исходную; Гегель, а вслед за ним и К. Маркс, называли эту структуру «клеточкой» исследуемого предмета; 3) найти закономерности развития этой структуры в более сложную, такие, чтобы в конечном счете они привели к структуре, характеризующейся всеми теми проявлениями, которые были выделены при эмпирическом «неструктурном» анализе ставшего состояния объекта. Решение этих трех задач и будет решением основной исходной задачи: выявить структуру функционирования заданного объекта.

В контексте настоящей статьи нас интересует прежде всего вторая задача: выявление «клеточки» рассматриваемого объекта. Это дело крайне сложное, требующее точно также своих изощренных приемов и способов исследования. А. А. Зиновьевым⁸ был описан ряд общих признаков «клеточки», знание которых дает возможность ответить, является та или иная структура клеточкой заданного объекта или нет. Но этих признаков еще недостаточно для построения самой структуры «клеточки». Они говорят, какой должна быть конструируемая структура в отношении к эмпирически описанному объекту того или иного типа, но не говорят (и не могут сказать), что она есть в каждом конкретном случае. Чтобы сконструировать клеточку, нужна еще какая-то дополнительная процедура.

Если мы подойдем к описанию этой процедуры с исторической точки зрения, то без труда сможем заметить, что она очень похожа на описание того, что обычно называется *происхождением* того или иного объекта. К примеру, если мы пытаемся найти «клеточку» объекта, называемого языком, то описание этой процедуры с исторической точки зрения будет описанием «происхождения» языка.

Таков, собственно, в общем виде ответ на поставленный в начале статьи вопрос. Если мы признаем задачу *структурного* (а не просто системного) исследования языка, то мы вынуждены встать на позиции *генетического структурного* исследования. А если мы поставили задачу генетического структурного исследования, то мы должны принять так-

⁸ А. А. Зиновьев, Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса), Диссертация, МГУ, 1954

же и задачу исследовать *происхождение* языка. Решение последней задачи есть по существу первый приближенный ответ на вопрос, что такое ставший, развитый язык как структура.

Когда можно ставить вопрос о происхождении

Определив таким образом задачу исследования происхождения языка, мы должны теперь рассмотреть само «происхождение» как категорию метода в системе структурного анализа. И прежде всего необходимо выяснить, когда и где мы можем и должны ставить вопрос о происхождении чего-либо, в каких условиях можно и нужно применять специфический для этой категории способ подхода.

Если предметом исследования является развивающееся сложное целое, если мы рассмотрели и воспроизвели в мысли его определенное историческое состояние, а затем направляем исследование на процесс дальнейшего развития, то всякое структурное изменение в этом целом, вообще говоря, можно рассмотреть как акт происхождения какого-то нового предмета. Тогда рассматриваемый процесс развития представится как непрерывная последовательность «происхождений» все новых и новых предметов. Но при таком подходе проблема происхождения перестает быть самостоятельной и специфической, она поглощается более общей проблемой — проблемой развития. Другими словами, в условиях, когда нам задано какое-то *исторически предшествующее* состояние исследуемого предмета и мы должны исследовать и воспроизвести в мысли его последующие состояния, вопрос о «происхождении» не встает, и мы должны исследовать не происхождение, а *развитие* заданного целого.

Но если мы рассмотрим этот же объективный процесс развития с иной точки зрения, если мы возьмем его так, как он представляется исследователю, имеющему перед собой *развитый*, или, как мы говорим, «*ставший* предмет», и задачу исследовать и воспроизвести в мысли *становление* этого предмета, данного и в определенных отношениях познанного в его «*последнем состоянии*», то в таких условиях задача исследовать и воспроизвести в мысли *происхождение* этого предмета оказывается вполне определенной и правильно поставленной. Другими словами, исследовать происхождение чего-либо можно только тогда, когда мы знаем, происхождение *чего* мы собираемся исследовать, только тогда, когда мы знаем рассматриваемый предмет в его «*последнем*» состоянии⁹.

Такая постановка вопроса — о происхождении — будет единственно правильной, если мы знаем только последнее, «ставшее» состояние рассматриваемого предмета и не знаем его предшествующих исторических состояний.

Зависимость схемы происхождения от типа структуры предмета. Языковое мышление и язык

Чтобы охарактеризовать дальше категорию происхождения, мы должны описать схемы тех объективных процессов, которые мы наци

⁹ Отметим еще раз, что, употребляя термины «ставший предмет» и «последнее состояние», мы не имеем в виду законченности процесса развития предмета ни в смысле метафизической «остановки» его, ни в смысле достижения «высшей точки» в развитии предмета. Эти термины включают в себя понятие о развитии предмета, о любой точке этого развития, но именно о точке, где о связях функциональных (независимо от степени их развития), а не генетических

нашем «происхождении», и те приемы, посредством которых мы исследуем эти процессы и воспроизводим их в схемах. Но сделать это в общем виде оказывается невозможным, так как план исследования происхождения какого-либо предмета (а вместе с тем и сама схема происхождения этого предмета) зависит от *типа структуры* предмета. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью специфицировать нашу задачу и анализировать происхождение в его частных формах, как происхождение *предметов определенной структурного типа*. Основная методологическая задача сводится тогда к тому, чтобы выяснить, какие условия накладывает структурность выделенного предмета на ход исследования его происхождения.

Но, прежде чем приступить к решению непосредственно этой задачи, мы должны обсудить еще один вопрос: именно о различии *объекта* и *предмета исследования*, или, соответственно, *объекта* и *предмета науки*.

Объект науки существует независимо от науки и до ее появления. Предмет науки, напротив, формируется самой наукой. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы берем его с одной или нескольких сторон. Эти выделенные стороны становятся «заместителем» или «представителем» всего многостороннего объекта. Поскольку это — знание *об объективно существующем*, оно всегда объективируется нами и как таковое образует предмет науки. Мы всегда рассматриваем его как адекватный объекту. И это правильно. Но надо всегда помнить — а в методологическом (или логическом) исследовании это положение становится главным, — что предмет науки не тождествен объекту науки: он представляет собой результат определенной анализирующей и синтезирующей деятельности человеческого мышления, и, как особое создание человека, как образ или модель, он подчинен особым закономерностям, не совпадающим с закономерностями самого объекта.

Одному и тому же объекту может соответствовать несколько различных предметов науки (или исследований). Это объясняется тем, что характер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но и от того, за чем этот предмет сформирован, для решения какой задачи. Задача исследования и объект являются теми двумя факторами, которые определяют, *как, с помощью каких приемов и способов* исследования будет сформирован необходимый для решения данной задачи предмет науки¹⁰.

Эти замечания имеют прямое отношение к рассматриваемому вопросу. Дело в том, что схема исследования происхождения зависит не только и не столько от самого объекта, сколько от вида, в каком мы его представляем, т. е. от характера «предмета». А предмет, называемый «языком», является отнюдь не единственным способом представления соответствующего объекта.

В статье «Языковое мышление и его анализ»¹¹ мы стремились показать, что в случае целого ряда задач этот объект нужно представлять в виде особого предмета — «языкового мышления», общая структура (или «каркас») которого может быть изображена схемой:

Объективное содержание ————— знаковая форма (1)
связь — значение

¹⁰ Ср. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960, стр. 75–77.

¹¹ «Вопросы языкознания», 1957, № 1

При этом мы подчеркивали, что тот же самый объект может рассматриваться и в других аспектах. Например, если рассматривать его со стороны знаковой формы и учитывать остальные элементы в виде *функций*, т. е. в виде свойств, возникающих у знаковой формы и ее элементов благодаря связи с объективным содержанием и между собой, то этот объект выступает не как «языковое мышление», а как «язык», не как взаимосвязь, а как *материал*, несущий на себе определенные *функции*¹².

Важно специально подчеркнуть, что как язык при таком понимании не является частью языкового мышления, так и языковое мышление не является частью или стороной языка. «Язык» и «языковое мышление» — это разные названия для одного и того же целого, рассматриваемого именно как целое, но только с разных сторон, с разных ограниченных точек зрения, в связи с различными задачами исследования. Предмет «язык» возникает не в результате выделения какой-то части из «языкового мышления», а в результате абстракции при рассмотрении этого целого в определенном ракурсе. С этой точки зрения понятия «языка» и «языкового мышления» являются абсолютно равноправными: и то и другое есть абстракции, складывающиеся при рассмотрении исследуемого целого в различных ракурсах.

Но, помимо этих способов изображения, могут быть и другие. Тот же самый объект может выступить перед нами как «мыслительный процесс», если мы будем рассматривать его со стороны деятельности, порождающей взаимосвязь вида (1), и введем характеристики объективного содержания и знаковой формы относительно этой деятельности. В этом случае оно тоже уже не будет взаимосвязью вида (1), а будет представлять собой особые системы действий¹³.

Рассматривая заданный объект в одном случае как взаимосвязь «языкового мышления», в другом — как «язык» и в третьем — как собственно «мыслительный процесс», мы будем формировать фактически *различные предметы исследования*, причем различные также и в отношении типов их структуры, а поэтому анализ их происхождения будет проходить по-разному.

Это утверждение несколько не противоречит тому, что объект у всех этих предметов один, а следовательно, единым является и реальный процесс его происхождения. Исследование и изображение этого объекта носит различный характер в зависимости от того, какую его сторону мы делаем главным и непосредственным предметом нашего рассмотрения: если — «язык», то исследование выступает как анализ происхождения материала, несущего на себе определенные функции; если «мыслительный процесс», то — как анализ происхождения определенной познавательной деятельности; наконец, если «языковое мышление», как оно изображено на схеме (1), то это будет анализом происхождения прежде всего специфически мыслительного объективного содержания, знаковой формы и связи значения, объединяющей их в одно целое. Но и первое, и второе, и третье не являются изображениями различных процессов происхождения, а представляют собой лишь разные аспекты исследования одного и того же объективного процесса — процесса происхождения заданного объекта в целом. Как аспекты рассмотрения одного и того же процесса эти три плана исследования долж

¹² Указ. статья стр. 63—68.

¹³ См. Г. П. Щедровицкий и Н. Г. Алексеев, О возможных путях исследования мышления как деятельности, Доклады АНН РСФСР, 1957, № 3; Г. П. Щедровицкий, К анализу процессов решения задач, Доклады АНН РСФСР, 1960, № 5

ны быть взаимно координированы и объединяться в одну целостную картину. Но условием этого объединения должно быть предварительное четкое и осознанное разделение.

Здесь тотчас же возникает исключительно важный вопрос: в какой последовательности нужно рассматривать происхождение этих трех предметов? Они не стоят друг к другу ни в отношении *абстрактного* и *конкретного*, ни в отношении *целого* и *части*. Поэтому методологические правила, связанные с этими категориями, не могут помочь в решении данного вопроса. Взаимосвязь языкового мышления, если ее интерпретировать как изображение знаний, может рассматриваться как *продукт* мыслительной деятельности. Но что нужно рассматривать сначала при исследовании происхождения: продукт или порождающую его деятельность — этот вопрос остается пока невыясненным. Отношение «языка» как особого предмета исследования к «языковому мышлению» напоминает отношение формы к целостной взаимосвязи «форма — содержание». Но именно напоминает, а не тождественно ему, ибо здесь сквозь призму формы рассматривается фактически вся взаимосвязь в целом. Вопрос о том, с чего начинать анализ происхождения, является здесь столь же неясным, как и в первом случае. Таким образом, задача состоит в том, чтобы проанализировать все варианты с точки зрения тех возможностей, которые они представляют для наиболее полного исследования происхождения объекта, рассматриваемого сквозь призму всех этих предметов.

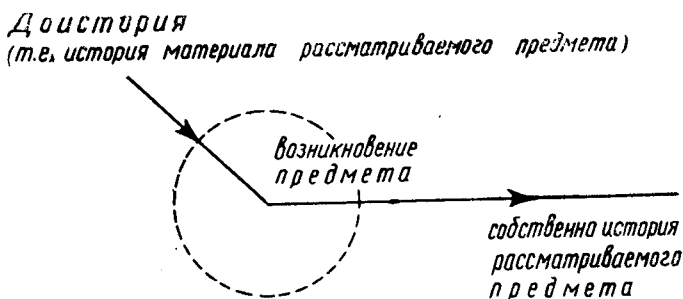
Необходимо также специально оговориться, что ни структура «языкового мышления», изображенная на схеме (1), ни структурное представление «языка» в виде материала и функций не являются *клеточками* этих предметов, необходимыми для структурного моделирования их развитых состояний. Для выявления таких «клеточек» и предпринимается, собственно, исследование происхождения. Но в то же время знания о том, что «языковое мышление» имеет структуру, изображенную на схеме (1), или что «язык» состоит из материала и функций, позволяют сделать целый ряд выводов о схемах исследования происхождения этих предметов и таким образом решить методологическую задачу, поставленную выше: определить, какие условия накладываются вид этих структур на ход исследования происхождения.

Схема сведения при исследовании происхождения языка

Начнем с анализа происхождения того предмета, который мы назвали «языком». Он выступает перед нами как определенный «материал», несущий на себе «функции», и, следовательно, представляет собой сложное образование, содержащее, по меньшей мере, две существенно различные по своей природе «стороны». Но если мы имеем сложный предмет и хотим исследовать его происхождение, то вполне естественной кажется мысль: попробовать «разложить» эту задачу и свести ее к исследованию происхождения различных «сторон» выделенного предмета. Для такого предмета, как «язык», это означает, что исследование его происхождения должно распасться на две части: исследование происхождения «материала» языка и исследование происхождения его функций. (Заметим, что мы сейчас не обсуждаем вопрос, что представляет собой эта функция, скажем, «отражение», «замещение» или «обозначение»; для нас существенным является только одно, что это какая-то функция.)

Чтобы представить себе, как должно быть произведено это расчленение и, что еще важнее, как затем нужно было бы соединить обе части исследования воедино, предположим, что мы знаем и можем привлечь к рассмотрению историю интересующего нас предмета (эмпирическую или уже обработанную какими-либо логическими методами, — в данном случае это безразлично). Тогда, «двигаясь» по этому историческому материалу от более развитых форм исследуемого предмета к формам все более простым и неразвитым, мы дойдем до такого момента, когда интересующая нас функция данного материала уже исчезла, а материал предмета еще остается, т. е. остается его субстанция, несущая на себе другие функции. Мы фиксируем этот момент и тем самым разбиваем историю рассматриваемого предмета на *собственно историю* и *доисторию*.

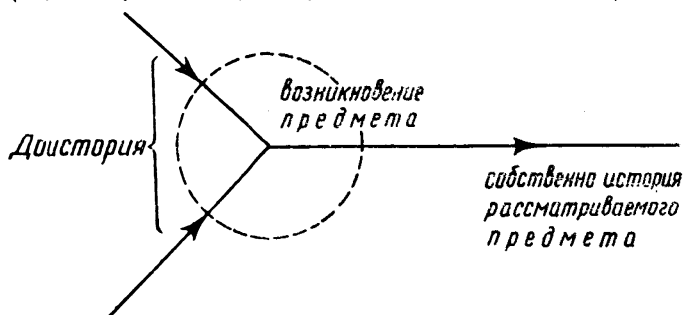
Дальше, в зависимости от природы предмета, происхождение которого мы исследуем, возможны два варианта. В первом — исчезновение выделенной функции у материала рассматриваемого предмета означает исчезновение этой функции вообще. И тогда доистория рассматриваемого предмета представляет собой историю материала предмета до того, как он «принял на себя» интересующую нас функцию. Схематически этот случай можно изобразить так:



Во втором случае исчезновение выделенной нами функции у материала рассматриваемого предмета не означает, что этой функции вообще больше нет в том сложном исторически развивающемся целом, с которым мы имеем дело и «стороны» которого являются предметом нашего исследования. Чаще всего эта функция остается, но ее несет на себе другой материал. В этом случае мы должны разбить доисторию рассматриваемого предмета как бы на две ветви: историю выделенной функции до того, как она была «принята» интересующим нас материалом, или *праисторию*, и историю материала исследуемого предмета до того, как он приобрел эту функцию, или *предысторию*. Таким образом, вся история рассматриваемого предмета разбивается на три части или ветви: *праисторию*, *предысторию* и *собственно историю*. Их связывает в единое целое процесс или акт «возникновения» рассматриваемого предмета как такового, т. е. «появление» исследуемой функции у данного материала, «соединение» материала с функцией. Исследование этих трех моментов, именно праистории, предыстории и возникновения, и составляет в целом исследование происхождения рассматриваемого нами предмета, состоящего из материала и функции¹⁴. Схематически все эти моменты можно изобразить так:

¹⁴ Cp. G Révész, Ursprung und Vorgeschichte der Sprache, s. 21—27

Предыстория
(т.е. история материала рассматриваемого предмета)



Праистория
(т.е. история выделенной в предмете функции до того как она была принята материалом предмета)

Здесь очень важно заметить, что ни в праистории, ни в предыстории исследуемого предмета не может быть сторон, *специфических* для его первоначально выделенного или, как мы его назвали, «последнего состояния», иначе мы не могли бы говорить о *возникновении* этого предмета. В предыстории мы рассматриваем материал исследуемого предмета, но этот материал существует и дан нам без того свойства, которое только и делает его *материалом* первоначально выделенного целого. В праистории мы рассматриваем функцию исследуемого предмета, но эта функция дана нам без того свойства, которое только и делает ее функцией первоначально выделенного целого. Их специфика, или свойство, превращающее одно в материал, а другое в функцию, появляется на этапе «возникновение» в результате соединения того и другого и представляет собой *связь особого рода*.

Отсюда следует, что, имея своей задачей исследование происхождения сложного целого такого типа, мы должны расчленить его так и выделить в нем такие стороны, которые уже не содержат его специфических черт как целого. Соответственно, если мы осуществляем это расчленение в форме «обратного движения» по истории исследуемого предмета, то должны искать в этой предшествующей истории в качестве пра- и предформ именно такие явления, которые не содержат его специфических черт.

Это исключительно важный вывод, определяющий весь план дальнейшего анализа процесса происхождения.

Заметим также, что к материалу многих сложных предметов, в том числе и к материалу языка, может быть вторично применено разложение на функцию и материал. Тогда предыстория рассматриваемого предмета, а соответственно, и процесс исследования ее, в свою очередь распадутся на три части, относящиеся друг к другу точно так же, как и в разобранном выше случае. Продолжая это расчленение, мы, в конце концов, разобьем процесс происхождения сложного предмета, содержащего в себе ряд функций, на несколько относительно отграниченных друг от друга «кусков» и сведем первую часть исследования происхождения такого целого к ряду более частных и относительно независимых друг от друга исследований. Это будут: 1) исследование происхождения «чистого материала» или «субстанции» исходного предмета, 2) исследование происхождения его функций, 3) исследование процессов

«соединения» этой субстанции с выделенными функциями, т. е. ряд процессов «возникновения». Только система а этих частных исследований, проведенных в определенной последовательности и в определенной взаимосвязи друг с другом, позволяет исследовать происхождение такого сложного целого, каким является «язык», целого, состоящего из субстанции и нескольких функций.

Если теперь мы попробуем взглянуть на изложенное выше рассуждение в рефлексивном плане и оценить характер его с точки зрения процесса построения структурной модели, то без труда заметим, что по направленности и способу своему оно относится не к собственно построению, не к «синтезу» структуры, а, наоборот, к процессу *разложения* ее, к *анализу*. На первый взгляд это может показаться необоснованной подменной темы и уходом от непосредственной задачи. Но по существу это не должно смущать нас, так как выше мы уже выяснили, что в системе эмпирического исследования «дедуктивное» построение структуры не может быть оторвано от противоположно направленного процесса разложения целого на элементы, от анализа. В контексте эмпирического структурного исследования анализ и синтез составляют лишь *стороны* или *моменты* единого движения.

Особенностью этого движения в данном случае является то, что анализ совершается в виде *генетического сведения* исторически более развитого образования к его пред- и праформам, а синтез соответственно должен будет принять вид *генетического выведения* заданного образования из этих пред- и праформ. Сведение и выведение точно так же неразрывно связаны друг с другом и составляют лишь стороны и моменты единого генетического структурного исследования. Поэтому, имея задачей генетическое выведение, мы прежде всего осуществляем генетическое сведение, и без него фактически невозможен ни один шаг выведения.

Итак, приведенные выше рассуждения относятся к генетическому сведению; оно является необходимой стороной и элементом исследования происхождения языка в контексте генетического выведения, но одним им — и это нужно отчетливо сознавать — исследование происхождения предмета отнюдь не ограничивается. Вторую и, мы бы сказали, более важную часть в исследовании происхождения составляет процесс собственно «генетического выведения». Его задача состоит в том, чтобы показать, каким образом и при каких условиях происходит «соединение» материала с функцией и, соответственно, появление специфических свойств первоначально выделенного целого. Только тогда, когда мы покажем, как это происходит, мы объясним само «происхождение».

Проблемы выведения. «Язык» (как особый предмет исследования) не имеет происхождения

Теперь, следуя общему плану анализа, мы должны рассмотреть переход от процессов сведения к процессам выведения и оценить «язык» (как особый предмет исследования) с точки зрения последних.

В начале нашего рассуждения о сведении мы предположили, что знаем и можем привлечь к рассмотрению эмпирическую или логически уже обработанную историю интересующего нас предмета. Исходя из этого знания — так мы полагали — можно было определить, какие из функций рассматриваемого предмета — появляются позже, а какие раньше, и в соответствии с этим построить все исследование. Предпола

гальось также, что как функции (отдельно от выделенного материала), так и материал (отдельно от интересующих нас функций) даны объективно в качестве самостоятельных явлений и могут быть исследованы и воспроизведены в мысли. Однако вместе с тем мы подчеркивали, что задача исследовать *происхождение* какого-либо сложного предмета (как особая задача, отличная от задачи исследовать *развитие* какой-либо пред- или праформы этого предмета) ставится, как правило, только тогда, когда нам дан и известен один лишь «ставший» предмет, а его предшествующие стадии, в том числе эмпирическая история его происхождения, неизвестны и их нужно еще только выявить и как-то воспроизвести в знании. Поэтому наше положение о наличии знаний по истории рассматриваемого предмета было особым *методическим приемом*, позволившим сделать ряд предположений и на их основе несколько продвинуться вперед в исследовании.

Совершенно очевидно, что отсутствие каких-либо знаний по истории рассматриваемого предмета значительно осложняет все исследование. В частности, мы не знаем, в каком порядке и в какой последовательности возникали различные его «стороны». Но мы знаем — безотпосительно к знанию конкретной истории, — что такая последовательность и определенная объективная зависимость появления одних «сторон» от наличия и функционирования других существовала, а поэтому должна существовать определенная последовательность рассмотрения процессов происхождения этих «сторон». Но даже и в том случае, если бы все эти «стороны» возникли и сложились одновременно, исследователь может рассмотреть их возникновение только по отдельности и в определенной последовательности, которая определяется отношением и связью этих сторон внутри «ставшего» целого¹⁵. Иначе говоря, перед исследователем, желающим осуществить выведение, возникает особая и сложная логическая задача: он должен выяснить последовательность рассмотрения происхождения различных «сторон» сложного целого, имея перед собой и зная лишь последнее, «ставшее» состояние этого целого.

Однако именно в этих условиях описанный выше способ расчленения истории происхождения рассматриваемого предмета и, соответственно, способ расчленения самого исследования оказывается весьма полезным и плодотворным. Он дает нам возможность, помимо всяких эмпирических знаний об истории рассматриваемого предмета, только на основании знания о его последней стадии перейти от общей задачи исследования происхождения этого предмета к ряду более частных задач: во-первых, к исследованию происхождения выделенной нами субстанции рассматриваемого предмета, во-вторых, к исследованию происхождения выделенных функций, в-третьих, к исследованию «соединения» субстанции с функциями, т. е. к исследованию процессов «возникновения». Одновременно это расчленение оказывается определенным этапом в реконструкции исторического процесса происхождения рассматриваемого предмета. Оно как бы «оборачивается» в генетиче-

¹⁵ Здесь нужно заметить, что и знание эмпирической истории происхождения рассматриваемого предмета не всегда может нам помочь в выяснении последовательности рассмотрения «сторон», так как объективная историческая последовательность возникновения «сторон» какого-либо целого часто не совпадает с логической последовательностью их рассмотрения при исследовании процесса происхождения этого целого. См. по этому поводу Б. А. Г р у ш и н, Логические и исторические приемы исследования в Капитале - К. Маркса, Вопросы философии, 1955, № 4, стр. 41—53; Е г о ж е. Очерки логики исторического исследования, М., 1961

ский план и дает нам знание, во-первых, об исходных пунктах процесса — это субстанция рассматриваемого предмета и его функции, во-вторых, о всех «кусках» исследуемого исторического процесса. Правда, вопрос о последовательности рассмотрения происхождения выделенных в предмете функций, или, другими словами, о генетическом упорядочении всех этих «кусков» реконструируемого исторического процесса все еще остается нерешенным, однако определенная часть работы по реконструкции происхождения рассматриваемого предмета уже проделана и проделана с помощью описанного выше чисто структурного расчленения.

Но, получив благодаря такой реконструкции знание об исходных пунктах процесса происхождения и его «кусках», мы можем тотчас же сделать следующий шаг в исследовании — «перевернуть» задачу и рассмотреть происхождение интересующего нас предмета как *процесс развития* его субстанции или функций и, в частности, рассмотреть в качестве процессов развития этой субстанции или этих функций процессы их соединения, т. е. то, что мы выше назвали процессами «возникновения». Мы можем сделать это, так как в ходе сведения получили новые дополнительные данные об исследуемом предмете — гипотетически вводимые пред- и праформы его — и теперь знаем не только последнее «заключительное» состояние этого предмета, но и определенные исходные состояния, которые могут рассматриваться как начало определенного исторического процесса — процесса развития. Благодаря этому анализ происхождения определенного «ставшего» предмета выступает в форме анализа развития другого определенного предмета, «происхождение» выступает уже не как противопоставленное развитию, а как включенное в него, как его вид, категория происхождения — как подчиненная категории развития. Но, чтобы осуществить исследование в связи с этим новым планом, нужно знать логическую структуру категории развития, ее специфические приемы и средства. А это остается до сих пор почти неизвестным и мало исследуемым. Таково первое затруднение, с которым сталкивались исследователи, пытаясь осуществить выведение при исследовании происхождения языка.

* * *

Но есть еще другой фактор, другая трудность, более значительная. Она отчетливо выступила во многих исследованиях по происхождению языка, но до сих пор остается недостаточно осознанной. Речь идет о том, что «язык», если рассматривать его сам по себе, как особый «предмет», по-видимому, вообще не имеет и не может иметь происхождения в точном смысле этого слова.

Действительно. Мы рассматриваем язык как материал, несущий на себе определенные функции. Символически — как предмет вида βA , где β изображает функцию, а A — материал. Осуществить выведение при исследовании происхождения такого предмета — это значит показать механизм появления функции β . Но поставим вопрос: как появляется функция? Ответ может быть только один: благодаря появлению связи рассматриваемого материала с чем-либо другим. И таким образом исследование происхождения предмета вида « βA » превращается в исследование происхождения предмета «— A », где A изображает тот же самый материал, но выступающий теперь в качестве элемента, а черта «—» — саму «связь». И такое превращение вполне естественно, ибо *функция не имеет собственной объективной жизни: она есть лишь фор-*

ма проявления связи; соответственно, чтобы исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально в виде свойства предмета, нужно перейти от этого предмета к более сложному целому, элементом которого этот предмет является; иначе говоря, исследовать определенную функцию какого-либо предмета — значит исследовать определенные связи, в которых этот предмет существует внутри более сложного целого¹⁶.

Но исследовать какую-либо связь, в частности ее происхождение, это значит исследовать определенную взаимосвязь, структуру, ее происхождение, ибо при эмпирическом (интерпретированном) подходе всякая реальная связь, ее характеристика определяется прежде всего тем, что она связывает, какие элементы; иначе говоря, анализ отношений или связей «внешних» для исходного предмета βA может быть осуществлен только в форме анализа «внутренних» связей какого-либо более сложного целого. Таким образом, исследование происхождения «языка», т. е. предмета вида βA с необходимостью превращается в исследование происхождения «языкового мышления» — предмета вида

X ——— A

(A изображает материал предмета βA , выступающий здесь как элемент взаимосвязи, черта изображает связь, создающую функцию β , а X — то явление, с которым A связано).

Может показаться, что ответ: «функция β возникает благодаря появлению определенной связи», дает реальное движение в исследовании происхождения и объясняет действительный исторический процесс. Но это будет только иллюзией. Ведь βA и X ——— A — лишь разные изображения одного и того же. Поэтому приведенный ответ является фактически тавтологией и не может раскрыть какие-либо действительные механизмы происхождения. Но, вместе с тем, он сам и связанное с ним изменение предмета исследования являются *необходимым движением* в исследовании происхождения функции, поскольку последняя не имеет собственной объективной жизни и собственной истории.

Итак, язык как особый предмет исследования не имеет происхождения в точном смысле этого слова. Исследовать тот объективный процесс, который мы имеем в виду обычно, когда говорим о происхождении языка — это значит исследовать происхождение иного структурного предмета, например, «языкового мышления», или «мыслительных процессов».

¹⁶ Ср. это с положениями, выдвинутыми нами в статье «Языковое мышление и его анализ», ВЯ, 1957, № 1, стр. 64—65.

О ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В. А. Гречко

Синонимы обычно исследуются с семантической и стилистической точек зрения, а грамматическим, словообразовательным и другим факторам синонимии уделяется недостаточно внимания, хотя на необходимость учитывать другие языковые факторы синонимии: употребляемость синонимов, их способность вступать в соединение с другими словами, словообразовательные связи — указывалось в некоторых работах по лексикологии¹. Эти указания часто носили декларативный характер и редко иллюстрировались более или менее удачно подобранными примерами, без анализа роли таких факторов во взаимоотношениях синонимов. Между тем эти факторы достойны внимания при рассмотрении любого ряда синонимов.

В качестве примера возьмем группу однокорневых синонимов — прилагательных на *-ический*, *-ичный* (*симптоматический* — *симптоматичный*, *аналитический* — *аналитичный*, *практический* — *практичный*, *сферический* — *сферичный*, *гармонический* — *гармоничный*, *логический* — *логичный*, *драматический* — *драматичный* и т. п.). Уже простое сравнение этих соотносительных пар слов с другими прилагательными на *-ический*, не имеющими такого параллелизма, обнаруживает, что синонимия развилась там, где исходное прилагательное, которым всегда в русском языке является образование на *-ический*, имеет не только терминологическое, прямое значение, но и развивающееся из прямого производное. Слова на *-ичный*, будучи носителями обособляющегося качественного значения, в свою очередь, строго соотносительны с соответствующими прилагательными на *-ический* и вне такой параллельности не встречаются.

Анализ функционирования таких лексических синонимов (преимущественно изучение условий их употребления у одного и того же автора) показал, что параллельность возникает в тех случаях, когда исходное прилагательное на *-ический* имеет развитое качественное значение, вызывающее к жизни свойства, характерные для качественных прилагательных вообще. Но такие признаки качественных прилагательных, как краткая форма, простая форма сравнительной степени, производное

¹ С. Абакумов и М. Солонино, К вопросу о работе над синонимами, Русск. яз. в шк., № 2, 1929, стр. 92; О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., Учпедгиз, 1957, стр. 230—232; Ю. Д. Апресян, Проблема синонима, ВФЛ, № 6, 1957, стр. 87; Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, М., Учпедгиз, 1959, стр. 162

от этих прилагательных атрибутивное существительное, требуют определенных морфологических, словообразовательных изменений у исходного прилагательного. По законам же русского языка эти признаки не могут проявиться у слова на *-ический*. Возникает, таким образом, противоречие между развившимся качественным значением прилагательного, в результате чего у него появляются новые грамматические и словообразовательные свойства, и его морфологической и словообразовательной структурой, не дающей возможности этим свойствам проявиться. Это противоречие разрешается образованием краткой формы, формы простой сравнительной степени, атрибутивного существительного, которые соотносены уже с другим гипотетическим прилагательным на *-ичный* и на основе которых последнее затем утверждается в языке.

Доказательством этого служат многочисленные факты параллельного функционирования в языке одного и того же автора полной формы прилагательного на *-ический* и указанных образований:

У Тургенева:

«Человек с довольно приятными и даже *симпатическими* чертами лица...» (Вешние воды).

«*Практический* смысл моего приятеля не изменял ему» (Несчастная).

«Она очень *симпатична*» (Рудин).

«Брат не довольно *практичен*» (Отцы и дети).

У Чернышевского:

«*Флегматическая* рассудительность не изменяла ему» (Алферьев).

У Герцена:

«...С самого начала в физике гибнет *эмпирический* предмет» (Письма об изучении природы).

«В ее жестах, голосе та же будто бы вялость, *флегматичность*» (Там же).

«Голландец от природы своей страны более *флегматичен*, нежели грек» (Критика и библиография).

«...Ее (химии) предмет конкретнее, *эмпиричнее!*» (там же).

Имена прилагательные типа *комичный, драматичный, специфичный, гармоничный* и т. п. явились результатом того качественного развития исходных прилагательных на *-ический*, которое первоначально находило выражение лишь в краткой форме (*-ичен, -ична, -ично*), форме сравнительной степени (*-ичнее*), в атрибутивном существительном (*-ичность*). Дальнейшее функционирование этих соотносительных слов приводит их к семантическому разграничению. Ср. пары прилагательных, из которых в современном языке в качественном значении употребительно вторичное образование на *-ичный*: *симпатический* — *симпатичный*, *аналогический* — *аналогичный*, *апатический* — *апатичный*, *энергический* — *энергичный*, *флегматический* — *флегматичный*, *эластический* — *эластичный* и некоторые другие.

Если же дифференциацией синонимов служит, например, только грамматическое явление, то здесь уже следует говорить не столько о синонимии, сколько о супплетивизме, первоначальной основой которого явилась смысловая близость слов и, возможно, ограниченность в проявлении определенных грамматических значений у одного из них. Наряду

мер, в параллели *небольшой* — *невеликий* соотносительность слов в основном грамматическая: обычно в полной форме в значении «малый, очень большой (по размерам)» употребляется прилагательное *небольшой*, а в краткой (в функции сказуемого) — *невеликий*. В литературном языке полная форма последнего обычно не употребляется в этом значении. Ср. «[Телятев:] Говорит, что есть именование *небольшое* и тысяч на пятьдесят лесу. [Глумов:] *Невелико* дело» (А. Островский, Бешеные деньги)². С этой точки зрения интересно рассмотреть и другие подобные супплетивные формы, образование которых, по-видимому, аналогично. Ср. *плохой* — *хуже* (от прилагательного *худой*, которое в определенных значениях в современном, а также в древнем русском языке синонимично слову *плохой*).

Приведем еще один пример взаимообусловленности и взаимосвязи грамматических и семантических факторов в лексике. Наречие *тщетно* (ряд: *напрасно*, *тщетно*, *безрезультатно*, *бесплодно*, *безуспешно*) не употребительно с глаголами совершенного вида, оно не может непосредственно относиться к таким глаголам (нельзя сказать: «я *тщетно* поехал к нему», но ср. «я *тщетно* старался поехать к нему» «я *тщетно* ездил к нему»). То же самое можно сказать и о других наречиях, соотносенных в значении с данным. Возможность же сочетания наречия *напрасно* с глаголами совершенного вида («я *напрасно* поехал к нему») указывает здесь на то, что оно выступает в несоотносительном значении. «зря, попусту».

Такое явление наблюдается потому, что данные наречия в своих соотносительных значениях отрицательно характеризуют действие с точки зрения его завершенности, указывают на отрицательный результат предпринятого действия, в то время как совершенный вид выражает внутреннюю законченность, завершенность. В сочетании с *напрасно* отрицательно характеризуется развитие, протекание действия, его процесс (потому возможно употребление этого наречия с глаголами, стоящими в будущем времени: «я *напрасно* поеду к нему»), в то время как остальные члены ряда указывают только на отрицательный результат уже предпринятого действия. Семантика этих слов (в их соотносительных значениях) и грамматическая природа категории совершенного вида несовместимы, взаимно исключают друг друга.

Эти же примеры показывают, что, как бы ни было незначительным отличие в значениях «бесплодно» и «зря, попусту», в языке оно принимает, как мы видим, довольно радикальный вид в сочетании слов в речи, когда вступает в действие грамматическая категория, представляющая собой одну из характернейших черт языка.

Такие факты являются также свидетельством того, что в значении категории вида имеются определенные элементы отражения самих явлений действительности³.

В сопоставлении прилагательных на *-ический* и *-ичный* представлена в известной мере типизированная связь словообразовательных, грамматических и лексических факторов, охватывающая обширный класс имен прилагательных данной словообразовательной модели. Пример ряда синонимов *напрасно*, *тщетно*... указывает на индивидуальный тип связи соотносительного значения синонимов с грамматической катего-

² Пример заимствован из Словаря современного русского литературного языка АН СССР.

³ Ср. в связи с этим тезис А. А. Потебни «Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением» (А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I. П. М., Учгедиз, 1958, стр. 39)

риси, но эта противопоставленность значений помогает уточнить и признаки значения слов (ряда), и признаки значения целой грамматической категории.

Синонимичность слов одной лексико-грамматической категории может проследиваться у слов того же корня, относящихся к другим частям речи. Причем, как правило, дифференциальные признаки этих рядов синонимов бывают общими. Ср. *изменить* — *предать*, *измена* — *предательство*, *изменник* — *предатель*, *изменнический* — *предательский*; *мечтать* — *грезить*, *мечта* — *греза*; *путь* — *дорога*, *путевой* — *дорожный*; *пахнуть* — *благоухать*, *запах* — *благоухание*; *лгать* — *врать* — *обманывать*, *лжец* — *врун* — *обманщик*; *оборонять* — *защищать*, *оборона* — *защита*; *молчать* — *безмолвствовать*, *молчание* — *безмолвие*, *молчаливый* — *безмолвный*, *воровать* — *расхищать* — *грабить*, *вор* — *расхититель* — *грабитель*, *воровство* — *хищение* — *грабеж* и т. д.

Параллельное словопроизводство в данном случае свидетельствует об устойчивой синонимии, глубоко проникающей в сферу выражения родственных понятий. Иногда близкая соотносительность синонимов позволяет им параллельно участвовать также в качестве частей сложных слов-синонимов, как правило, с сохранением своих дифференциальных признаков: *очи* — *глаза*, *черноокий* — *черноглазый*; *лицо* — *лик*, *светлолицый* — *светлоликий*; *идти* — *шеествовать*, *предыдущий* — *предшествующий* и т. п.

Интересную с этой точки зрения группу слов представляют собой параллельные образования, включающие такие элементы морфемного характера, как *-видный*, *-образный*, *-подобный*: *зигзаговидный* — *зигзагообразный*, *змеевидный* — *змееобразный* — *змееподобный*, *зерновидный* — *зернообразный*, *корневидный* — *корнеобразный* — *корнеподобный*, *конусовидный* — *конусообразный* — *конусоподобный* и многие др. Эти параллельные образования являются следствием конкуренции вновь образующихся синонимических морфем, значения которых еще тесно связаны со значениями производящих существительных⁴. Синонимичность существительных *вид*, *образ*, *подобие* простерлась и в сферу формирующихся, производных от них словообразовательных единиц. Как словообразовательные элементы они имеют некоторые отличительные черты. Например, характерным признаком элементов *-видный*, *-образный*, в отличие от элемента *-подобный*, соотношенного с прилагательным, является их способность сочетаться в сложении только с основами, которые в свободном употреблении в качестве самостоятельных слов обозначают зрительно воспринимаемые предметы. Нельзя сказать *громовидный*, *громообразный*; ср. *громоподобный* («Не мудрено, это дуэт, да еще такой *громоподобный*, привлекал внимание якутов». — В. Короленко, История моего современника).

Семантическая параллельность слов часто подчеркивается параллельностью словообразовательной — образованием этих слов с помощью одной и той же словообразовательной модели. Это наблюдается как у слов с живым морфологическим членением (*разбросать* — *разметать* — *расшвырять*; *нагнуться* — *наклониться*; *приход* — *пришествие*; *встревожить* — *взволновать*; *рассердиться* — *разгневаться* и т. п.), так и — еще в большей степени — у слов с этимологическим членением на морфемы, что, по-видимому, объясняется исторической аналогией при возникнове-

⁴ Следует отметить, что значения элементов *-видный*, *-образный* соотношены не со значениями прилагательных *видный*, *образный*, а со значениями существительных *вид*, *образ*. Прилагательные *видный*, *образный* не имеют указания на внешнее подобие одного предмета другому.

нии соотносительных слов, преимущественно в развитии семантической системы языка (*защитник — заступник; исказить — извратить; успокоить — утихомирить — унять — уговорить; отбежать — отскокить — отпрыгнуть; уменьшать — умалить — убавить; издавна — искони — исстари — издревле — испокон веков; напор — натиск; забыть — запомнить; натравить — науськать; ответ — отвесть; упустить — уронить; забытый — забвенный; открыть — отворить — отверзти; занимать — забавлять; беззаботный — беспечный; изгиб — излом и многие др.*).

Лексическая синонимия может быть вызвана, в свою очередь, соотносительностью других языковых единиц, а именно — аффиксов. Их синонимия (функциональная близость), как правило, приводит к появлению в языке однокорневых синонимов (*педантизм — педантиство, разница — разность, белеть — белеться, лебединый — лебяжий, человеческий — человеческий, беспокойный — беспокойный, абрикосовый — абрикосный и т. д.*).

Нужно сказать, что одной из характерных черт функционирующего языка является то, что он как в лексике, так и в грамматике и словообразовании располагает известным количеством материально различных, но семантически соотносительных форм выражения какого-либо общего значения, являющихся необходимым условием развития языка. Не случайно поэтому, что однокорневые синонимы, как правило, включают в свой состав аффиксы, продуктивные в современном русском языке.

В поддержании соотносительности слов, влиянии на их дифференцированное употребление словообразовательный фактор также играет немаловажную роль: синоним в цепи других единиц своего словообразовательного гнезда прочнее сохраняет свою семантическую и стилистическую индивидуальность и, следовательно, синонимическую противопоставленность соотносительному с ним слову. Сравнительная словопроизводность синонимов может указать и на тенденции развития, различную жизненность синонимов ряда, относящихся к разным словообразовательным гнездам.

Возьмем, например, ряд синонимов: *думать — мыслить — мнить*. Жизненность каждого слова данной совокупности зависит и от словообразовательной продуктивности его, и от сравнительной употребительности, и от сферы употребления — стилистической характеристики слова. (Ср., с одной стороны, словообразовательную продуктивность глаголов: *думать — задумать, выдумать, надумать, передумать, вздумать, пораздумать, придумать, додумать, подумать, продумать, отдумать* и т. п.; *мыслить — замыслить, размыслить, поразмыслить, измыслить, примыслить, помыслить, смыслить, осмыслить, вымыслить* и т. д.; с другой стороны, глагол *мнить* почти не имеет других производных глаголов, кроме *возмнить*). Словообразовательная непродуктивность последнего согласуется с ограниченным в современном русском языке употреблением его как устаревшего глагола.

Во взаимоотношениях синонимов находят отражение не только те или иные конкретные лексические, грамматические, словообразовательные закономерности, но, в конечном счете, и более общие процессы развития семантической системы языка. Проблема синонимии находится в прямой связи с проблемой системности лексики, что является в последнее время предметом особого внимания лингвистов, и в частности лексикологов. Вопрос о том, представляет ли лексический запас языка на определенном этапе развития интеллектуально и стилистически целое, элементы которого соотносятся между собой необходимым

закономерным образом, имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, например в практике и методике составления различного типа словарей. В этом отношении чрезвычайно плодотворны указания акад. Л. В. Щербы о системности дифференциации лексики, говорящие о закономерном соотношении стилей русского языка⁵.

О системности лексических синонимов, об их взаимосвязях с различными структурными сторонами языковой системы в свое время писали проф. С. Абакумов и М. Солонино⁶.

Ценные замечания о системности ряда мы находим в упомянутой статье Ю. Д. Апресяна⁷, хотя полностью и не можем согласиться с ним. Для Ю. Д. Апресяна система — это непосредственно ряд синонимов, объективность которой доказывается семантическими процессами, прежде всего диахроническими процессами синонимической конкуренции и дифференциации синонимов. По нашему мнению, объективность системности синонимов доказывается не столько диахроническими семантическими процессами, сколько синхронными закономерными отношениями между синонимами, что и позволяет их квалифицировать как синонимы. Следует также сказать, что ряд — это конкретное отражение более общих системных отношений лексики языка (см. ниже).

Системность в области лексической синонимии — это закономерные отношения между соотносительными словами, выражающиеся в том, что синонимы, несмотря на их общее мыслительное содержание, функционально, лингвистически разграничиваются в языке, необходимо заменяют в речи, в определенных условиях, друг друга.

Выражая строго логически одно и то же, синонимы могут выполнять в речи и общее назначение — одновременное разностороннее отражение предмета в речи. Но наряду с этим синонимы, опираясь на отличительные оттенки своих значений, могут быть в определенной мере и противопоставлены. Эти две черты синонимически соотносительных единиц языка могут проявляться в языке особенно наглядно.

Ср. объективные связи в народной речи: *путь — дорога, правда — истина, жила — была, не знаю — не ведаю, переливать из пустого в порожнее* и др. или литературные примеры:

«Все больше и больше человек осознал себя создателем и творцом» (С. Коненков, Слово к молодым).

«Вот вы, мужчина,

У вас в устах капуста

Где-то недоеденных, недокушанных щей» (В. Маяковский, Вам).

⁵ Приведем два высказывания акад. Л. В. Щербы по этому вопросу. «...Лексика каждого языка в каждый данный момент времени представляет собою определенную систему...» (Л. В. Щерба, Избранные работы по языкознанию и фонетике, т. I, Изд-во ЛГУ, 1958, стр. 54). «Русским филологам предстоит еще большая работа по созданию настоящей полной стилистики русского литературного языка. В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или с другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок.

Из всего сказанного ясно, что развитый литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимических средств выражения, так или иначе соотносенных друг с другом». (Л. В. Щерба, Избранные работы по русскому языку, М., 1957, стр. 121).

⁶ См. указ. статью, стр. 94

⁷ Там же, стр. 84—85.

Части такие повторы в былинах:

«Поел, попил Михайлушка, покушал он» (Михайло Потык);

«Марья углядела, усмотрела во чистом поле, Стоит-то там шатер белополотняный» (Там же).

Ср. примеры противопоставления синонимов в речи.

«Граф ужинал с аппетитом, продолжая шутить, как будто он был у себя.

— В первый раз в доме, бессовестный, а ест за троих! — шепнул Александр Наденьке.

— Что ж! он кушать хочет! — отвечала она простодушно» (А. Гончаров, Обыкновенная история).

«Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, как бы тебе сказать, ну опасаясь, что ли!» (М. Шолохов, Они сражались за Родину).

«Она угощала, даже лучше сказать — потчевала гостей и поощряла их собственным примером явной любительницы закусить, свободой посещения за столом» (А. Твардовский, Родина и чужбин).

«То, что он увидел в них (глазах), он никогда не назвал бы радостью, но это было больше радости, это было ликование, на миг прорвавшееся из смятенного мира страха» (К. Федин, Санаторий Арктур).

Синонимический ряд — это первичная ячейка системных отношений лексики. Исходным пунктом системного построения ряда является его опорное слово — доминанта. Наличие в любом ряде такого слова, вокруг которого группируются, дифференцируясь в том или ином отношении, другие синонимы, является главным аргументом в пользу системности синонимического ряда. Индивидуальная характеристика синонима выделяется именно в силу противопоставления всем другим синонимам ряда, чем, собственно, и мотивируется его существование как члена данной совокупности слов. Иллюстрацией к этому может служить любой ряд синонимов. Практическим выводом из положения о внутрирядной системности синонимов является то, что в синонимических словарях толкование синонимов одного ряда следует делать, отталкиваясь от доминанты, относительно ее, что, собственно, и осуществляется лексикологами.

Внутренне соотношение синонимов ряда является конкретным выражением более общего соотношения определенных лексических сфер языка, а также общих семантических (и грамматических и др.) закономерностей.

Стилистически нейтральное ядро лексики, к которому преимущественно принадлежат опорные синонимы, в сравнении с другими несенными лексическими средствами, группирующимися вокруг него и обладающими теми или иными дополнительными, обычно ограничительными признаками, является основным словарным костяком коммуникации в ту или иную эпоху развития языка.

Следует обратить внимание еще на одну черту доминанты: она, по сравнению с другими синонимами ряда, более всего употребительна. Это объясняется тем, что она, как правило, стилистически нейтральна и семантически наиболее емка, что, естественно, более всего отвечает задачам коммуникации. Эта черта доминанты может послужить в известной мере критерием для определения опорных синонимов при изучении лексической синонимии древнерусского языка (этим критерием, однако, нужно пользоваться осторожно, учитывая стилистическую направленность текста, авторскую манеру и др.) Сравнительная употреби-

тельность слова при историческом изучении может стать мерилом правильного понимания действительной соотносительности слов⁸.

Единицы лексики находятся в разнообразных отношениях — антонимических, полисемантических, словообразовательных, грамматических и т. п., что в совокупности образует сложнейшую взаимосвязанную и взаимообусловленную систему.

Связь лексической синонимии с другими семантическими процессами в области лексики (полисемией, антонимией и др.) совершенно не изучена. Например, тот же ряд синонимов *думать*, *мыслить*, *мнить* является примером смысловой ассимиляции слов. Глаголы этого ряда синонимичны не только в своем исходном значении «думать, размышлять», но и в производном «надеяться, рассчитывать, предполагать». Это значение, появившееся у слова *мнить* (др.-русс. *мьнити*), затем распространилось и на другие члены ряда. Слово, уступая в историческом развитии другому слову, передает ему свое производное значение, а также и грамматические особенности, связанные с употреблением слова в данном значении. Рассматриваемые глаголы в значении «рассчитывать, надеяться» обычно употребляются в роли вспомогательного глагола в составном глагольном сказуемом. Ср. их соотносительное употребление в языке Пушкина:

«Он *думал* Олиньку смутить,
своим приездом поразить» (Евгений Онегин).

Я *думал* свой народ

В довольствии, во славе успокоить» (Борис Годунов).

«Не *мысля* гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя...» (Евгений Онегин).

«В семье моей я *мнил* найти отраду,

Я дочь свою *мнил* осчастливить браком» (Борис Годунов).

Таким образом, синонимы могут различным образом влиять друг на друга: распространять, как в данном случае, вновь появившееся значение у одного из них на все синонимы данного ряда, или же, наоборот, разграничиваться в своих значениях, как это наблюдалось у прилагательных на *-ический* и *-ичный*, на что, по-видимому, оказали

⁸ До сих пор в работах по лексической синонимике русского языка совершенно не уделялось внимания статистике параллельного употребления семантически соотнесенных единиц языка. Между тем статистический подход к явлениям синонимии — частота употребления синонимических единиц относительно друг друга — имеет существенное значение. Более употребительное слово, естественно, обладает большей жизненностью и семантически более активно. В свою очередь, меньшая активность употребления другого соотносительного по значению слова указывает на какие-то ограничительные факторы. Сравнительная частота употребления синонимических единиц языка может явиться как их первоначальным функциональным отличием, так и потенциальным источником, условием их дальнейшего семантического или стилистического разграничения (что часто можно наблюдать на примере однокорневых синонимов). Таким образом, в синонимии языка (не только лексической) статистика должна занять свое место как одна из необходимых характеристик функционирующей единицы; это даст в руки исследователя надежные данные, определяющие, наряду с другими факторами, скорость семантического развития. Кроме того, статистика в определенных случаях сможет помочь правильно указать на литературную норму в области лексики и в других сферах языка, на действительное положение той или иной соотносительной языковой единицы в системе языка. Например, *Словарь современного русского литературного языка АН СССР* приводит как равноценные, безо всяких помет, слова *кукурузный* — *кукурузовый*. Однако фактически эти прилагательные далеко не равноценны. Слово *кукурузовый* не имеет широкого употребления (на это указывает и картотека *Словаря*), возможно, что оно было употреблено окказионально. Количественная характеристика подобных слов в словаре существенно определяла бы их действительное положение в языке.

главное влияние их различные грамматические и словообразовательные способности.

Следствием неразработанности синонимии языка явилось то, что понятие ряда обычно относилось только к словам-синонимам. Однако, на наш взгляд, ряд — это основное понятие синонимии языка вообще, показывающее семантическую соотнесенность единиц разного характера; оно одинаково правомерно в лексикологии, фразеологии⁹, синтаксисе, морфологии, словообразовании. Ряд, таким образом, — это совокупность соотнесенных языковых единиц, объединенных в известный период развития языка единым смысловым содержанием и имеющих в то же время функциональные оттенки разного характера. Ср., например: *пестриня платок — платок пестрины; материал к настоящей работе — материал для настоящей работы; человек, вошедший в зал... — человек, который вошел в зал...; говорить о любви — говорить про любовь; сахар — сахару; беспокойный — беспокойный; нож о четырех лезвиях — нож с четырьмя лезвиями; придя домой, я поспешил в кабинет отца — когда я пришел домой, я поспешил в кабинет отца; останься с детьми кто-либо дома, несчастья бы не случилось — если бы с детьми кто-либо остался, несчастья бы не случилось, абрикосный — абрикосовый* и т. п.

Для структурного описания синонимической системы языка такое выделение родственного семантического процесса у языковых единиц различного характера и, следовательно, введение такого объединяющего термина, на наш взгляд, необходимо.

Совершенно очевидно, что понятие синонимии каких-либо единиц языка предполагает их сосуществование во времени. Рассмотрение синонимических отношений слов в одной временной плоскости является непременным условием их объективного отражения. Изучая, например, и синонимическую систему древнерусского языка, мы обязаны в синонимический ряд вводить слова одного временного порядка. Понятие синонима, таким образом, является понятием описательной лексикологии. Следует подчеркнуть, что этот временной фактор, его непреложность, является в то же время необходимым условием понимания системности синонимических отношений, ибо только в непрерывности общения, в одновременной замене (в определенных условиях) одних языковых средств другими, имеющими в основном общее смысловое содержание, намечаются устойчивые закономерные системные отношения.

Синонимические отношения, естественно, не остаются постоянными. Они изменяются. Это, конечно, не значит, что одна временная плоскость языка с присущей ей синонимикой целиком отличается от другой (предыдущей или последующей). Лексическая синонимия, будучи основной частью языковой системы, естественно, подчиняется общим для языка тенденциям изменения: она подвержена эволюции, но в то же время обладает относительным постоянством, необходимым для нормального общения.

Синонимия какого-либо периода развития языка имеет в себе отложения разных эпох. Нужно сказать, что часто причина споров о синонимах (например, о так называемых «абсолютных синонимах») заключается в том, что с одной «временной точки зрения» и в одной временной плоскости исследуются и диахронические синонимы.

⁹ Фразеологизмы тоже могут вступать в синонимические отношения друг с другом: *сестра в лужу — сестра в кашу; ни богу свечка, ни черту кощера — ни то, ни се — ни рыба, ни мясо* и т. д.

— можно привести много примеров того, как с течением времени изменяется соотносительность между синонимами Показательна в этом отношении эволюция неполногласных (старославянских) и полногласных (русских) форм. Известно, что в древнерусском письменном языке в связи с книжным, церковным влиянием чаще употреблялись старославянские, неполногласные формы. Русские полногласные формы проникали в книжный язык постепенно и не скоро начинают конкурировать с неполногласными формами. В языке был такой период, когда эти формы употреблялись без особых, по-видимому, стилистических различий. Ср.:

«...Без труда взяти камен *город* Москву...» (Повесть о московском взятии от царя Тахтамыша, XV в.).

«...Сташа на всех *воротах* градских...» (Там же).

«*Король* же нача смеяться и дивитися его сердцю» (Повесть о мутьянском воеводе Дракуле, XV в.).

«Царь... взя *град* Серпохов..., оттуда прииде к Москве *граду*...» (Там же).

«...Створиша *врата* градныя» (Там же).

«*Краль*... даст ему воеводство», (Там же).

В дальнейшем, как известно, эти формы стилистически (иногда и семантически) разграничиваются. Впервые сознательную стилистическую дифференциацию эти образования получили в ломоносовском учении о «трех штилях». В языке писателей XVIII — XIX вв., например, в языке Пушкина, Лермонтова, соотношение этих форм выполняло важные стилистические задачи в творчестве этих писателей. Ср., например, соотносительное употребление подобных форм в языке Пушкина:

«Во всем *городе* не было ничего великолепного, кроме Невы...» (Арап Петра Великого).

«...И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет *город* заложен
Назло надменному соседу»
(Медный всадник).

«В *ворота* вошла она —
на подворье тишина» (Сказка о мертвой царевне).

«Это кто еще въехал в *ворота* на двор?» (Арап Петра Великого).

«Прошло сто лет, и юный *град*,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво»
(Медный всадник).

«Царь: Как хорошо! Вот сладкий
плод ученья!
Как с облаков ты можешь об-
зреть

Все царство вдруг: границы, *гра-
ды*, реки» (Борис Годунов).

«Победой прославлено имя твое,
Твой щит на *вратах* Цареграда»
(Песнь о вещем Олеге).

«Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной»
(Вольность).

Уже из этого круга примеров видно, что полногласные (русские) формы обычно употребляются в речи нейтральной, разговорной, в то время как неполногласные — в торжественной, патетической.

Другой пример. В древнерусском языке слова *крат*, *раз* были синонимами, причем более употребительным (см. Материалы для древнерусского словаря И. И. Срезневского) было слово *крат*. В современном

же русском языке их соотношение существенно изменилось. По сути дела слово *крат* свободно в современном русском языке не употребляется, оно сохранилось в устойчивом словосочетании *во сто крат*, а также входит в качестве словообразовательного элемента¹⁰ в сложные слова: *однократный, двукратный, трехкратный, семикратный, многократный, неоднократный* и некоторые другие.

В дополнение к изложенным выше замечаниям о характере лексической синонимии, которые должны учитываться при объяснении взаимоотношений синонимов и их значений, приведем еще некоторые рекомендации для словаря синонимов русского языка, могущие, на наш взгляд, представить некоторый интерес.

Методом выделения синонимов должен остаться метод заменимости слов, основой которого является общность их содержания (выражение одного понятия). Языковому эксперименту в таких случаях отводится значительная роль.

Более трудным является обнаружение отличительных оттенков синонимов.

При толковании синонимов одного ряда их дифференциальные оттенки могут быть обнаружены с помощью различных антонимов. Уже сам факт наличия разных антонимов к синонимам ряда говорит о том, что значения этих синонимов не абсолютно тождественны. Проф. А. М. Пешковский писал: «Ничто так не помогает выявить разницу между синонимами, как подборание к ним антонимов»¹⁰. Нужно сказать, что в иностранных синонимических словарях этот метод широко используется¹¹.

Например, к паре синонимов *теперь — сейчас* антонимами соответственно будут *прежде — тогда*:

теперь ←→ сейчас
прежде ←→ тогда

Пары антонимов объединяются по противоположности своих значений, но эта противоположность одного характера, в данном случае одного временного протяжения, что также служит объединяющим моментом у этих пар антонимов (пара *теперь — прежде* обозначает соответственно в настоящем и прошлом более длительный отрезок времени, чем пара *сейчас — тогда*, которая может обозначать конкретный момент времени).

Обнаружению дифференциальных оттенков у синонимов должно способствовать иллюстрирование параллельного употребления синонимов в речи, т. е. иллюстрации должны отвечать специфическим задачам синонимического словаря. Обычно иллюстрации, которые мы находим, например, в толковых словарях, в большинстве своем не могут удовлетворить этим требованиям, и перенесенный в синонимические словари такой метод иллюстрирования¹² в основном не отвечает назначению последних. Для наглядного показа соотносительности какого-либо ряда синонимов и их функциональных отличий нужны, по возможности, иллюстрации из произведений одного и того же автора. На первый взгляд, это требование покажется если не невыполнимым, то довольно затруднительным. Однако следует иметь в виду, что словарный запас

¹⁰ А. М. Пешковский, Избранные труды, М., 1959, стр. 175.

¹¹ I. Pitman, Pitman's book of synonyms and antonyms, London, 1956; Laird Charlton Grant, A dictionary of synonyms and antonyms and specific equivalents, New York, 1948 и др.

¹² См. В. Н. Ключева, Краткий словарь синонимов русского языка, М., 1956.

крупного писателя обычно составляет немалую долю лексического состава общенародного языка, особенно его активной лексики, где синонимическая система языка находит заметное отражение (ср., например, с точки зрения отражения словарного состава эпохи и присущей ей синонимике «Словарь языка Пушкина»).

Естественно, что такое иллюстрирование не исключает показа отличительных оттенков синонимов и с помощью языкового эксперимента (подбирания характерных контекстов употребления соотносительных слов), а также убедительных примеров дифференциации синонимов из произведений различных авторов. Например, синонимы *тишина* — *тишь* при всей своей, казалось бы, взаимозаменяемости различаются как по характеру своего значения (слово *тишь* неупотребительно, например, в таком контексте: «учитель раскрыл журнал, с мгнуту длилась *тишь*»), так и по условиям употребления (нельзя сказать «просьба соблюдать *тишь*»).

Мурманская обл

ТИПЫ ОСНОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н. А. Крылов

Разработкой теории синхронического анализа основ, как и самой постановкой вопроса, современная русская лингвистика обязана, главным образом, психологическому направлению в языкознании и прежде всего — Казанской лингвистической школе. Наряду со значительными достижениями в этой области, наша современная лингвистика частично унаследовала от нее и характерные недостатки: опору в исследовании не на объективные языковые факты, а на их сложное, зависящее от многих причин отражение в так называемом языковом чутье, расплывчатость терминологии и самой системы понятий, связанных со словообразовательным анализом. Предлагаемая работа представляет собой попытку решения и уточнения некоторых вопросов, связанных с синхроническим анализом основ.

А. И. Смирницкий писал: «Нередко под термином «словообразование» понимаются два разных явления: (1) сам факт образования нового слова..., (2) наличие в языке конкретного исторического периода определенных словообразовательных моделей, проявляющихся в определенном соотношении слов, при котором одни слова... выступают по своему строению (по значению и по звучанию) как более простые, а другие слова как более сложные. В результате этого последние понимаются и трактуются в качестве образованных от первых»¹.

Итак, под производностью основ с синхронической точки зрения понимается не историческая достоверность их образования в прошлом от производящих основ (либо от готовой модели), а наличие в нашем сознании впечатления того, что данная основа была образована от однокоренной основы в прошлом, причем не всякого такого впечатления, а только базирующегося на структурных особенностях данной основы и ее семантических отношениях к предполагаемой производящей основе. «В синхроническом состоянии языка не происходит образования слов. Говоря, мы не занимаемся производством слов по определенным моделям, но применяем уже существующие в готовом виде...»².

¹ А. И. Смирницкий, *Лексикология английского языка*, М., ИЛ, 1956, стр. 66

² К. А. Тимофеев, *Заметки о словообразовании*, сб. «Вопросы грамматики» М.—Л., 1960, стр. 425—427. Парадоксальность этого утверждения является лишь кажущейся, если оно применяется по отношению к языку (не к речи). Образование новых слов практически непрерывный процесс, но все так называемые новообразования первоначально представляют собой факты речи и становятся фактами языка лишь в результате многократного восприятия в готовом виде.

Среди случаев расхождения результатов синхронического и диахронического аспектов исследования основ отметим: 1) случаи обратного словообразования (*зонтик — зонт*)³, 2) случаи осложнения структуры основы (*пи-ал-а — пить*)⁴, 3) опрощение и переразложение основ⁵. 4) подстановка новых производящих основ взамен утраченных прежних, вызванная тем обстоятельством, что производящая основа, в отличие от производной, никак не «маркирована»: ср. *сутяга — сутяжничать, бродяга — бродяжничать* и проч., но *портной — портняжничать* вместо ожидаемого «портняга» (ср. *портняжка*), 5) возможность с синхронической точки зрения трактовки одновременно двух основ в качестве производящих для одной производной⁶.

«Такие случаи вскрывают различие между двумя явлениями, обозначаемыми как словообразование..., но ясно, что это же различие, по существу, имеется и тогда, когда оба явления находятся «в согласии» друг с другом: в принципе следует их различать и в этих, обычных случаях»⁷.

Г. О. Винокур писал: «То, что этимологическая рефлексия на слово есть нечто вполне реальное, отрицать нет никакого смысла; однако это вовсе не основание для того, чтобы считать критерием для выделения или невыделения тех или иных морфем в основах сознаваемость или несознаваемость этих морфем в психологии говорящих. Указание на то, что известный комплекс звуков... «чувствуется» или уже «не чувствуется» как морфема, есть, собственно, не объяснение, а нечто, само по себе требующее объяснения: если уже «не чувствуется», то почему?»⁸.

Как правило, фактами языка «командуют» одновременно многие законы, создавая в результате некую равнодействующую различных сил, нередко противоположно направленных. Эта сложная равнодействующая обычно и видна лишь тем, кто наблюдает языковые факты исключительно с позиций «языкового чутья». Между тем собственно лингвистическая задача исследователя заключается не только в констатации какого-либо факта с позиций языкового чутья, но и в анализе самих причин, вызывающих известное психологическое представление. «Чутье» лингвистического материала может быть совершенно нелингвистическим, поэтому в таком случае оно не должно подлежать анализу при изучении языка.

Обычно, говоря о производности основ в синхроническом аспекте, не слишком задумываются над тем, какие, собственно, причины вызывают в нашем сознании представление о том, что данная основа является производной, а между тем таких причин достаточно много, и они настолько разнородны по существу, что вряд ли следует их объединять.

На восприятие основы как производной может в значительной степени влиять субъективно-стилистический фактор. Это относится к восприятию говорящими слов, не ставших еще общелитературно-языковым достоянием, или же, напротив, к восприятию каким-либо индивидом

³ А. А. Реформатский, Введение в языковедение, Учпедгиз, 1947, стр. 38.

⁴ Такому пониманию, может быть, несколько препятствует лексический признак заимствованности основы слова пиала (экзотичность реалии), но со словообразовательной синхронической точки зрения эта основа обладает всеми признаками производности.

⁵ Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, Учпедгиз, 1959, стр. 34.

⁶ Там же, стр. 22.

⁷ А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., ИЛ, 1956, стр. 66-67.

⁸ Г. О. Винокур, Избранные работы по русскому языку, Учпедгиз, 1959, стр. 423

отдельных, прежде неизвестных ему слов общепародного языка. Обычно «новообразования» воспринимаются полностью на базе производящей или однокоренной основы. *Лунник* для нас находится в теснейшей ассоциативной связи с существительным *луна*, с прилагательным *лунный*. Таким образом, представление о «производности» слова может объединяться в сознании говорящих с его новизной, неожиданностью для них. Такое слово «производно» для говорящих не столько потому, что находится в определенных семантических и структурных отношениях к производящей основе, что исторически образовано от производящей основы, сколько потому, что ново.

Примерами слов, характеризующихся отмеченным эффектом субъективно-стилистической производности, могут служить всякого рода индивидуальные образования: *ручьиться* — Державина, *намосквичиться* — Кокорева, *обыностраниться* — Гоголя, *чемберлениться* — Маяковского и проч. Так же воспринимаются взрослыми детские слова вроде *вагонята* (ср. *вагоны*). То же самое происходит при восприятии нами незнакомого диалектического слова, у которого, однако, улавливается общий корень со знакомым словом литературного языка.

Все приводимые до сих пор примеры являются примерами не только «новых», образных слов. Основы этих слов производны не только с субъективно-стилистической, но и с чисто словообразовательной точки зрения: они имеют производящие основы, находятся с последними в определенных семантических отношениях (семантические модели); их производность выражена формально — наличием в производной основе того или другого аффикса, отсутствующего в производящей основе. По не всякое слово, ощущаемое нами как «новое», «необычное», является производным в словообразовательном смысле (с синхронической точки зрения), т. е. характеризуется необходимыми для этого условиями.

Изо всех щенячьих сил
Нищий *щен* заголосил.

Вырастет из сына *свин*,
Если сын свиенок.

(В. Маяковский)

Ср. также детские слова *лошада*, *лога* (большая ложка); ср. возражение на то, что «обезьяны неуклюжие»: «Нет, *уклюжие*, *уклюжие!*». С диахронической точки зрения мы могли бы даже говорить, что в данном случае *щен* и *свин* были образованы по известной семантической и формальной модели с «оглядкой» на однокоренное слово *щенок* и проч., но с синхронической точки зрения основу *щенок* не можем считать производящей по отношению к основе *щен*. (Причины этого укажем ниже).

Несмотря на такое отличие основ типа *лунник*, *вагонята* от основ вроде *щен*, *лошада*, с точки зрения «языковой психологии», то и другое вряд ли представляется расчлененным. Это и понятно, так как для восприятия, понимания слов *щен*, *лошада* говорящему приходится объяснять встретившееся ему «новообразование» через общеупотребительное слово того же корня, т. е. в сущности совершать то же самое, что совершается в его сознании при восприятии основы действительно производной (со словообразовательной точки зрения). Таким образом, для нашего «языкового чутья» между этими двумя типами основ больше сходства, чем различия.

Словообразовательную производность не следует также смешивать с явлением, которое условно назовем семантической производностью. Известно, что наличие «семантической мотивированности», способность быть объясненной со стороны значения через значение про-

изводящей основы являются неотъемлемыми признаками производной основы (в словообразовательном смысле). Но отсюда совсем не следует, что всякая основа, значение которой можно мотивировать посредством ссылки на однокоренную основу, есть непременно производная основа от этой последней. (Производность понимаем в словообразовательном смысле). Ср., например, *попрошайка* и *попрошайничать*. Основу *попрошайк-* можно объяснить семантически через основу *попрошайнич-а-*: «попрошайка — тот, кто попрошайничает»; напротив, основу *попрошайнич-а-* можно объяснить через основу *попрошайк-*: «попрошайничать — заниматься деятельностью попрошайки». Но из этого нельзя сделать никаких выводов о направлении словообразовательной производности в рассмотренной паре основ.

Основными типами толкований значений слов в толковых словарях являются: толкование посредством подборки синонимов (слов и целых словосочетаний или предложений) и толкование, которое осуществляется посредством объяснения значения данного слова через значения родственных (одноосновных) слов.

При этом могут встретиться такие случаи: 1) слово с производной основой может объясняться через значение слова с производящей основой: «бунтовать» — «производить *бунт*»; 2) слово может объясняться через одноосновное слово, но со словообразовательной точки зрения не являющееся по отношению к объясняемому слову ни словом с производящей, ни словом с производной основой: «взвизг» — «резкий, внезапный *визг*»; 3) довольно часто, наконец, значения производящих основ объясняются в толковых словарях посредством ссылки на значение основ производных. Ср.: «бродить» — «находиться» в состоянии *брожения*; «вдохновить» — «пробудить *вдохновение*»; «восхитить» — «привести в состояние *восхищения*»; «восстать» — «поднять *восстание*» и т. д.

Здесь опять налицо два совершенно разных языковых явления, но психологический «резонанс» у них оказывается сходным.

Обычно круг значений производной со словообразовательной точки зрения основы бывает уже, чем круг значений производящей основы. Объем понятия, выражающегося производной основой, тоже меньший. Ср. *стол* — о любом подобном предмете; ср. также переносные значения; и *столик* — только «стол» в прямом значении, причем не всякий, а только небольшой или с известным оттенком субъективного отношения говорящего к названному им предмету. *Тупой* — о чем угодно, что только может обладать названным качеством; и *тупица* — только о «тупом» в одном из значений этого слова, и только о лице; *тупик* — об улице или о железнодорожных путях.

Эта особенность производных основ и дает возможность определить их значение посредством ссылки на значение производящей основы, так как производная основа выражает частное понятие, а производящая — более общее. Как известно, именно таким путем строится подавляющее большинство всяких формулировок и определений. Но из случаев типа *бродить* — *брожение* видно, что возможность построения такой формулировки не имеет никакого отношения к определению основы как производящей или производной. Что же наблюдается в последних случаях?

Соотношение *брожение* — *бродить* находится в тех же отношениях по объему значений, что и *стол* — *столик*, и поэтому-то и возможно объяснить значение слова *бродить* через значение слова *брожение*. Только причины такой возможности в этом случае другие: не слово-

образовательные, а семантические. Когда-то *бродить* в рассматриваемом значении представляло собой лишь одно из значений полисемантического глагола *бродить* (главным его значением являлось: «передвигаться в неопределённом направлении, без видимой цели»). Развитие омонимов *бродить-1* и *бродить-2* на базе полисемии вызвало сужение объема значения глагола, соотносительного с существительным *брожение*. В результате этого глагол стал легко объясняться через существительное, что раньше было бы невозможно.

Итак, хотя понятие производности основы в словообразовательном смысле включает как существенный признак мотивированности производной основы, отсюда совершенно не следует, что всякая основа, которую можно таким образом мотивировать, является непременно производной. Производной основой со словообразовательной точки зрения является только такая основа, которая имеет наряду с семантической производностью формальные признаки производности. ✓

Существуют и другие причины, вызывающие психологическое представление о «вторичности» слова, но опять-таки не имеющие никакого отношения к производности в словообразовательном смысле слова (с синхронической точки зрения). Это видно хотя бы из того, что отмеченный эффект «вторичности» совершенно не зависит от наличия или отсутствия производящей основы. На эти причины указывал А. И. Смирницкий, рассматривая так называемую семантическую производность при конверсии в английском языке⁹. Так, например, существительные со значением действия даже при отсутствии формальных указаний на производность со словообразовательной точки зрения от соотносительного с ними глагола очень легко могут быть восприняты как производные по отношению к нему. Ср. *дело* и *делать*, *работа* и *работать*, *лечит* и *лепетать* и т. д.¹⁰. С другой стороны, глаголы, обозначающие, например, «делать что-либо при помощи предмета, обозначенного именной основой» — *вакса* — *ваксить*, *нафталин* — *нафталинить* — воспринимаются как производные от существительных в силу того, что их основа представляется как бы не глагольной, а именной, «не выражает само по себе действия»¹¹ как в глаголах *ходить*, *бежать*, *сидеть*, *молчать*, *дать* и проч., — все «процессуальное» обозначается только формальными, а не лексическими средствами: «основообразующим» суффиксом и суффиксом инфинитива, указывающими на то, что перед нами глагол. В английском языке примерно то же явление наблюдается в соотношениях типа: a pen — to pen; a doctor — to doctor и т. д.

Но и такая разновидность семантической производности не совпадает со словообразовательной производностью. В русском языке встречаются именные основы, выражающие значение действия или разнообразных результатов действия, но не соотносительные ни с какими глаголами. Конечно, такие основы никак уже не могут быть признаны производными в словообразовательном смысле слова, так как никаких производящих основ они не имеют. Ср., например, *гвалт* (польск. *gwałt* от нем. *Gewalt*), *визит* (фр. *visit*) *шорох* («тихий шуршащий звук, вызываемый движением какого-либо предмета»), *гам* (в диалектах правда, встречается *гамить*) и т. д.

⁹ А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, Ин. яз. в школе, 1953, № 5.

¹⁰ Ср. В. В. Виноградов, Русский язык, стр. 434, примечание.

¹¹ А. А. Деметьев, Заметки по русскому словообразованию, Уч. зап. Куйбышевского гос. университета, вып. 13, 1955, стр. 233—254; ср. также: П. А. Соболев, Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии, ВЯ, 1959, № 2

Существительные со значением «качества», «поставленные предикативно или атрибутивно», по выражению Г. Пауля¹², тоже склонны восприниматься в сознании как вторичные, производные от прилагательного или глагола, с которыми они соотносятся. Но между этой семантической производностью и производностью в словообразовательном смысле опять-таки нет ничего общего. При семантической «производности» не учитывается характер производящей основы.

Семантическая производность может совпадать и со словообразовательной, но нередко решительно ей противоречит. Например, мы можем одинаково объяснить значения основ слов *сутяга*, *задира* и *попрошайка* через значения однокоренных глаголов; так, *сутяга* — «тот, кто сутяжничает», *задира* — «тот, кто задирает», *попрошайка* — «тот, кто попрошайничает». Все эти основы воспринимаются нами одинаково как *мотивированные*; для языкового сознания характерно стремление объяснить их значение ссылкой на любую однокоренную основу, но из всех них только одна, а именно *задир-а*, является основой, производной со словообразовательной точки зрения. (Производность здесь показана нулевым суффиксом в основе *задир-*; наличие нулевого суффикса выводим из особенностей видообразования соотносительного с *задира* глагола: глагол совершенного вида не отличается от глагола несовершенного вида наличием приставки. В противном случае был бы сделан вывод, что суффикс вовсе отсутствует: *рыба* — *рыбак* — *рыбачить* — *порыбачить* и проч.).

Нужно указать еще на одну разновидность мнимой производности, которая в нашем сознании может быть смешана с производностью в словообразовательном смысле слова. Условно ее можно назвать «бытовой производностью». Сущность ее заключается в том, что отношения между основами слов ошибочно подменяются отношениями между предметами и понятиями, которые этими словами обозначаются. Например, А. Н. Гвоздев пишет, что поскольку *Карповское* водохранилище находится около реки *Карповка*, то, следовательно, прилагательное *карповское* было произведено от названия реки. На самом деле, хотя водохранилище появилось бесспорно позже названия реки, очень сомнительно, что местные жители не употребляли в речи до этого прилагательное *карповский*. Из «факта» образования *Карповское* водохранилища от *Карповка* А. Н. Гвоздев делает вывод, что «при словообразовании используется не только присоединение аффиксов, но и их пропуск». С диахронической точки зрения это вряд ли можно отрицать, но пример, приведенный А. Н. Гвоздевым, нельзя использовать как иллюстрацию этого положения. Перенесение же этого утверждения в плоскость синхронии приведет к обесмысливанию понятия «словообразовательная производность с синхронической точки зрения». Словообразовательная производность будет в этом случае смешиваться с семантической. Например, если утверждать, что *карповск-ий* (в «*Карповское* водохранилище») — основа, производная для *Карповка*, а *Третьяковская* (в «*Третьяковская* галерея») — основа, производящая для *Третьяковка*, то чем же с формальной точки зрения производная основа отличается от производящей?¹³ Очевидно, что при такой постановке вопроса все его решение полностью сводится к семантике и понятие синхрони-

¹² Ср. А. А. Потемня, Из записок по русской грамматике, т. III, Харьков, 1899, стр. 76, 85.

¹³ Ср. Н. Д. Арутюнова, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, АН СССР, 1961, стр. 16–17.

ческой словообразовательной производности оказывается излишним¹⁴.

Единственный выход из положения — признать, что производность со словообразовательной синхронической точки зрения не может быть выражена «ликвидацией» или «заменной» морфем. Конечно, и не всякая осложненность основы является показателем ее производности. *Эллипсис* — не производная основа для *эллипс*, *мотоциклет* — не производная основа для *мотоцикл*¹⁵. Осложнение основы в этих случаях не сопровождается изменением ее значения.

Прав ли был Г. О. Винокур в том, что при анализе производности с синхронической точки зрения существенного значения не имеет то, продуктивно или непродуктивно то словообразовательное средство, при помощи которого осуществляется выражение производности? (Т. е. основы *врун* и *враль* одинаково производны, несмотря на то, что суффикс *-ун-* встречается довольно часто, а суффикс *-ль-* крайне редко). Г. О. Винокур утверждал даже, что если «аффикс» единичен и ни в какой более основе не встречается, это не мешает ему осознаваться как аффикс¹⁶.

Это все же несколько неточно. Суффикс *-тух* в *пастух* по соотношению с *пас-ти* все-таки не аффикс, если под последним понимать форму выражения грамматического значения. Для того чтобы *-тух* было формой, необходимо, чтобы это *-тух* употреблялось в том же значении при каких-либо других основах.

Однако языковое сознание подсказывает, что какой-то элемент оформленности и в *пас-тух* все-таки есть: производность как-то выражена. Как же именно?

В русском языке существуют около 15 суффиксов, которые обозначают название лица, производителя действия, выраженного производящей глагольной основой: *-ач*, *-ан*, *-ак-*, *-ец*, *-ник*, *-щик*, *-чик*, *-тель*, *-ун*, *-ок*, *-ль*, *-арь*, *-ла* и проч. Почти каждый из отмеченных суффиксов имеет свои варианты, вызывающие еще большее разнообразие форм. При всем разнообразии этих производных моделей (*труб-ач*, *вож-ак*, *измен-ник*, *карауль-щик*, *граби-тель*, *езд-ок*, *звон-арь* и проч.) с формальной стороны они объединяются одним общим свойством, и это свойство, следовательно, есть не что иное, как формальное средство выражения словообразовательной производности с синхронической точки зрения. Оно заключается в том, что все отмеченные аффиксы наличествуют в производной основе и отсутствуют в производящей основе. Следовательно, производность сама по себе выражается не «присоединением» какого-либо определенного аффикса (или неаффикса, как в случаях с *пастух*, *любовь* и проч.), а только тем, что какой-то звуковой отрезок «присоединяется» к основе (какой именно отрезок — в данном случае несущественно). Поэтому в *пастух* формой выражения производности является наличие звукового отрезка *-тух*, отсутствующего в производящей основе. Сам же по себе отрезок *-тух* никакой формой выражения чего-либо не является, так как не встречается при других основах¹⁷.

Если *пастух* и *учитель* — две одинаково производные основы, то

¹⁴ Ср. А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, Учпедгиз, 1956, ч. I, стр. 123.

¹⁵ Ср. О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, Учпедгиз, 1957, ч. IV.

¹⁶ Г. О. Винокур, Избранные работы по русскому языку, Учпедгиз, 1959, стр. 426—427.

¹⁷ Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, т. I, стр. 136—137, А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 2-е, М., 1920, стр. 39 и след.

средством выражения их производности могут быть только общие формальные свойства этих основ, т. е. наличие в них отрезков *-тух* и *-тель*, отсутствующих в производящих основах.

Так как средством выражения словообразовательной производности, с синхронической точки зрения, является наличие в производной основе морфемы или звукового отрезка, отсутствующего в производящей основе, сопровождающееся каким-либо регулярным семантическим отличием основы производной от основы производящей, то, следовательно, производность в синхроническом понимании этого слова не может выражаться наличием какого-либо аффикса в производящей основе при отсутствии этого аффикса в производной основе. Следовательно, способом выражения словообразовательной производности с синхронической точки зрения не может быть также чередование аффиксов, наличествующих в семантически-производящей основе, с другими аффиксами, наличествующими в семантически-производной основе. С диахронической точки зрения такой путь образования основы слова вполне возможен: ср. *Zonne-deck* (гол. «солнцекрышка»), осмысленное как *зонт-ик* (с уменьшительным суффиксом), откуда *зонт* — обозначение предмета без указания на величину¹⁸. С синхронической точки зрения *зонт-ик* является основой производной, а *зонт* — производящей.

Иначе и быть не может. Реальный, «диахронический» путь образования слова по ряду причин оказывается тайной не только для нелингвиста и «синхрониста», но во многих случаях даже для исследователя исторических путей образования слов. Поэтому единственным показателем производности основы со словообразовательной точки зрения для индивида, не знающего истории родного языка, является большая сложность ее структуры.

Отметим, что производность может быть также выражена чередованием фонем и меной ударения в производящей и производной основах. На безаффиксные способы выражения словообразовательной производности (с синхронической точки зрения) наши утверждения не распространяются¹⁹.

С синхронической точки зрения, основы русского языка могут отличаться не только производностью, но и оформленностью. Оформленностью основ называем наличие в них формы в морфологическом смысле этого слова.

Ф. Ф. Фортунатов писал: «Формой отдельных полных слов является способность отдельных полных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова. Формальной принадлежностью слова является при этом та принадлежность звуковой стороны слова, которая видоизменяет значение другой, основной принадлежности этого слова, как существующей в другом слове или других словах с другой формальной принадлежностью, т. е. формальная принадлежность слова образует данное слово, как видоизменение другого слова, имеющего ту же основную принадлежность с другой формальной принадлежностью. Формами полных слов являются, следовательно, различия полных слов, образуемые различиями в их формальных при-

¹⁸ А. А. Реформатский, Введение в языковедение, Учпедгиз, 1947, стр. 38; А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 64 и след.; здесь приводится подобный случай из английского языка: *chauffeur* (заимств. из французск.), откуда англ. (to) *chauffe* («возить в автомобиле»).

¹⁹ Очевидно, придется отдельно рассматривать и различные виды аббревиации: профорг., потребсоюз, совнархоз, СССР и другие.

надлежащих, т. е. в тех принадлежностях, которые видоизменяют значение других, основных принадлежностей тех же слов»²⁰.

Ф. Ф. Фортунатов распространял эти взгляды и на формы словоизменения, и на формы словообразования, т. е. считал, что оформленными могут быть как слова, так и основы слов. Правда, в формах словообразования чаще встречается «аномалия», чем «аналогия», но этот факт не дает никаких оснований для того, чтобы при морфологическом анализе основ отказываться от тех принципов, которые соблюдаются при морфологическом анализе слов.

Учение Ф. Ф. Фортунатова о грамматической форме популяризировал А. М. Пешковский в книге «Русский синтаксис в научном освещении». Для выявления формы (флексии, аффикса) в слове, пишет А. М. Пешковский, нужно, чтобы в языке существовало два ряда слов. В одном из этих рядов должны быть слова с одной и той же основой (и по звукам, и по значению), сочетающейся с различными формальными частями, в другом — слова с той же формальной частью (и по звукам, и по значению), что и в анализируемом слове, но с различными другими основами. «Только вследствие такого двойного сравнения и происходит распадение слова на части», — пишет А. М. Пешковский. «Если для какого-нибудь слова таких двух рядов в языке не находится, формы в нем нет»²¹. Эти принципы, как и у Ф. Ф. Фортунатова, распространяются и на анализ форм словоизменения, и на анализ форм словообразования²².

Основы, способные распадаться в результате описанного «двойного сравнения» на новую основу и формальную часть, А. М. Пешковский называет основами производными, неспособные к этому основы непроизводными²³. Такое понимание производности основ с синхронической точки зрения не соответствует пониманию Г. О. Винокура. По А. М. Пешковскому, производность основы — это ее делимость на морфологически значимые части. Подобная делимость может иметь место и в случае, когда анализируемая основа не имеет своей производящей. Между тем, по Г. О. Винокуру, производная основа — только такая, которая имеет однокоренную производящую основу. С нашей точки зрения, делимость основы на значимые морфологические части (оформленность, или «производность», по А. М. Пешковскому) может не зависеть от производности в понимании Г. О. Винокура, т. е. от наличия однокоренной производящей основы. Ср., например:

библиотека, фильмотека, картотека, фототека..
библиография,
библиология,
библиомания (ср. с магия)²⁴

²⁰ Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, т. I, М., 1956, стр. 136—137 и след. Принимаем эту формулировку как «рабочее» определение оформленности, сознавая некоторые ее недостатки.

²¹ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 2-е, М., 1920, стр. 6—7. Любопытно, что в 3-ем и последующих изданиях формулировка сдвинута: «... ясно выраженной формы в нем быть не может...».

²² Там же, стр. 3—13.

²³ Там же, стр. 11. Некоторые примеры, приводимые здесь А. М. Пешковским для иллюстрации сформированности основ, не вполне удачны.

²⁴ М. В. Иванов, очевидно, рассматривал бы *библиотека* как два слова: аналитическое определение (по терминологии М. В. Иванова «прилагательное») *библио* и определяемое существительное *тека*. Однако, как он и сам пишет, «пока все это явление скорее речевое планш, чем языкового». См. М. В. Иванов, О частях речи в русском языке. ПЛДВШ, «Филологические науки», 1960, № 1, стр. 9—11.

Еще пример:

ликвидировать, телеграфировать, датировать...
ликвидация.

Основа *ликвидирова-* — оформленная, так как в ней выделяется суффикс *-ирова-* в результате «двойного сравнения». Однако эта основа в то же время непроеводна, так как не имеет однокоренной производящей основы. (Основу *ликвидациј* конечно, нельзя считать производящей для *ликвидирова-*).

Таким образом, бывают основы оформленные, но непроеводные. Есть и противоположные случаи: основы могут быть производными, но не оформленными. Сюда отнесем основы слов: *пастух, любовь, чайхана, детвора, жених, белесый* и проч. Эти основы производны со словообразовательной точки зрения: их производность выражена наличием в них звукового отрезка, отсутствующего в производящей основе, сам же этот отрезок не является формой, так как не встречается более ни в каких основах с тем же значением.

Заметим, что случаи вроде *шляпка* (дамская шляпа), по-видимому, сюда не относятся: если основы слова *пасти* — *пастух* находятся, по крайней мере, в регулярных семантических отношениях («семантическая модель» производности: «действие» — «действующее лицо по профессии»), то вряд ли найдется «модель»: «предмет, принадлежащий лицу без указания на пол последнего» — «предмет, принадлежащий лицу женского пола»²⁵. Ср., с этой точки зрения, отношения между основами *изволить* и *соизволить*; *сор* и *мусор*; *вино* и *виноград* и т. п.

Поскольку встречаются основы производные, но не оформленные, основы оформленные, но непроеводные, то, очевидно, оформленность основ с синхронической точки зрения может не зависеть от их производности, а производность основ не зависит от оформленности. Следовательно, производность и оформленность, с синхронической точки зрения, есть разные, самостоятельные свойства основ²⁶. Поэтому каждую основу необходимо анализировать с обеих этих точек зрения, если анализ ведется в синхроническом плане. С диахронической точки зрения, такого противопоставления производности и оформленности, очевидно, не существует.

А. И. Смирницкий, полемизируя с Г. О. Винокуром, обратил внимание еще на один возможный аспект изучения основ с синхронической точки зрения. Если в центре внимания Г. О. Винокура была проблема производности, то А. И. Смирницкий сосредоточил свое внимание на делимости основы на значимые части²⁷. Рассматривая с этой точки зрения основы слов *смородина* и *малина*, А. И. Смирницкий замечает: «В основах этих слов имеется общий им звуковой отрезок *-ин-*; вместе с тем оба слова обозначают ягоды, т. е. относятся к предметам, обладающим известными общими им признаками, к предметам одного

²⁵ А. М. Пешковский, Указ. выше труд, стр. 25.

²⁶ Н. Д. Арутюнова справедливо показывает различие между словообразовательным и морфологическим анализом основ на примерах из русского языка типа *проход, подвоз* и проч., в которых префиксы *про-* и *под-* выделяются как морфологические части основы, хотя и не являются средством выражения словообразовательной производности этих основ. (См. «Очерки по словообразованию в современном испанском языке», ЛН, М., 1961, стр. 13); ср. также А. И. Моисеев, Два типа членения слов на морфологические части, Материалы Горьковской лингвистической конференции, Горький.

²⁷ А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, вып. 5, 1948, стр. 21-26.

класса. Поэтому общий данным основам звуковой отрезок *-ин-* представляется не случайно одинаковым в них, но осмысленно одинаковым: он наполняется определенным содержанием, значением «ягода», и тем самым оказывается морфемой. Вместе с тем и звуковые отрезки *мал-* (в *малина*) и *смород-* (в *смородина*) неизбежно осмысляются: если *-ин-* в рассматриваемых основах значит «ягода», то, очевидно, что *мал-* и *смород-* значит «то в малине и смородине, соответственно, что отличает эти ягоды друг от друга и от прочих ягод». Из того, что значения звуковых отрезков *мал-* и *смород-* трудно определимы словами, еще не следует, что этих значений не существует»²⁸.

Отметим, что рассмотренные А. И. Смирничком основы, безусловно, не являются ни производными (в понимании Г. О. Винокура), ни оформленными: у них нет ни производящей основы, ни требующихся для оформленности двух рядов слов. Между тем, это основы членимые, т. е. делимые на части, из которых по крайней мере одна может быть связана с определенным значением (*-ин-*).

В выводимости значения основ *мал-* и *смород-* путем своеобразного вычитания из значения целого слова значения морфемы *-ин-* можно усомниться. Дело в том, что значение слова как целого не равняется обычно, *в принципе*, сумме значений его составных частей²⁹, а из этого вытекает принципиальная невозможность для проведения словообразовательного анализа использовать принцип «вычитания значений» в том виде, как он был предложен А. И. Смирничком.

Более того. Самостоятельная членимость основ вроде *малина* и *смородина* — это совсем не та членимость, которая является следствием производности и оформленности основ. Если представим себе, что у слов *учитель* и *преподаватель* нет ни производящих основ, ни слов с общим для них корнем, ни других слов, имеющих суффикс *-тель*; то, анализируя эти основы по принципам А. И. Смирничкого, получим: *-тель* обозначает то общее, что есть в значениях слов *учитель* и *преподаватель*; следовательно, это значение: «тот, кто дает знания». Основы же *-учи-* и *преподава-* будут обозначать нечто трудно определимое. Следовательно, если аффиксы в понимании Ф. Ф. Фортунатова не обязательно обозначают все то общее, что может оказаться в значениях ряда слов, имеющих одинаковые аффиксы, то аффиксы в понимании А. И. Смирничкого непременно обозначают все общее, что может оказаться в значениях ряда слов, имеющих одинаковые аффиксы.

Следовательно, членимость основ, являясь в ряде случаев следствием их производности и оформленности, может быть и самостоятельным, не зависящим от оформленности и производности качеством основ с синхронической точки зрения. Если под членимостью основ понимать их делимость на значимые материальные части, то можно также утверждать, что встречаются основы не только членимые (но производные, неоформленные), но и основы производные или оформленные, но нечленимые. В слове *обида* основа *обид-* производна и оформлена, но сама по себе нечленима. Производность и оформ-

²⁸ Там же, стр. 23.

²⁹ М. В. Панов, О слове как единице языка, Уч. зап. МГУ им. В. И. Ленина, вып. 5, М., 1956, стр. 146—147 и след. Надо сказать, что фразеологичность слова все же не является тем признаком, по которому можно определить его: для этого не обходимо, чтобы все слова отличались фразеологичностью. Во что бы то ни стало стремясь доказать это, М. В. Панов приходит к странному выводу: часть слов он признает словами, потому что они фразеологичны, а другую часть считает фразеологичными, потому что... они тоже слова (!)

ленность этой основы вытекает из того, что она соотносится с глаголами *обидеть, обижать*, различающимися видами (совершенный — несовершенный), но не различающимися фонематическими началами основ. Глаголы, производные по отношению к существительным и не имеющие приставок, имеют совершенный вид, различающийся началом слова с видом несовершенным: *рыба — рыбак — рыбачить — порыбачить; нафталин — нафталинить — понафталинить; работа — работать — поработать* и проч. (С диахронической точки зрения в ряде случаев может быть и не так).

То же самое, по-видимому, наблюдается и в случаях вроде: *глухой — глушь, сухой — сушь, ветхий — ветошь*, где производность и оформленность выражены чередованием фонем.

А. М. Пешковский справедливо писал: «Собственно говоря, между полным обладанием формой и полной бесформенностью существует огромное количество переходных ступеней»³⁰. Это положение он иллюстрирует, главным образом, подбором неформленных, но членимых слов. Следует, однако, различать членимость, вызываемую морфологическими причинами и выражающуюся в том, что известный звуковой отрезок в основе связывается с определенным значением, и членимость основы на звуковые отрезки, которые не связываются с какими-либо определенными значениями: этот последний вид членимости должен, конечно, изучаться с точки зрения тех причин, которые его вызывают, но не должен изучаться в морфологии, так как членимость в этом смысле слова не есть членимость на морфемы.

Примером такого рода членимости может служить основа слова *обман*. Ни часть *об-*, ни часть *-ман* этой основы не обладают самостоятельными значениями; следовательно, с морфологической или словообразовательной точки зрения структура этой основы простая. Однако есть две причины, вызывающие в нашем сознании представление о том, что основа *обман* все же сложная. Во-первых, *обман* соотносится с глаголами *обмануть — обманывать*, которые различаются видами, а не фонематическим началом слова: *об* или *об'*; *аб* или *аб'*. Такой способ образования видов характерен для префиксальной системы видообразования. Все это невольно вызывает в нашем сознании «рефлексию» на префикс в глаголах *обмануть — обманывать*, пользуясь выражением Г. О. Винокура. Поскольку так же начинается существительное, соотносительное с глаголом, то рефлексия на префикс переносится и на существительное. Префиксом нам кажется именно *об-* (не *о-*, не *обм-*), потому что сочетание фонем *бм* или *б'м* в русском языке обычно не встречается не на стыках морфем.

Итак, с синхронической точки зрения, основы русского языка могут обладать порознь тремя структурными свойствами: производностью, оформленностью и членимостью. Это самостоятельные, не зависящие друг от друга свойства основ. С диахронической точки зрения, противопоставление друг другу этих типов основ в большинстве случаев не имеет смысла.

Словообразовательную производность следует отличать от других разновидностей производности. Словообразовательной производностью, с синхронической точки зрения, следует считать свойство основ восприниматься как образованных в прошлом от однокоренных производящих основ, базирующиеся на существующих в современном русском языке

семантических и структурных отношениях между этими основами. Морфологическую членимость основ (на значимые части или, по крайней мере, на значимую часть плюс незначимая) следует отличать от членимости, вызываемой причинами другого порядка.

В заключение дадим ряд образцов разбора основ с точки зрения, выдвинутой в предыдущем изложении.

Основа *стол-ик*. Производная: есть производящая основа, *стол*. Производная основа характеризуется наличием в ней звукового отрезка, отсутствующего в производящей основе; это звуковое различие сопровождается регулярным смысловым отношением между двумя данными основами. Следовательно, налицо производность основы *столик*, причем не только семантическая, но и словообразовательная. Основа *столик* также оформленная: для нее можно найти два сопоставительных ряда (ряд с той же основой, но другими аффиксами: *столик*, *столовый*, *застольный* и проч. и ряд с одинаковыми аффиксами, но другими основами: *столик*, *ротик*, *носик*, *карандашик*...). Конечно, основа *столик* также и членимая (делится на части, из которых обе связываются с определенными значениями). Членимость здесь является прямым следствием производности и оформленности основы.

Основа *карл-ик*. Непроизводная (нет производящей); неформальная (нет необходимых для этого двух рядов основ), однако членимая. Членимость основы вызывается тем, что звуковой отрезок *-ик* в русском языке обычно обозначает «малую величину» предмета или лица, указанного основой. Этому не противоречит общее значение слова «карлик». Если сравнить *карлик* с *карлица*, то можно заметить, что основа *карлик* также и оформленная. Однако ее оформленность выражается не противопоставлением *-ик* и *-иц*, а противопоставлением *-к* и *-ц* (чередование фонем). Поэтому членимость основы *карлик* ни *карл* и *-ик* не может быть следствием ее оформленности.

Основа *сталактит*. Непроизводна и не оформлена. В то же время в русском языке есть еще слово *сталагмит*. Общее в значениях этих слов — «ледяная сосулька в пещере» — может связываться в сознании говорящих с отрезками *стала...ит*, а различие — со звуковым противопоставлением *...кт...* — *...гм...* (может быть, только *т—м*, так как неясно, какая фонема на месте звука *к* в сочетании *кт*). Следовательно, основа членима.

Основа *закры-*(ть). Непроизводна. Однако оформлена: ср., с одной стороны — *закрыть*, *замазать*, *заклеить*, *запечатать* и проч.; а с другой — *открыть*, *прикрыть*, *накрыть* и проч. Следствием оформленности основы является ее членимость.

Основа *клев*. Производная. Обозначает название действия по глаголам *клянуть* — *клевать* (о рыбе). Производность не только семантическая, но и словообразовательная: основа существительного сохраняет часть варьирующейся глагольной основы, что является, бесспорно, формальным признаком, свидетельствующим о производности основы. По-видимому, основа неформальная и не членимая ни на какие части.

ПРОЦЕСС ВЫЧЛЕНЕНИЯ ПРЕФИКСОВ РОМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Т. И. Фролова

Появившиеся за последнее время работы советских и зарубежных лингвистов¹ внесли значительный вклад в учение о словообразовании английского языка, однако целый ряд вопросов не получил еще должного освещения.

Зарубежные ученые дают простое перечисление префиксов английского языка, указывая их происхождение и значение. Они не уделяют должного внимания истории развития префиксального словообразования, ничего не говорят о продуктивности отдельных префиксов, о взаимоотношении префиксов разного происхождения, о причинах их сосуществования и о сфере их употребления.

В отличие от зарубежных ученых советские филологи исследуют не только систему значений префиксов, но и префиксальное словообразование английского языка в широком плане.

И советские, и западные филологи констатируют наличие в английском языке как исконно-германских, так и заимствованных префиксов.

Однако процесс вычленения префиксов романского происхождения в английском языке до сих пор остается недостаточно исследованным.

Наблюдения над многочисленными рядами заимствованных лексем показали, что при контакте двух языков заимствующий язык, развиваясь по своим законам, «перерабатывает заимствованные элементы в своей системе»².

Изучение процесса становления префиксов романского происхож-

¹ П. М. Карашук, К вопросу об аффиксальном образовании прилагательных современного английского языка, канд. дис., Томск, 1956; Н. Д. Арутюнова, О понятии системы словообразования, НДВШ, «Филологические науки», 1960, № 2; И. Р. Гербач, Суффиксальное образование прилагательных в новоанглийский период, Уч. зап. ЛГУ, № 180, Серия филол. наук, вып. 21; В. П. Григорьев, О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, № 4; Т. А. Егорова, Роль префиксов как способа словообразования в английском языке в историческом освещении, дис. Л., 1949; O. A. Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles ch. VI, Copenhagen, 1942; E. Krusinga, A Handbook of Present-Day English, Groningen, 1932; H. Marchand, The Categories and Types of Present-Day English Word Formation, Wiesbaden, 1960, XX, 397; M. Serjeantson, A History of Foreign Words in English, London, 1961; McCKnight, English Words and their Background, New York, 1923; H. Kozloll, Handbuch der englischen Wortbildungslehre, Heidelberg, 1937.

² В. П. Ярцева, Задачи, содержание и построение теоретических курсов, Ин. яз. в шк., М., 1956, № 4, стр. 36

дения полностью подтверждает высказывания ряда советских лингвистов о том, что «система языка — подвижное равновесие с непрерывной заменой утрачиваемых за ненадобностью элементов и непрерывным введением новых элементов, входящих в ту же систему»³.

В словообразовательной системе, как и в других языковых явлениях, мы наблюдаем две стороны процесса развития языка: отмирание исконных префиксов и становление новых словообразовательных элементов различного происхождения. В этом и состоит процесс развития словообразовательной системы языка.

При образовании производных глаголов участвуют два компонента — словообразующий префикс (префиксема) и словообразующая основа (базама). Роль баземы в процессе словообразования необходимо учитывать, так как она конкретизирует более абстрактную префиксему, но префиксема в свою очередь конкретизирует менее абстрактную базу, т. е. словообразующую основу. В такой двусторонней связи вышеуказанных единиц раскрывается диалектическая природа словообразовательного процесса.

В данной работе мы касаемся глагола, словообразовательная система которого состоит из целого ряда классов, объединенных по различным признакам: 1) классы, различающиеся по семантическому признаку (глаголы, имеющие абстрактное и конкретное значение); 2) классы, различающиеся по структурному признаку.

Схематично это можно изобразить так:

Система словообразования глаголов

Классы глаголов, отличающиеся по семантическому признаку	Глаголы, имеющие конкретное значение			Глаголы, имеющие абстрактное значение		
Классы глаголов, отличающиеся по структурному признаку	глаголы с de-	глаголы с en-	глаголы с re-	глаголы с de-	глаголы с en-	глаголы с re-
Модели	de- + глагол	en- + глагол	re- + глагол	de- + глагол	en- + глагол	re- + глагол

Под словообразовательным классом подразумевается обобщенное словообразовательное понятие, основанное на единстве лексико-грамматического характера основы, а также на единстве префиксальной части производных слов. Каждый класс имеет свои характерные особенности. Система словообразования английского языка включает как исконные, так и заимствованные префиксы.

Все префиксы располагаются в исторической и временной последовательности (см. сводную таблицу).

Вследствие исторически объяснимых контактов английского и французского языков, в английский язык проникло много французских слов. Особенностью этого заимствования было то, что в английском языке накопились многочисленные ряды слов, объединенные общностью структурного построения, т. е. соотносящиеся по какому-нибудь элементу, что создало необходимые условия для вычленения заимствованных морфем.

³ Б. В. Гориунт. О характере языковой структуры, ВЯ, М., 1959, № 1, стр. 46 и др.

Исконные и романские префиксы

Значения, которые приобретает префикс в результате взаимодействия префиксемы и баземы	Исконные префиксы		Романские префиксы	
	древнеанглийский период	среднеанглийский период	конец среднеанглийского периода	новоанглийский период
1. Направление движения и направленность действия в пространстве	<i>and-, æt-, a-be-, in-, ofer-ymb (e)-, (umbe-), innan-, nither. xt-,out-,up-, under-, ut-, fram-, o-f, xi- oth-, for-, eft-geond-, thurch-, to-, fore-, for-, xfter-, xt-, geo-, onglan-, mid-, ed-, wiæ-, wither-, samod-, sam-</i>	after-, again-, fore-, efen- (even-, eft-,in-,sein-, gain-, with-, ofer-), over-, on-, out-, up-, ut-, under-, of-, to-, forth-, down-, thurch-	enter- (inter-, de-, dis-, pre-,post-, counter-, com- (co-), con-, re-	Те же плюс anti-, extra-, in-, trans-, pre-, ultra-
2. Придание или лишение признака, выраженного основой	be-, on-, un-	un-	en-/em-, dis-	Те же
3. Количественные значения	twi-, thri-, thither-	twi-, thir-	bi-	bi-,uni-
4. Оценочные значения	ofer-, under-, sam-, un-, wan-, mis-, arch-	under-, mis-, arch-, ofer-, over-, out-, for-	sur-, sub-, semi-, super-, demi.	Те же
5. Значения, противоположные тому, что обозначено беспрефиксовой основой	un-, med-, on-, or-, z-, wan-	un-, wan-, on-	non-, in-, dis-	Те же

Примечание. Выделены префиксы, которые либо совсем вышли из употребления, либо утратили способность придавать основам указанное значение уже к концу среднеанглийского периода.

Учитывая этот факт, можно сказать, что система словообразования английского языка утратила много исконных префиксов уже к среднеанглийскому периоду.

В задачи настоящей статьи входит исследование процесса проникновения в английский язык префиксов романского происхождения: en-, de-, re-.

Для правильного решения основной задачи необходимо выяснить целый ряд частных вопросов.

1. Когда начали вычлениваться префиксы романского происхождения в момент неполной ассимиляции заимствованного слова, или наоборот, тогда, когда французское слово стало неотличимо в английском языке?

2. Какую роль играет в процессе выделения префиксов количество заимствованных французских слов определенной структуры?

3. Какова частотность использования исследуемых морфем?

Работа представляет результат наблюдений и статистических подсчетов, сделанных на базе 35000 страниц художественной и прочей литературы. Нами рассмотрено около 2500 слов с префиксами de, en, re, выбранных из произведений XIV — XX вв., а также использованы данные словарей Стратмана, Бредли, Вебстера, Нового английского словаря и др.

Сложный процесс вычленения префиксов из состава заимствованных слов усугубляется тем, что заимствованные слова проникают в язык в виде целой лексемы, а усваиваются заимствующим языком в виде основы, так как чужое слово включается в парадигму заимствующего языка только в одной из своих форм. Вследствие этой сложности процесс вычленения — длительный процесс.

Префиксы романского происхождения, войдя в язык в составе лексических единиц, морфологическое строение которых не было понятно для носителей английского языка, сначала не воспринимаются в английском языке как словообразующие морфемы.

Прежде чем могло осуществиться извлечение морфемы из состава заимствованной лексемы, в английском языке накопилось большое количество ассимилировавшихся слов с одинаковым морфологическим строением.

Анализ существующих в языке слов, объединенных общностью структурного построения, имеет важное значение для выявления морфологического строения слова.

Тщательный анализ многочисленных слов среднеанглийского периода с префиксами романского происхождения показывает, что в результате массового заимствования слов с исследуемыми префиксами в английском языке появились необходимые условия для выделения префиксов из состава слова. Итак, в языке накапливались слова, соотносящиеся либо по первому, либо по второму элементу.

а) Начиная с XIII в. в языке накапливаются ряды слов, структурно соотносящиеся по первому элементу:

counter-attack	co-arrange	declaim	disagree
counter-balance	co-art	debate	disappoint
counter-change	co-rival	define	disprove
counter-sign	co-raise	deform	disclaim
countermine	co-seat	decline	disclose
emblemish	rebate	surname	
enbalm	reclaim	surpass	
enchange	require	surpay	
enblow	rebuke	surtax	
enfat	reject	surpress	

б) Параллельно в языке накапливаются ряды слов, структурно соотносящиеся по второму элементу:

encline	deform	declaim	enquire	devolve	project	describe
decline	inform	disclaim	inquire	involve	reject	enscribe
inclune	perform	nonclaim	requite	revolve	subject	perscribe
recline	reform	proclaim		transvolve	disjest	superscribe

Морфологически однородные слова, смыкаясь в единую по форме группу, образуют определенный морфологический тип, в котором начальная морфема, если даже она еще не вычленяется как лексически значимый элемент слова, начинает восприниматься как их особая морфологическая характеристика.

Но самым решающим и необходимым условием для вычленения заимствованной префиксальной морфемы является накопление в заимствующем языке беспрефиксных и соответствующих префиксированных образований и систем форм этих слов. Это условие сложилось к концу среднеанглийского периода.

При наличии соотносительного беспрефиксного образования глагол с префиксом оказывается морфологически членимым, так как соотносительное слово выступает по отношению к глаголу как производная основа в самом английском языке. Сравните, например: *deflower* — *flower* и их ряды: *deflower*, *deflowered*, *deflowering*; *flower*, *flowered*, *flowerer*, *flowerful* etc. Как правило, в английском языке словообразовательные ряды беспрефиксного образования накапливаются раньше словообразовательных рядов префиксированного образования. Например: *battle*, *battlement*, *battling*, *battleful* существуют в языке с XIII, а *embattle* и его ряд — с XIV века. Производные от *damage* — с XIII — XV вв., а с *endamage* — большинство производных после XVI столетия. То же самое наблюдается в словах — *encharge*, *enclose*, *debark*, *deflower*, *endouble*, *engold*, *endark*, *enseeple*, *deface*, *recover*. В среднем на 40 случаев вышеописанного явления приходится пять, когда префиксированный глагол и его производные предшествуют беспрефиксному глаголу с его производными: *enchafe*, *enbellish*, *rebound*. При анализе рядов префиксированных слов, встречающихся в XIII—XVI вв., таких, как *deceive* — 1300⁴, *deceivor* — 1382, *deceiving* — 1500, *declare* — 1325, *declaring* — 1374, *declaredly* — 1644, *declared* — 1651, *declaredness* — 1846, можно заметить, что глагольная основа этих рядов подвергается различным фонетическим изменениям (при сохранении основного лексического содержания) на протяжении XIII — XV вв. (сравните, например, *repoisen* *repoysen*, *repoysen*; *rebuke*, *rebukk*, *rebank*, *rebuyk*, *rebukie* etc.) и принимает определенную форму только в конце XV — начале XVI столетия. Но, несмотря на это, заимствованные звуковые комплексы, наполненные определенной семантикой, оформляются продуктивными словообразовательными элементами на данном этапе развития заимствующего языка. Сравните, например: *enpoisen* — 1350, *enpoisener* — 1386, *enpoisoning* — 1374, *enpoisoment* — 1569, *enpoisoness* — 1628, *enpoisoned* — 1615; *enchant* — 1377, *enchantment* — 1272, *enchanter* — 1272, *enchantry* — 1297, *enchanted* — 1596, *enchanting* — 1553; *rebuke* — 1330, *rebuker* — 1420, *rebuking* — 1400, *rebukeous* — 1494, *rebukable* — 1550, *rebukeful* — 1523 etc.

Сравнение словообразовательных рядов показывает, что с одним постоянным элементом соединяются различные изменяемые элементы, т. е. входящие в этот ряд словообразовательные аффиксы можно вычленивать, выделять. Заимствование или образование на английской почве соотносительных производных прилагательных, существительных и других слов словообразовательного ряда расширяло морфологически однотипные гнезда слов, способствовало выделению префикса в составе слова.

Процесс ассимиляции префиксов романского происхождения в ан-

⁴ NED-A New English Dictionary on Historical Principles, James and Murray, 1926

глийском языке в значительной степени облегчался тем, что значение звуковых комплексов в словах, содержащих префиксы, уже было известно в английском языке, так как они существовали в языке и раньше в качестве простых непроеизводных основ; кроме того, они входили в состав других частей речи. Это положение хорошо иллюстрируется сравнением дат появления непрефиксированных и префиксированных глаголов (*form* — 1207, *deform* — 1450, *fault* — 1300, *default* — 1382, *battle* — 1297, *embattle* — 1394, *broid* — 1386, *embroid* — 1500, *cover* 1300, *recover* — 1400 etc.), а также дат появления словообразовательных рядов непрефиксированных и префиксированных глаголов: *form* 1207, *formable* — 1398, *formably* — 1400 etc.; *deform* — 1450, *deformable* 1450, *deformably* — 1593; *large* — 1340, *enlarged* — 1545, *largeness* 1300, *enlargeness* — 1594 etc.

Когда в английском языке появляются многочисленные ряды слов, соотносящихся с заимствованным глаголом по одному из элементов, глагол подвергается морфологическому членению. Романская приставка распадается на два омонима, как будет показано ниже. Один омоним остается в заимствованном слове, развитие которого впоследствии идет по линии опрощения, а другой вычленяется из состава заимствованного слова и начинает использоваться как префикс английского языка.

Указанные причины способствуют полной ассимиляции заимствованной морфемы в качестве словообразовательной морфемы заимствующего языка.

Большую и важную роль в процессе вычленения префиксов романского происхождения сыграла лексическая ассимиляция заимствованных слов, так как она сопровождалась развитием словообразовательной активности. Вычленившиеся морфемы начинают сочетаться с исконно-германскими основами, создавая слова, состоящие из морфем различного происхождения. Например, *dehair de-* — романского происхождения, *hair* — исконного происхождения; *rebuid*, *recock*, *enquicken*, *epweaken* etc. Способность заимствованных морфем к созданию гибридных образований является существенным доказательством окончательной ассимиляции их в заимствующем языке.

В среднеанглийский период основная масса слов с префиксами романского происхождения не имела соотносительных простых основ в английском языке (*deceit*, *declare*, *rebuke*, *rebel*), но уже к концу этого периода начинает преобладать другая группа слов, параллельно с которыми существуют беспрефиксные основы *reform* — *form*, *retell* (tell etc.). С XV столетия последняя группа слов начинает усиленно расти за счет новых образований из префиксов и основ романского происхождения. По внешней форме они дублируют уже существующие в английском языке заимствованные глаголы, но значение префикса, его написание с основой — иное. Префиксы в этих словах часто пишутся отдельно от основы, особенно в самом начале существования таких глаголов⁵.

⁵ Некоторые зарубежные лингвисты указывают на наличие в английском языке слов, по внешней форме дублирующих друг друга, типа *reform* *re-form*, и отмечают, что префиксы здесь имеют несколько произношений, а также несколько написаний с основой и могут быть под ударением и безударны. Несмотря на это, исчерпывающего объяснения, когда и почему появилось двойное написание и произношение в языке, еще нет. Объяснения одного лингвиста противоречат объяснениям другого. О. Есперсен, например, утверждает (O. Jespersen, *A Modern English Grammar*, Part VI, Copenhagen 1942, pp. 483, 520, 533), что в заимствованных словах, в которых *de* уже не осознается как независимый префикс, *de* произносится кратко и не несет на себе

Сравните, например, следующие пары глаголов (слева даны заимствованные глаголы, справа — образованные на английской почве):

recreate 1535 (L. <i>recreat</i>) --	re-create — 1589 [ri : 'kri:et] =
[ri'kri:et] = refresh	create again
debarк—1654 (O. F. <i>debarquer</i>)—	debarк — 1744 [di : 'ba : k] = strip
[di'ba : k]	of its bark

Как видно из приведенных примеров, в заимствованных глаголах (левый столбец) романские префиксы безударны, имеют краткое произношение; значение их порой выделить нельзя либо в английском языке оно нехарактерно для данного префикса. Слова правого столбца образованы на английской почве из вычленившихся префиксов романского происхождения и полностью ассимилированных основ романского происхождения. Как правило, эти префиксы ударны, пишутся раздельно, особенно в раннем периоде своего существования в английском языке; гласный звук префикса долгий. Сравните, например, *reform* — «порицать» [ri'fɔ : m], *re-form* [ri : 'fɔ : m] — «вновь формировать»; *debarк* [di'ba : k] — «препятствовать» и *debarк* [di : 'ba : k] — «лишать кожи» (сдирать кожу).

Наличие указанных пар глаголов в английском языке, а также гибридных образований является неопровержимым доказательством того, что префиксы романского происхождения смогли вычлениться из состава заимствованных слов и заняли определенное место в словообразовательной системе английского языка. Произошло расщепление романского префикса на два омонима, развитие которых идет независимо друг от друга и приводит к значительному изменению их произношения и семантики.

Таким путем в английском языке появляются новые словообразовательные элементы: *en-*, *de-*, *re-* etc. Итак, для наиболее полной и быстрой ассимиляции иноязычной морфемы в качестве словообразовательной частицы заимствующего языка необходимо наличие целого ряда условий; во-первых, наличие большого количества полностью ассимилировавшихся глаголов, имеющих одинаковое морфологическое строение, что способствует созданию определенного морфологического типа, в котором начальный элемент начинает осмысляться как словообразовательная морфема — приставка; во-вторых, наличие соотносительных с глаголом и морфологически однотипных слов других частей речи и, в-третьих, наличие в заимствующем языке большого количества рядов полностью ассимилировавшихся слов, соотносительных по какому-нибудь из входящих в их состав элементов.

Показателем полной ассимиляции префиксов, как уже говорилось выше, является их вычленение из состава слова и использование для образования новых глаголов от основ слов любого происхождения, самостоятельно функционирующих в английском языке.

Принимая во внимание указанный критерий, мы можем установить даты появления новых префиксов в английском языке.

ударение. В словах, где *de-* обозначает лишение чего-то, *de-* имеет долгое произношение и находится под ударением. Префикс *re-* имеет долгое произношение в словах, образованных на английской почве. H. Sweet (*A New English Grammar*, Oxford, 1903, 31) заявляет, что «в разговорном английском языке существуют два произношения префикса *re-*, слабое — *receive* [ri'si : v] и сильное — *reenter* [ri : 'entə]. Сильная форма часто употребляется в новообразованиях. В NED (NED by James and Murray, Oxford, 1897, V. III, p. 55) указывается на то, что *de-* пишется через дефис со словами, которые начинаются с гласных (*de-electrize*, *de-alcoholize*).

В развитии каждого словообразовательного элемента имеются свои характерные особенности, что будет показано позднее при рассмотрении словообразующей функции исследуемых префиксов. Префикс *ge* входит в английский язык в составе заимствованных слов из латинского или французского языков: например, *recoil*(en) из ст. фр. *reculer*, *record* из ст. фр. *recorder*. Впервые заимствованные глаголы, в составе которых имеется префикс *ge*, встречаются в английском языке в XIII веке. Из 1145 глаголов, выбранных нами из произведений XIII — XIX вв., 60 падает на XIII — XIV вв., 96 — на XV, 227 — на XVI век, 390 — на XVII, 122 — на XVIII и 248 — на XIX век. Наибольшее количество глаголов падает на XVI, XVII и XIX века.

Сначала число глаголов с префиксом *ge* возрастает за счет новых заимствований *recite*, *recline*, *recalcitrate* etc. С конца XIV в. их число значительно увеличивается за счет новообразований в самом английском языке, в которых морфема *ge* впервые используется в качестве словообразовательного элемента.

Глаголы с префиксом *ge* в большинстве случаев образуют морфологически членимые слова. Поэтому решающим моментом в вычленинии префикса *ge* в английском языке была морфологическая членимость заимствованных глаголов с данным префиксом, результат того, что соответствующие беспрефиксные основы уже успели полностью ассимилироваться в английском языке, прежде чем таковые были заимствованы в сочетании с префиксом *ge*. Например, глаголы *comfort*, *double*, *cover*, *create*, *form* etc встречаются в языке в XIII — XIV, а глаголы *recover*, *recreate*, *reform* — в XIV и XV веках.

Наибольший интерес представляют вторичные образования, созданные на английской почве и дублирующие по внешнему виду уже существующие в языке ранее заимствованные глаголы. Сравните, например, *recover* — 1377 г. и *re-cover* — 1400 г., *redouble* — 1477 г. и *redouble* — 1530 г., *reprove* — 1340 г. и *re-prove* — 1529 г. etc. Эти образования являются как бы переходными между заимствованными глаголами и образованиями на чисто английской почве, которые позднее стали характерными для префикса *ge*.

С XV в. префикс *ge* совершенно свободно функционирует в языке, встречается с самыми разнообразными основами и занимает прочное место в префиксальной системе английского языка, о чем свидетельствуют и цифровые данные. Из 227 глаголов XVI в. почти все являются новообразованиями, из 390 глаголов XVII в. совершенно незначительное количество заимствовано. Итак, префикс *ge* вошел в английский язык как словообразовательная морфема с XIV в. и не покидает литературных произведений различных жанров до настоящих дней, встречаясь в различных стилях речи (в официальных документах, в личной переписке, в поэтических и прозаических произведениях, а также в научной литературе).

Примерами некоторых наиболее употребительных в XIV веке глаголов являются: *rebound*, *reclaim*, *reclose*, *recoil*, *recomfort* etc.

В XV в. — *reappeal*, *reassemble*, *reassociate*, *rebaptize*, *recharge* etc

В XVI в. — *readvise*, *reappose*, *re-arrive*, *reaccount*, *recolonize* etc

В XVII в. — *re-act*, *readmit*, *reaffirm*, *reaccept*, *reborrow*, *rebuild* etc

В XVIII в. — *readjust*, *reapply*, *reattack*, *rechain*, etc.

В XIX в. — *reaccumulate*, *reaggregate*, *rearm*, *re-arrange*, *rebottle*

В XX в. — *remilitarize*, *renegotiate*, *repatriate*, *rediscount* etc

Уже в ранний новоанглийский период выделившийся префикс ге становится продуктивным словообразовательным элементом английского языка, о чем свидетельствуют гибридные глаголы этого периода, образованные от германских основ, а также неологизмы, ибо критерий продуктивности любой морфологической модели устанавливается по количеству неологизмов, которые пополняют словарный состав языка и создаются по определенному структурному образцу.

Наибольшей продуктивностью префикс ге обладал в XVI, XVII и XIX веках. Но после того, как способы образования новых слов путем конверсии и сочетания глагола со вторым компонентом типа *come back* заняли ведущее место в английском языке, продуктивность префикса ге намного снизилась.

Глаголы с префиксом ге можно разбить на несколько семантических разрядов⁶.

Префикс *de*. Префикс *dt* вошел в английский язык так же, как и префикс *ge*, в составе заимствованных слов из французского или латинского языка.

В XIII и начале XIV века глаголы с префиксом *de* составляли такие разряды глаголов, в которых префикс *de* можно выделить только этимологически. Например, *deceit*, *depend*, *declare* etc.

С конца XIV в. складывается новый тип глаголов с префиксом *de*, имеющих в английском языке соотносительные основы, заимствованные и ассимилировавшиеся ранее (*fault* — 1300 г., *default* — 1382 г., *foul* — ст. англ., *defoul* — 1200 г., *spoil* — 1230 г., *despoil* — 1297 г., *fail* — 1300 г., *defait* — 1340 г.) либо заимствованные или выделившиеся на английской почве позже (*deform* — 1450 г., *form* — 1575 г., *deflower* — 1382 г., *flower* — 1530 г., *defraud* — 1362 г., *fraud* — 1551 г.). Ряды слов беспрефиксных образований, как уже говорилось выше, часто создавались в английском языке раньше, чем ряды слов префиксированных образований. Сравните, например, *fault* — 1300 г., *faultless* — 1340 г., *faulting* — 1450 г., *faultive* — 1496 г., *fauitness* — 1580 г., *faultful* — 1591 г. etc, *default* — 1382 г., *defaultless* — 1340 г., *defaultness* — 1530 г., *defaulted* — 1580 г., *defaulture* — 1622 г., *defaulter* — 1666 г. Это способствовало выделению префикса *de* как словообразовательной морфемы заимствующего языка. В английском языке префикс *de* впервые применяется как словообразовательная морфема в конце XV века. Например, в 1450 г. префикс *de* образует на английской почве глагол *debate*, который состоит из префикса *de* и основы *bate* = *abate* — «уменьшать цену, аннулировать». По внешней форме этот глагол дублирует глагол *debate*, заимствованный из старофранцузского языка и означающий «бороться, сражаться». Но большинство глаголов такого типа появляются в XVIII и XIX веках. Сравните, например, *debark* — 1654 [di'ba:k] и *de-bark* [di:'ba:k] — 1744; *depauperize* — 1863 и *de-pauperize* — 1873.

Нами исследовано 365 слов с префиксом *de*. Из них 25 глаголов XIV в., 30 — XV в., 54 — XVI в., 85 — XVII в., 22 — XVIII в., 80 — XIX в. и 35 — XX в.

Почти все глаголы XVIII и особенно XIX и XX веков были образованы из вычленившегося префикса *de* и беспрефиксной основы любого происхождения, что бесспорно доказывает превращение префикса *de* в словообразовательный элемент английского языка. Гибридные образо-

⁶ Т. И. Фролова, Влияние романских языков на префиксальную систему английского языка, Вестник МГУ, 1961, № 4, стр. 50

вания с префиксом *de* встречаются в английском языке с XVII века. Например, *decanonize* — 1624, *decardinalize* — 1645, *desilver* — XVII в., *decolourize*, *dechristionize* — XIX в., *de-gauss*, *demob*, *decontaminate*, *denazify* — глаголы XX века. Глаголы с префиксом *de* заняли прочное место в английском языке; в XX в. продолжается образование новых глаголов. Многие новые глаголы, образованные от основ романского происхождения, встречаются в популярной научно-технической литературе (*debus*, *decontor*, *dedifferentiate*, *demorolize*, *desensitivize*). Среди новых глаголов XX в. есть немало гибридных образований (*declutch*, *debunk*, *dehair*, *delouse*, *derat*), что свидетельствует о продуктивности префикса *de* в современном английском языке.

Анализ семантической структуры глаголов с префиксом *de* указывает на его продуктивность. Глаголы с префиксом *de* можно разбить на несколько семантических разрядов в зависимости от лексического значения соотносительных производных основ.

Прежде чем приступить к рассмотрению основных групп глаголов с префиксом *de*, надо отметить, что очень большое количество глаголов, относящихся к раннему заимствованию, вышло из употребления. Это главным образом те глаголы, которым префикс *de* придавал согласно этимологическому анализу конкретное пространственное значение. Например, *debare* = *strip down*, *demerse* = *plunge down*. Анализ глаголов, вышедших из употребления, показывает, что префикс *de* утрачивает способность выражать пространственные значения и что непространственные значения префикса *de*, характерные для него в современном английском языке, развились на базе его пространственных значений путем постепенного изменения как значения самого префикса, так и круга основ, в сочетании с которыми он употребляется. Так, глагол *debare* «сдирать кожу, обнажать» уже содержит зародыш значения, присущего префиксу *de* в более поздний период, — «лишать чего-то» или «очистить, освободить от чего-то».

Глагол *defrag*, имевший первоначальное значение «стирать» (ворс), постепенно приобретает переносное значение — «лишать позыны».

Основная масса глаголов с префиксом *de* четко делится на две группы в зависимости от семантики соотносящихся беспрефиксных глаголов.

Беспрефиксные глаголы, относящиеся к первой группе, обозначают физический процесс: *sulphurize* — «обогащать серой»; *bitumenize* «обогащать горной смолой»; *magnetize* — «притягивать, намагничивать». Как правило, префикс *de*, соединяясь с указанными глаголами, образует новые глаголы со значением «лишить» или «очистить», «освободить» объект действия от того, что обозначено беспрефиксным словом: *desulphurize* — «очищать, освобождать от серы», *debitumenize* — «очищать от горной смеси». To produce such conditions, air is brought in from the atmosphere, compressed to the desired pressure and dehumidified (1957 М. Е. J. № 1, 9). — «Для того чтобы создать такие условия, атмосферный воздух доводится до определенного давления и осушается (т. е. его лишают влаги)»; «It is necessary to induce them to desulphurize all their waste (Webst. 1864) — «Необходимо убедить их очистить все отходы от серы».

Эта группа глаголов существует в языке с XVII в., но наибольшее количество подобных глаголов мы обнаруживаем в произведениях XIX, XX вв. в период бурного развития химии. Глаголы этой группы продуктивны и в современном английском языке, так как даже в XX в. нами

обнаружено много неологизмов: dehumatize, de-Margarinate, de-Hemoglobinize, dehalogenize etc.

Вторую группу составляют глаголы, беспрефиксная основа которых обозначает изменение в состоянии и воздействие на умственную деятельность человека. Префикс de привносит в данную группу глаголов значение лишать того качества или характера, которые обозначает беспрефиксная основа. Сравните, например: christionize — «приводить в христианскую веру», dechristionize — «лишать христианской веры»; civilize — «цивилизовать, приобщать к цивилизации», decivilize — «лишать цивилизации»; dehumanize — «лишать гуманности»; anglicize — «англизировать», deanglicize — «лишать англизирования».

Например: Let me be pardoned, if the actions are too much anglicized (1795, Col. Plot, D., 47); He even thinks we must de-anglicize our language (1890, Sat. Rev., 15 Feb., 201 (1); His theory is that Germany is being fast de-Germanized (1892. Pall Mall G. 7 Sept. 6(1).

Глаголы третьей группы образованы по следующей словообразовательной модели: префикс de плюс основа имени существительного, например, throne — «трон», dethrone — «лишать трона, отвергнуть», train — «поезд», detrain — «высаживаться из поезда». В этой группе глаголов префикс de служит средством образования глаголов от именных основ, при этом он придает глаголу значение, обратное тому, что обозначает основа имени существительного. Приведем пример: Whatever you do, don't get just declassified (20 с., J. L., B. S., p. 375); ...the control valve closes until the tube temperature drops below the limit, at which time the safety circuit is de-energized and normal control is re-established (1956, Inst. Aut., N 2, Feb., U. S. A., p. 286).

Эта группа немногочисленна, но продуктивна. До сих пор встречаются новые образования в языке (dehair, detrain), среди которых имеются гибриды. Например, demoth, delist, deskill, debank etc. Префикс de существует в английском языке как префикс английского языка с XV века. Войдя в составе заимствованных слов, префикс de постепенно вычлняется и становится словообразовательным элементом английского языка, на что указывают следующие моменты:

1) Произношение префикса de в словах, образованных на английской почве, отличается от его произношения в заимствованных словах. Он имеет краткое произношение в заимствованных словах define [di'fain], declare [di'kleə] и долгое — в неологизмах. Например, de-ice [di:'ais], deskill [di:'skil].

2) В процессе становления префикса de в английском языке появляются не только глаголы конкретного физического действия, глаголы, обозначающие химические процессы (debitumenize, dehydrate), но и глаголы с отвлеченным значением, часто обозначающие деятельность человека (decivilize, dehumanize etc.). Число подобных глаголов постоянно растет, и процесс расширения словообразовательных связей префикса de идет все дальше и дальше.

Префикс en. Префикс en становится словообразовательным элементом английского языка, потому что исконный префикс be утратил способность придавать беспрефиксным образованиям значение поместить в предмет, выраженный основой (be-trap — «поймать в ловушку», trap — «ловушка»).

Слова с префиксом be, вышедшие из употребления, были заменены словами, в составе которых находится элемент романского происхождения en (be-trap — entrap; be-wind — entwine; be-clyse — inclose). Префикс en имеет несколько структурных вариантов в английском языке

кс: em-/in-/im-/il-/ir-; слова с этими приставками иногда сосуществуют до сих пор: embed = imbed; entrust = intrust. Изменения в структуре префикса ep не затрагивают его лексического значения и в большинстве случаев носят чисто фонетический характер.

Впервые слова с префиксом ep встречаются в английском языке в произведениях XIV в., а к концу XIV в. появляются первые гибридные образования с основами нероманского происхождения (ensilver, enhang, engold etc.). Неологизмы каждого века, а также группы глаголов, имеющих соотносительные беспрефиксные образования (embaу — baу; embed — bed) служат неопровержимым доказательством того, что префикс ep является живым и продуктивным словообразовательным элементом английского языка, который можно изолировать от его романской основы и присоединить к основе любого происхождения. Глаголы с префиксом ep образуют в современном английском языке продуктивный словообразовательный тип. По своему происхождению часть этих глаголов является заимствованиями из старофранцузского и латинского языков: embalm — ст. фр. embaume; embattle — ст. фр. embataillier; embellish — с. фр. embelliss; emplaster — ст. фр. emplastrer; empoison — ст. фр. empoisonner; enarm — ст. фр. enarmer. Попав в английский язык, эти глаголы ассимилируются в нем и включаются в словесные ряды морфологически однотипных существительных, прилагательных и других частей речи. Например, embellish — 13... г., embellisher — 1479 г., embellished — 1958 г., embellishing — 1545 г., embellishment — 1623 г., empoison — 14... г., empoisoning — 1374 г., empoisoner — 1380 г., (весь ряд образован из глагола путем добавления продуктивных словообразовательных суффиксов английского языка). Как словообразовательная морфема английского языка префикс ep начинает использоваться с конца XIV столетия.

Первые глаголы, дублирующие ранее существующие заимствованные глаголы с префиксом ep, появляются в конце XV столетия. Сравните, например, embrase — 1386 (ст. фр. embracer) embrase, образованный из вычленившегося префикса ep + существительное brase — 1475 г., embrocado — 1600 г., и embrocado (en- + brocado) — 1677 г., embroil — 1603 г., из фр. embrouiller = bring into a state of confusion и embroil (en- + broil) — 1664 = set on fire.

Начиная с XV в. словообразовательная модель с префиксом ep занимает прочное место в английском языке. Источники происхождения этих глаголов различны. Они либо являются непосредственным заимствованием из романских языков, либо образуются в самом английском языке: embold, embull, embusy, enable, enact etc. Глаголы с префиксом ep встречаются в каждом из исследуемых веков.

Из 365 исследованных нами глаголов на XIV в. приходится 60, на XV — 60, на XVI — 120, на XVII — 90, на XVIII — 15, на XIX — XX — 25 глаголов.

Глаголы XIV в. embalm, embattle, emblemish, enarm; XV в. embold, embusy, enchain, encharmendwell etc.; XVI в. emball, encompass, embar, embetter, empeople etc.; XVII в. embeam, emblind, embrighten, encheer, engirdle etc.; XVIII в. embank, emblossom, empocket, encase etc.; XIX в. embrutalize, encash, enclothe, enface, ensall etc.; XX в. embitter, embloom, embolden, ensky, ensweep etc. XVI в. является кульминационной точкой в развитии словообразовательной модели с префиксом ep. Начиная с конца XVI в. префикс ep образует глаголы с германскими основами (ensilver, engold etc.).

По морфологическому строению и семантическим связям с другими

частями речи глаголы с префиксом *en* в современном английском языке можно разбить на две группы.

Глаголы первой группы соотносительны с неизменяемыми прилагательными и существительными и др: *embrace* — 1386 г., *embraceable* — 1841 г., *embraceably* — 1857 г.; *engendren* — 1325 г., *engendere* — 1561 г., *engending* — 1450 г., *engendered* — 1633 г. etc. Глаголы этой группы заимствованы.

Вторая группа глаголов имеет соответственные беспрефиксные образования в английском языке и соотносится с производными существительными и другими частями речи. Например, *embattle* — *battle*. *embattle* — 1394 г., *embattailed* — 1394 г., *inbattailed* — 1450 г., *imbattailed* — 1494 г., *embattailleth* — 1677 г., *embatteld* — 1755 г., *embattellment* — 1538 г., *battle* — 1330 г., *battle* — 1297 г., *battlement* — 1325 г., *batleful* — 1449 г., *battled* — 1592 г., *battleness* — 1598 г., *embroid* — 1573 г., *embroidery* — 1393 г., *embroidered* — 1591 г., *embroiding* — 1536 г., *broid* — 1386 г., *broiden* — 1230 г., *broiding* — 1386 г., *broider* — 1450 г.

Самой характерной функцией префикса *en* в английском языке является функция образования переходных глаголов от основ имен существительных.

Все глаголы, образованные с помощью префикса *en* от основ имен существительных, делятся на несколько групп в зависимости от характера производящей основы.

Первая группа — это глаголы, образованные от основ существительных, обозначающих конкретное понятие (вещества и неодушевленные предметы). Например *fold* — «плетень, забор», *enfold* — «охватить, огородить, закутать». Глаголы этой группы делятся в свою очередь на две подгруппы.

Глаголы, образованные от основ имен существительных, обозначающих вещества, и глаголы, образованные от основ существительных, обозначающих какой-либо предмет. В этой подгруппе глаголов с помощью префикса *en* основа имени существительного переходит в глагольную основу. При этом новое образование приобретает характерное для английского глагола грамматическое оформление, а именно, суффикс *s* в 3-м лице единственного числа и суффикс *ed* во второй и третьей форме глаголов.

Если именная основа обозначает какое-либо вещество, то производный глагол имеет значение снабдить что-либо определенным веществом, обозначенным основой существительного. Сравните, например, *embalm* — «бальзамировать», *balm* — «бальзам».

Если именная основа обозначает какой-нибудь предмет, то производный глагол имеет значение поместить в предмет или на предмет, выраженный основой существительного (*ensheath* — «положить в футляр», *sheath* — «футляр»).

Иногда производные глаголы этой подгруппы приобретают значение «окружить» или «обернуть» в предмет (или «покрыть предметом, обозначенным именной основой»), *enmesh* — «опутать, покрыть паутиной», *mesh* — «паутина»). *Spider... careful to observe when the fly is completely immeshed* (18 с., Goldsm., Nat. Hist., 236). Данная подгруппа глаголов осталась продуктивной до настоящего времени.

Вторая группа глаголов с префиксом *en* — это глаголы, образованные из префикса *en* и основы имени существительного, обозначающего абстрактное понятие (*damage* — «ущерб», *joy* — «радость», *hunger* — «голод»). Здесь, как и в первой группе, префикс *en* служит средством образования глаголов из именных основ, принося к глаголу значение

привести что-то или кого-то в состояние или условие, обозначенное бес-префиксным образованием (endanger — «подвергать опасности», danger — «опасность») ...your slander never can endanger him (Sh., Two G., 191); It would endanger his position (20 с., Th. Dr., A. Tr., p. 226). Гибридных образований этой группы в XIX в. меньше, чем в XVI и XVII веках.

Начиная с XIII в. в английском языке встречаются глаголы, образованные с помощью префикса en и основы имени прилагательного (enfirm, ennew, enlarge). Производные глаголы этой группы имеют значение придать чему-нибудь признак или качество, выраженное основой имени прилагательного (enlarge — «увеличивать, делать большими»; large — «большой», ...he didn't really want to enlarge his business (20 с. J. St., Sh. R. P. IV, p. 110). Глаголы данной группы были особенно продуктивны в XVI и XVII вв., но в XVIII — XX вв. многие из них выходят из употребления. Анализ показывает, что этим глаголам в английском языке соответствуют образования с префиксом be (endark — bedark, endim — bedim). Такие пары глаголов, если их значения полностью совпадают, постепенно вытесняют друг друга, причем в языке чаще остаются образования с префиксом be; например, endark, endim, endull вышли из употребления, а bedark, bedim, bedull существуют до сих пор.

Начиная с XVI в., в произведениях английских писателей встречается новый тип глаголов с префиксом en. Эти глаголы образованы с помощью префикса en, основы имени прилагательного и суффикса en (encolden, engolden). Новая группа глаголов — продуктивная группа современного английского языка, так как в каждом веке встречаются новообразования, созданные по этой словообразовательной модели: en плюс основа имени прилагательного плюс суффикс en. Таким производным глаголам префикс en привносит значение привести в состояние, обозначенное основой имени прилагательного (enquicken, enweaken, enfasten etc.).

Префикс en — продуктивный префикс современного английского языка, он встречается в любом стиле, но наиболее широкое использование данная словообразовательная морфема имеет в научно-технической литературе.

Система словообразования английского языка слагалась на протяжении столетий, поэтому в ней накоплены образования разных времен и периодов развития данного языка. В результате продолжительного контакта английского и романских языков из заимствованных слов вычленились новые префиксы глаголов, обогатившие словообразовательную систему английского языка новыми словообразовательными моделями и типами, например, с префиксами de, en, re etc., которые вступили в синонимические отношения с исконными префиксами. Однако процесс нормализации английского словообразования глаголов приводит к постоянной ликвидации словообразовательных дублетов, которые либо выходят из употребления, либо приобретают дифференцированное значение.

Список сокращений

- M. E. J. — Mechanical Engineering, Jan. I. N. Y., 1957
J. L. B. S. — J. Lindsay, Betrayed Spring, M., 1955.
Inst. Aut. — Instruments and Automation, U.S.A., 1956.
Sh. Two G. — W. Shakespear, Two Gentlemen of Verona V. I, M., 1937
J. St. Sh. R. P. — J. Steinbeck, The Short Reign of Pippin IV, M., 1958

К ВОПРОСУ О ПОЛИФЛЕКТИВНЫХ ФОРМАХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Е. С. Троянская

Одной из интереснейших особенностей немецкого литературного языка является возможность оформления атрибутивного словосочетания, т. е. словосочетания, состоящего из артикля (или местоименного прилагательного), прилагательного (или группы прилагательных) и существительного, при помощи лишь одного грамматически сильного, выразительного показателя, например, *meinem lieben hochverehrten Freund*, в то время как в русском языке грамматически выразительную флексию получает каждый из определителей, например, «моему дорогому многоуважаемому другу». В. Г. Адмони очень удачно назвал оформление атрибутивного словосочетания несколькими грамматически выразительными флексиями — полифлексией, одной флексией — монофлексией¹.

Известно, однако, что так называемые полифлексивные формы (типа *der ewiger Schöpfer* или *aus dem uhralten Fürstlichem Stamm*) встречались в немецком языке в более ранние периоды.

Существуют две точки зрения по вопросу о распространении полифлексивных форм. Л. Зюттерлин, например, считает, что более древним периодам были больше свойственны полифлексивные формы и что дальнейшее развитие идет по пути их сокращения. Причем, по мнению Л. Зюттерлина, сфера употребления полифлексивных конструкций все больше и больше ограничивалась именительным падежом, а в последний период, в основном именительным падежом мн. числа².

О. Бегахель подчеркивает, что данное явление как для средневерхненемецкого, так и для ранненовонемецкого периода в равной степени мало типично³.

Л. Г. Кораблева отмечает несколько иной тип развития полифлексивных конструкций. По данным ее анализа, «в средневерхненемецком общее количество таких случаев после определенного артикля увеличилось по сравнению с древневерхненемецким» (речь идет о полифлексивных формах. — *Е. Т.*)⁴. Л. Г. Кораблева объясняет этот факт тем, что

¹ В. Г. Адмони, Структура группы существительного в немецком языке, 1-й Ленинградский ин-т ин. яз., Л., 1954, Новая серия, вып. 1, стр. 111, 112.

² L. Sütterlin, Neuhochdeutsche Grammatik, München, 1924, S. 362.

³ O. Behaghel, Deutsche Syntax, Heidelberg, 1923-1932, Bd. 1, S. 185, 189.

⁴ Л. Г. Кораблева, Развитие системы форм определительного прилагательного в немецком языке, Л., 1954, стр. 125

средневерхненемецкий период характеризовался перестройкой в определенном направлении по сравнению с древневерхненемецким периодом, благодаря чему, по ее мнению, и могли усилиться самые разнообразные колебания в данном употреблении⁵.

После этих указаний, которые хотя и отличаются друг от друга в установлении схемы развития данного явления, но сходятся в утверждении, что это явление мало типично для всех периодов развития языка, особенно неожиданными для нас оказались данные анализа языка некоторых авторов XVII в., например, И. Риста, Ю. Шоттеля, Ф. Цезена и некоторых других. Сплошной анализ произведений этих авторов показал, что для них явление полифлексии не представляется столь уж редким. Так, например, на словосочетание с определенным артиклем в им. п. ед. числа м. р. у Риста (анализировалось произведение «Das Friedewünschende Deutschland») было собрано 88 примеров, из них 45 имеют обычную и для современного языка монофлексивную структуру, а 43 примера — полифлексивную, типа: *der gantzer Inhalt; der lebendiger Teuffel; der gerichtet Gott; der allerhöchster Gott; der vollkommener gewünschter lieber Friede* и т. д. Если перевести эти данные в проценты, то мы имеем у Риста 51% монофлексивных форм и 49% полифлексивных.

Несколько ниже содержание полифлексивных форм в словосочетаниях с определенным артиклем в дат. п. ед. числа м. и ср. рода. Из 67 примеров — 52 с монофлексивными формами и 15 примеров с полифлексивными, т. е. 78% монофлексивных форм и 22% полифлексивных.

Подобное явление показалось нам знаменательным, и мы решили более подробно исследовать вопрос о полифлексии в XVI — XVII вв.

Богатая литература этого периода дала нам возможность подвергнуть анализу значительное количество языкового материала: 9 авторов XVI в. и 15 авторов XVII в. (представителей основных диалектных областей), причем по каждому автору было проанализировано (сплошным анализом) от 150 до 300 страниц (в зависимости от формата издания).

При таком анализе нам встретилось 244 примера⁶ с полифлексией, из них 114 на словосочетание с определенным артиклем.

Невольно возникает вопрос, чем может быть объяснен столь резкий количественный скачок, якобы наблюдаемый нами в XVI — XVII вв., по сравнению с предыдущими периодами развития языка (сравнение производится с данными других ученых)? Означает ли это оживление тенденции оформления атрибутивной группы при помощи нескольких флексий?

Конкретный анализ языкового материала позволяет дать отрицательный ответ на этот вопрос. Большое значение, на наш взгляд, при решении данной проблемы играет вопрос подбора материала для лингвистического анализа и метод его обработки. Автор целенаправленно выбирал для анализа материал по основным диалектным областям и при обработке его стремился, привлекая общие, суммарные данные по

⁵ Там же, стр. 125—126.

⁶ При подсчете не учитывались формы типа: *die schöne Frauen; diese gute Freunde* и т. д., т. е. словосочетания в им. вин. п. мн. числа, так как автор считает, что подавляющее большинство этих форм связано не с явлением полифлексии, а с фонетическим процессом редукции — отпадением любого конечного *-n* в большинстве немецких диалектов. Подробно автор освещает данный вопрос в статье «Влияние диалекта на оформление группы существительного в литературном немецком языке 16—17 вв.», Уч. зап. МГУ, т. 26, 1961.

ряду проанализированных памятников, не упускать из виду и каждый языковой памятник в отдельности, так как метод сравнения суммарных цифр по нескольким языковым памятникам в разные периоды представляется крайне ненадежным для исследования большинства языковых явлений.

Предположим, что какое-то явление одинаково редко или часто встречается во всех памятниках в оба сравниваемых периода, но по первому периоду мы взяли для анализа материал объемом в 3 тысячи страниц, а по второму — в 4 тысячи. Цифра, полученная нами по второму периоду, естественно, будет гораздо больше, чем по первому, но это не будет означать тенденции к оживлению интересующего нас явления. Именно этим, т. е. увеличением общего объема проанализированного языкового материала, мы и объясняем то количественное увеличение полифлексивных форм, которое мы имеем в XVI в., по сравнению с данными Л. Г. Кораблевой.

Но особенно ненадежным представляется этот метод использования суммарных чисел, если мы имеем дело с явлением, по-разному выраженным в различных немецких диалектах (что, кстати сказать, имеет место гораздо чаще, чем это учитывается многими исследователями).

Именно к таким явлениям и относится полифлексия, и именно этим и объясняется тот скачок в употреблении полифлексивных конструкций, который дал нам анализ памятников XVII в.: количество примеров с полифлексией достигло цифры 216.

И, действительно, если отвлечься от этих суммарных данных, то выявляются следующие любопытные закономерности: из общего количества примеров с полифлексивными формами в XVII в. (216 примеров) на произведения Риста и Шоттеля приходится 124 примера, т. е. больше половины, а на всех остальных авторов (13 авторов) — всего лишь 92 примера с полифлексией.

Еще более наглядные данные мы имеем по словосочетанию с определенным артиклем: из 104 примеров в словосочетаниях с определенным артиклем из памятников XVII в. 59 приходится на язык Риста и 16 — на язык Шоттеля, а на всех остальных авторов XVII в. (13 авторов) падает лишь 29 примеров, из них на представителей восточносредненемецкой диалектной области — 25, на представителей всей южной и средней (франкской) Германии — всего 4 примера. Неравномерно распределяются эти 25 примеров и на представителей восточносредненемецкой диалектной области: большинство падает на язык Чепко, Лознштейна и Цезена.

Эти данные ярко говорят о том, что употребление полифлексивных форм тесно связано с определенными диалектными областями, а именно с определенными говорами нижненемецкой и восточносредненемецкой диалектных областей⁷. В некоторых из них, например, в одном из говоров верхнесаксонского диалекта, полифлексивные формы встречаются и сейчас⁸. Наличие авторов из этих диалектных областей способно резко менять общие количественные данные.

Таким образом, сравнение суммарных данных по нескольким памятникам для уяснения тенденций развития явно непригодно и может привести к неверным выводам. Представим себе, что мы сравниваем во времени количество таких форм у Экка (XVI в.) с количеством таких

⁷ O. Behaghel, *Deutsche Syntax*, Heidelberg, 1923—1932, Bd. 1, S. 189; L. Sütterlin, *Neuhochdeutsche Grammatik*, München, 1924, S. 362; K. Kaiser, *Mundart und Schriftsprache*, Leipzig, 1930, S. 115 и некоторые другие.

⁸ E. Goepfert, *Die Mundart des sächsischen Erzgebirges*, Leipzig, 1878, S. 73.

же форм у Риста (XVII в.). Вывод мог бы быть, что в XVII в. наблюдается резкий скачок в употреблении этих форм, что не соответствовало бы действительности, так как и в XVI и в XVII вв. у представителей большинства диалектных областей эти формы встречаются в качестве исключений и лишь у некоторых авторов процент их сильно возрастает.

Интересен, на наш взгляд, также вопрос, почему именно в этих говорах столь интенсивно употребляются полифлексивные конструкции. И тут, как кажется, решение вопроса должно быть перенесено из области морфологии и синтаксиса в область фонетики. Употребление полифлексивных форм оказывается тесно связано с теми областями, где процесс редукции (в частности синкопа и апокопа -е) оказался несколько замедленным: это — северо-западная оконечность нижнесаксонского (у нас — Рист), силезский (у нас — Чепко, Лоэнштейн), в полосе, включающей диалекты вестфальский, большую часть остфальского, примерно до р. Аллер (у нас — Шоттель), южный Бранденбург, включая Берлин, верхнесаксонский, кроме юго-запада (у нас — Цезен), и в полосе, включающей группу гессенских говоров, примерно до Марбурга (анализ языка представителей этих говоров нами произведен не был).

Явление монофлексии тесно связано с интенсивностью процесса редукции⁹. Явление полифлексии в немецком языке является только лишь доказательством этого. Характерно, что подобные полифлексивные формы встречаются у авторов на фоне слабо прошедшей редукции в ряде грамматических форм, что уже нетипично для представителей других диалектных областей:

1. В большом количестве случаев отсутствуют синкопированные формы при образовании множественного числа от многосложных существительных женского рода с суффиксами -er, -el: *meine Schwestern* (R.); *die Schwestern* (R.); *die Wurzeln* (Sch., S. 34, S. 10) и т. д.

2. Частое отсутствие апокопированных форм в им. вин. п. мн. числа у существительных м. и ср. рода с суффиксами -er, -el (в им. вин. п. мн. числа формы -ere, -ele) и соответственно отсутствие синкопированных форм в дат. п. мн. числа (формы -eren, -elen);

а) им. вин. п. мн. числа: *Käysere* (R.); *Liehabere* (Sch., S. 106) и т. д.

б) дат. п. мн. числа: *mit allen meinen Gliedern* (R.); *zu Lehrern* (Sch., S. 37); *mit verguldenen Schüsseln* (R.) и т. д.

3. Отсутствие апокопированных форм в многосложных существительных с суффиксами -at, -ent, -in и т. д.: *ein Soldate*; *ein Studente*; *du allerwehrteste Freundin meiner Seelen* (R.) и т. д.

4. Частое отсутствие синкопированных и апокопированных форм в предлогах: *zuer*, *zuem*, *ümme* и т. д.

5. Нередуцированные формы в артикле: *dero*, *demo* и т. д.

6. Вне структуры группы существительного нередуцированные формы в большом количестве встречаются:

а) в наречиях, косвенных падежах некоторых местоимений: *hero*, *hinführo*, *weme*, *ihme* и т. д.

б) в союзах и местоимениях с составной частью *der* и *dem*: *nach deme*, *zu deme*, *an deroselben* и т. д.

Можно себе представить, что языки со слабо развитыми процессами редукции для оформления группы существительного пользуются полифлексией.

При развитии процесса редукции, интенсивно прошедшего в гер-

⁹ См. Е. С. Троянская, Указ. статьи

манских языках, возможны и другие способы оформления группы: 1) при особенно сильно выраженном процессе редукции, как это имеет место, например, в английском языке, вся группа вообще лишена каких-либо грамматически выразительных флексий; 2) при более слабо выраженном процессе редукции, как, например, в немецком литературном языке, грамматически сильная флексия сохраняется, как правило, лишь у одного из членов группы; немецкие диалекты, которые в большинстве случаев имеют более ярко выраженную редукцию, освобождаясь от флексий прилагательного и смешивая формы артикля, делают еще один шаг от монофлексии к полному уничтожению флексий у всех членов группы.

* *
*

Собранный нами языковой материал позволяет, кроме того, ближе подойти к решению вопроса о том, какую нагрузку имели полифлексивные формы и имели ли они эту дополнительную нагрузку вообще.

Л. Г. Кораблева, ссылаясь на мнение И. Хейзе, считает, что «сильная форма прилагательного в ряде случаев явно имеет цель выделить, подчеркнуть данное прилагательное. Более чем $\frac{2}{3}$ примеров на эти случаи, относящиеся главным образом к XIV — XV вв., свидетельствуют об этом стремлении»¹⁰.

Прежде чем присоединиться к этой точке зрения или опровергнуть ее, мы считаем необходимым проанализировать те позиции, в которых встречаются полифлексивные формы.

Нас будет интересовать вопрос, какой определитель является ведущим, т. е. имеем ли мы дело со словосочетаниями с определенным и неопределенным артиклем типа: *der barmhertziger Gott* (R.); *dem Teudschem Lande* (Ag., S. 45); *der gantzer Inhalt der verlauffener Handlung* (R.); *zur befoderender Volkkommenheit* (Sch., S. 5); *das wilde Thun der ungeschlechter Lippen* (Fl., S. 57); *in einem abgelegenen Winkel* (R.); *in einem rüdigem alter* (Luth., B., S. 50) и т. д. или со словосочетанием с местоименными прилагательными типа: *jener vnenetzlicher Heldenmuht* (W., S. 44); *solches unverhofftes Ubel* (Cl., II, S. 3); *bei diesem Hochzeitlichem Fürstenfest* (W., S. 33); *ein sonderer Liebhaber solcher thewrer Leut* (W., S. 41) и т. д.

Интересно также, в каких синтаксических позициях эта сильная форма выступает, а именно: выступает ли она в элементарном словосочетании артикль (местоименное прилагательное) + прилагательное + существительное или в словосочетании, где прилагательное стоит в группе распространенного определения или где мы имеем дело не с одним, а с группой прилагательных и т. д.

Перейдем непосредственно к описанию этих позиций;

I. Прилагательное в сильной форме употреблено в элементарной конструкции, например, *aus dem Anspachischem Hofe* (Cz., S. 100); *vom frölichem Getümmel* (Fl., S. 94); *der letzter Tag* (Reb., S. 181) и т. д.

II. Прилагательное в сильной форме употреблено в определенных синтаксических позициях:

1. Прилагательное стоит в группе распространенного определения (дистантное положение грамматического определителя и прилагательного): *wegen der jhnen saurwerdender Ausrede* (Sch., S. 125); *auff dem künstlich gemachtem Leibrock* (Luth., B., S. 178); *mit dem bey ihrem*

¹⁰ Л. Г. Кораблева, Развитие системы форм определительного прилагательного в немецком языке, Л., 1954, стр. 179

Reiche für das gröste Heylighthum und Kleinod gehaltenem Tiegel (L., S. 7) и т. д.

Сюда же, по-видимому, следует относить словосочетания, в которых прилагательное занимает промежуточное положение между сложным словом и двумя самостоятельными словами (возможно раздельное написание). Эти словосочетания, вероятно, воспринимались в XVI—XVII вв. как распространенные определения: dem höchst be-
tragtem weib (Sp., S. 72); vom best = gesiebtem blut (Sp., S. 106) и т. д.

2. Употребление полифлексивных форм в словосочетании с группой прилагательных. В этом типе словосочетаний следует, однако, различать такие, где прилагательные соединены союзами, и такие, где прилагательные следуют одно за другим, соединяясь без союзов.

а) Прилагательные соединены союзами. Распространенным является словосочетание с двумя прилагательными. Первое прилагательное в подавляющем большинстве случаев оформлено слабой флексией, второе — сильной: nach dem vollen oder gebrechlichem inhalte (Sch., S. 146); meinem ewigen und abgesagtem Todfeinde (R.) и т. д.

Если в подобном словосочетании первое из однородных прилагательных играет роль распространенного определения, то весь вид словосочетания меняется: оба прилагательных получают сильную флексию: dem nunmehr verbessertem und gemehrtem Drukke (R.); aus einem so instehendem und gewissem übel (Z., Aff., S. 67) и т. д.

Если второе из однородных прилагательных играет роль распространенного определения, то, естественно, на вид словосочетания это повлиять не может: обе синтаксические позиции одинаково влекут на оформление прилагательного: mit einer kläglichen und mit seufzen zerbrochener stimme (Z., Aff., S. 40) и т. д.

При наличии в группе больше двух однородных прилагательных гораздо труднее установить какие-либо закономерности. Здесь возможны различные варианты чередования сильной и слабой флексии:

Два прилагательных перед союзом, одно прилагательное после союза. В этом случае второе и третье прилагательное, как бы обрамляя союз, имеют сильные флексии: bei dem damahls glükseligen Ireichen und ruhigem Teutschlande (R.).

Одно прилагательное перед союзом, два после союза. В этом случае лишь третье прилагательное непосредственно перед существительным получает сильную флексию: aus dem ersten vnd alten Churfürstlichem Stamm (Cz., S. 78).

Однако возможен и другой вариант: сильная флексия оформляет прилагательное, стоящее непосредственно после союза, прилагательное перед существительным имеет слабую флексию: mit dem alt Königlichem vnd Hochfürstlichem Piastischen Stamm (Cz., S. 62) (наличие у первого прилагательного в группе сильной флексии объясняется, вероятно, распространением группы прилагательного).

Имеются примеры, где при группе с четырьмя прилагательными (два до союза, два после союза) сильную флексию несет последнее: dem hochlöblichen Fürstlichen vnd andern Adelichem Frawenzimmer (Cz.); bei dem vhralten Liegnitzischen vnd Briegischen Fürstlichem Hause (Cz., S. 80).

б) Употребление полифлексивных форм в словосочетании с группой прилагательных, не соединенных союзом.

Наиболее распространенным является сочетание с двумя однородными прилагательными. Обычно сильную флексию несет второе, ред

ко — первое прилагательное (в восьми примерах мы имеем чередование слабой и сильной флексии, в трех — сильной и слабой: aus dem vhralten Fürstlichem Stamm (Cz., S. 56); einem jeden verwehntem Maule (Sch., S. 11) и т. д., но: mit dem erschröcklichem grossen Bauche (R.) и т. д.

В группе с тремя и более прилагательными, не соединенными союзами, закономерности в чередовании сильной и слабой флексии трудно уловимы. Возможно сочетание, когда все прилагательные имеют сильную флексию: in diesem Gottslesterlichem Mördischem, Sündlichem, verderblichem stücke (Luth., W., S. 21).

Возможно сочетание, где несколько прилагательных оформлено сильной флексией, последнее прилагательное — слабой: zu solcher erwehnter mannigfaltiger hoch = und niedrig gehender Poetischen Rede (Sch., S. 117).

Иногда несколько прилагательных оформлено слабой флексией, последнее — сильной: von deinem nüchtern heiligen, keuschen, Ordlichem wesen (Luth., W., S., 56); zu dem nunmehr bekanten /angenommenen/ zierlichem Hochteutschen (Sch., S. 155) и т. д.

Возможны и некоторые другие варианты.

3. Употребление сильной формы прилагательного в словосочетании, состоящем из двух существительных, имеющих общий грамматизованный определитель: meinem vielgünstigen Herrn und werthem Freunde (Fl.); von dem grossen Ruff /und ungläublichem Ruhm (Cl., I., S. 30) и т. д.

Интересны, на наш взгляд, и следующие данные: подсчет показал, что в словосочетании с местоименными прилагательными сильно возрастает процент полифлексивных форм, употребленных вне определенных синтаксических условий (79% — вне определенных синтаксических условий и 21% — в определенных синтаксических условиях). В то же время в словосочетании с определенным артиклем процент содержания полифлексивных форм вне определенных синтаксических условий сильно падает (44%).

Больше половины всех имеющихся у нас примеров имеют полифлексивные формы в определенных синтаксических условиях (56%).

Получив все эти данные, мы уже более смело можем ответить на вопрос о том, имеют или не имеют полифлексивные формы в этот период (XVI — XVII вв.) дополнительную нагрузку. Исследование показало, однако, что решить данный вопрос можно лишь при осторожном и дифференцированном подходе как к употреблению полифлексивных форм у различных авторов, так и к употреблению их в тех или иных видах словосочетаний и даже в тех или иных позициях внутри этих словосочетаний.

Начнем с тех вопросов, которые нам кажутся бесспорными:

1. Употребление полифлексивных форм у некоторых авторов (например, у Риста) представляет собой равноправный вариант оформления атрибутивной группы и вряд ли может иметь дополнительную нагрузку (особенно ярко об этом свидетельствуют данные по им. п. м. р. в словосочетании с определенным артиклем, типа: der lieber Gott, где фактически половина всех форм имеет полифлексивное оформление.)

2. Употребление полифлексивных форм в определенных синтаксических условиях, о которых говорилось выше, связано, на наш взгляд, с тем, что эти формы действительно получали дополнительную нагрузку, но не стилистическую, а грамматическую, о чем свидетельствуют не только сами синтаксические позиции, в которых появляются полифлексивные формы (всегда при дистантном положении артикля и прилагательного).

тельного, когда могла теряться для читающего или для слушающего синтаксическая связь), но и прямые указания теоретиков языка этого периода. Так, Ф. Цезен указывает, что сильная форма в словосочетании с группой прилагательных должна была способствовать уяснению синтаксической функции всей группы в предложении: «Но, если, как иногда случается, много прилагательных (bei = ständige wörter), довольно длинных, ставятся друг за другом, то последнее из них может сохранять свое истинное окончание без изменения, чтобы читающий или слушатель мог лучше понять, в каком падеже стоит существительное, которому оно предшествует. Так я могу (без ущерба для благозвучия) сказать: dem wohlgezierten schönem bilde /dem Hoch = und wohlgebohrnen/ in aller welt gelobten /träfflichem Helden. Но в других падежах это нехорошо, так как совсем не звучит, как если бы я захотел сказать: das wohlgezierte schönes Bild/ der wohlgelehrte verständiger man. Конечно, в этом случае надо полагаться на острое ухо и выбрать наиболее хорошо звучащее»¹¹.

Таким образом, форма с чередованием в дательном падеже ед. числа м. и ср. р. возводится в норму в восточносреднемецком варианте литературного языка XVII в. (именно в этом падеже у представителей данной диалектной области полифлексивные формы и встречаются особенно часто).

3. Употребление полифлексивных конструкций в словосочетании с местоименными прилагательными объяснялось в основном тем, что в языковом сознании еще сохранилась возможность воспринимать местоименные прилагательные как обычные прилагательные, т. е. идентифицировать сочетания «местоименное прилагательное + прилагательное + существительное» с сочетанием «прилагательное + прилагательное + существительное». Особенно близки по своему значению к обычным прилагательным welcher, mancher и solcher. Притяжательным и указательным местоимениям свойство это в XVI—XVII вв. было присуще в меньшей степени. О подобном восприятии местоименных прилагательных в этот период свидетельствуют следующие факты:

а) Местоименное прилагательное, воспринимаясь как обычное определение, склоняется после грамматически сильных определителей по слабому склонению: mit diesem ihren Schwager (Z., L. b., S. 8); die manchen Käyser (Fl., 114) и т. д.

б) Местоименные прилагательные welch, solch, воспринимаясь как обычные прилагательные, получают в род. п. ед. числа м. и ср. рода слабое окончание -en: Welchen lasters (Op., P., S. 4); die Vhrsach aber solchen Wanckelmuths (Op., D., S. 4) и т. д. и т. д.

По-видимому, именно это и имело решающее значение при употреблении полифлексивных форм в словосочетании с местоименными прилагательными, и именно это является причиной как большого числа примеров на полифлексию в словосочетании вне определенных синтаксических условий, так и характерного распространения этих форм по всем диалектным областям. У представителей южной и средней (франкской) Германии, у которых количество примеров с полифлексивными формами в словосочетании с определенным артиклем чрезвычайно низко, в словосочетании с местоименными прилагательными подобные формы встречаются гораздо чаще в количественном отношении, несмотря на то, что сами эти словосочетания встречаются реже, например, у Абраама

¹¹ Johann Bellin, Etlicher der hoch löblichen Deutsch-gesinneten Genossenschaft Mitglieder /wie auch anderer hoch-gelehrten Männer Sende Schreiben/. Theser Teil Hamburg, 1647. 12 Sende Schreiben

а Санта Клара в словосочетании с определенным артиклем встретился только один пример на полифлексивную конструкцию, а в словосочетании с местоименными прилагательными — 10 примеров; у Векерлина в словосочетании с определенным артиклем — 1 пример, в словосочетании с местоименными прилагательными — 6 примеров; у Мошероша в словосочетании с определенным артиклем не встретилось ни одного примера с полифлексией, в словосочетании с местоименными прилагательными — 4 примера и т. д.

4. Наиболее трудно разрешимым является вопрос об употреблении полифлексивных конструкций в элементарном словосочетании «артикл + прилагательное (в сильной форме) + существительное». Никаких косвенных данных, могущих пролить свет на этот вопрос, нам получить не удалось. Таким образом, можно лишь высказать предположение о значимости форм. Возможно, что для представителей тех диалектных областей, для которых полифлексивные формы в этот период особенно мало типичны, а это подавляющее большинство диалектных областей (исключение составляют, как мы уже говорили выше, представители некоторых говоров восточносредне немецкой и нижне немецкой диалектных областей), остаточные полифлексивные формы непосредственно связаны с устойчивостью лексического словосочетания, в которое они входят, частая повторяемость могла привести к закреплению арханческой формы: например, *von dem Ottomanischem Säbl* (Cl., I., S. 26). У представителей же тех говоров восточносредне немецкой и нижне немецкой диалектных областей, в которых эти формы довольно широко распространены, мы, возможно, имеем дело как с устойчивостью лексического словосочетания, так и с остаточными формами когда-то вполне равноправного, а может быть, и преимущественного оформления атрибутивной группы. Не исключена, на наш взгляд, в некоторых случаях и возможность дополнительной стилистической нагрузки.

Однако повторяем, все это относится лишь к области предположений.

Список сокращений

- Luth., B. — M. Luther, Biblia, Halle, 1850.
 Luth., W. — M. Luther, Wider Hans Worst, Abdruck 1541, 1880.
 R. — J. Rist, Das Friedewünschende Deutschland, Hamburg, 1649.
 Sch. — J. Schottel, Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubt-Sprache, Braunschweig, 1663.
 Fl. — P. Fleming, Geist- und Weltliche Poëmata, Jena, 1660.
 Ag. — J. Agricola, Sibenhundert vnd fünfftzig deutscher Sprüchwörtter, S. 1558.
 Z., Aff. — Ph. Zesen, Afrikanische Liebes-Geschichte, Jena, 1647.
 Z., L. b. — Ph. Zesen, Liebes-Beschreibung Lysanders und Kalisten, Amsterdam, 1650.
 Cz. — D. Czepko, Kurtze Historische Beschreibung vnd Ausführung der Stamlinien, Leipzig, 1626.
 L. — D. Lohenstein, Großmüthiger Feldherr Arminius, Leipzig, 1689.
 Sp. — Fr. Spee, Trutz Nachtigal, Köln, 1649.
 W. — G. Weckherlin, Kurtze Beschreibung, Tübingen, 1618.
 Op., P. — M. Opitz, Buch von der deutschen Poeterey, Halle/Saale, 1955.
 Op., D. — M. Opitz, Deutsche Poemata, Danzig, 1640.
 Reb. — J. Rehun, Der Simplicianische Welt-Kucker, Nürnberg, 1678.
 Cl., I — Abraham (a Sancta Clara), Reimb dich (первый рассказ из сборника). Wien, 1687.
 Cl., II — Abraham (a Sancta Clara), второй рассказ «Merks Wienn» из того же сборника.

О ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

А. В. Чичерин

Свойственно ли тем или другим частям речи, грамматическим формам какое-либо стилистическое назначение? Это требует конкретного рассмотрения, и вряд ли уместны были бы обобщения, выходящие за пределы определенных авторских стилей.

Ведь не грамматическая категория сама по себе, а ее стилистическое применение оказывается в сфере внимания. Следовательно, то же этимологическое или синтаксическое явление может иметь и совершенно иное стилистическое значение. В стихотворении Пушкина «Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса...», в первых строках романа Достоевского «Бесы»: «Приступая к описанию недавних и столь страшных событий... я принужден...», в обоих этих весьма разных текстах деепричастия имеют все же сходное стилистическое назначение. Они придают оттенок непосредственности и незамысловатости легкому лирическому или повествовательному, нарочито наивному строю речи. При этом подчиненность и прилипчивость деепричастия в его отношении к последующему глаголу устанавливают тесную связь того, что сначала выражено деепричастием, и того, что потом выражено глаголом.

Но вот в конце XI главы «Отрочества» обращение учителя к Николеньке комментируется сплошным рядом деепричастий: «...сказал он, *покачиваясь* на стуле и задумчиво *глядя* себе под ноги... *поднимая* брови и *указывая* пальцем... *делая* всей кистью движение... *ударяя* тетрадями... *ударяя* по правой стороне стола и *склоняя* голову направо...».

В этом случае деепричастие становится важнейшей составной частью поэтического стиля. Оно выражает одновременность двух или трех звеньев события, более того — их проникновение друг в друга и зависимость «деепричастного» звена от звена «глагольного». Тут же, вопреки этому, сказывается, что якобы подчиненное на самом деле действенное, сильнее подчиняющего: не то, что говорит учитель, а эти его ничего не говорящие приставные «причастные» действия раздражают Николеньку и влияют на него; и взаимное противление в ряде приметных скрытых движениях, обозначенных деепричастиями, а не в открыто противопоставимых словах. Обнаруживается, что учителя дела нет ни до крепких походов, о которых он спрашивает, ни даже до того, выучил ли Николенька свой урок, что его внимало не трогает испуганная растерянность ученика, что каждый из них, учитель и ученик, живет своею со-

вершленно обособленной жизнью. Сказывается сила обратного действия, столь характерного для стиля Толстого: то, что кажется неважным — важно, а что кажется важным — неважно.

Стилистическое исследование часто требует эксперимента. Попробуем, сохраняя грамматические формы, изменить лексический состав.

Получится что-нибудь в таком роде: «сказал он, *рисую* что-то на листочке бумаги», или: «...усердно *отгоняя* муху...». Это несколько не изменило бы сущность дела. А перестройка грамматической формы нарушила бы стилистический строй, а стало быть, произошли бы и смысловые изменения: «сказал он»; «он *покачивался* на стуле и задумчиво *лядел* себе под ноги...». Глагольные формы прошедшего времени, поставленные на место деепричастий, придали бы большую рельефность данному образному звену, обособили бы его, вывели бы из его подчиненного положения, нарушили бы связи и взаимные зависимости, установленные в этом тексте.

Стало быть, изменение грамматических форм, при сохранении лексики и общего содержания текста, ведет к нарушению тонких, иногда еле приметных, но существенных смысловых и стилистических связей.

При этом количество раз, которое автор употребил ту или иную грамматическую форму, имеет весьма условное и относительное значение. Как мы только что видели, дело совсем не в том, часто ли Лев Толстой употребляет деепричастие, а только в том, какое стилистическое значение оно в его тексте приобретает. Ведь чувство меры истинного художника заставит его не быть однообразным, не допустит повторения чего бы то ни было, хотя бы и повторения деепричастий, причастий или возглавляемых ими синтаксических оборотов.

В художественном тексте значение имеет не количество глаголов, а их эстетический облик.

Скажем, в насыщенном ароматом эпитетов стиле Тургенева или Паустовского глагол очень часто играет необычную для него роль, он не обозначает действие, как таковое, в нем — колориты, тона и полутона, все же, конечно, оживленные скрытым действием: «заря не пылает пожаром: она разливается...», «солнце... мирно всплывает... просияет и погрузится...», «...хлынули играющие лучи...», облака «сдвигаются, теснятся... они все насквозь проникнуты светом и теплотой», «затеплится: на нем вечерняя звезда», «ветер разгоняет, раздвигает...», «вихри-круговороты... гуляют по дорогам...», «начинали густеть и разливаться холодные тени...»¹. «Гривы то окунались в воду, то вскипали пеной», «запугался ветер», «плясали волны», «море волновалось перед грозой и глухо взрывалось...», «промывал чужую книгу», «обрушило на него ворохи звезд», «дышать... воздухом времени...»².

Рассмотрим подробнее и в контексте один из этих случаев: «Он не читал, а медленно выбирал со страниц отдельные мысли, словно промывал чужую книгу в нескольких водах, и надолго запоминал то, что оставалось на решетке: неожиданный образ, нервную дрожь, мысль, свежую, как дождь...»³. Первые три слова «он не читал» ослабляют действительность, выставляя что-то другое на первый план. В сущности, «он» именно читал, но читал по-своему, и то, как он читал, сосредоточено в метафоре «промывал» и разъяснено в дальнейшем. К обозначению действия

¹ И. С. Тургенев, *Бежин луг*, Собр. соч., т. I, Гослитиздат, М., 1953, стр. 159—160.

² К. Паустовский, *Морская прививка*, Собр. соч., т. 4, Гослитиздат, М., 1959, стр. 495, 499, 500, 502, 503.

³ Там же, стр. 500.

в этом слове присовокупляется и даже выдвигается на первое место особый, психологически осложненный характер этого действия. Глагол приобретает свое особое стилистическое назначение.

Когда подсчитывают количество глаголов и полагают, что глаголы всегда усугубляют действенность повествования, то сильно ошибаются. Глаголы имеют разное стилистическое назначение. Более того, самые порывистые движения обозначают существительные; а не глаголы. Сопоставим два таких случая: «Прыжок к окну. Он уже на земле. Через забор. В лес.» и — «Спал. Снилось разное. Просыпался, потягивался». В первом случае нет ни одного глагола, существительные создают повышенную действенность. Во втором случае — сплошные глаголы действенности не создают.

Б. Н. Головин подсчитывает количество причастий и деепричастий в рассказе М. Горького «Мальва» и в соответствующем по объему отрывке из «Анны Карениной» и показывает, что у Горького эти части речи встречаются чаще. На этом основании он признает необоснованным утверждение об особой роли этих частей речи в прозе Толстого⁴. Но эти подсчеты совершенно не убедительны во всех отношениях. Во-первых, речь идет совсем не о количестве, а только об особом стилистическом назначении редко или часто употребляемых форм. Во-вторых, Б. Н. Головин упускает из виду, что многие части «Анны Карениной» в стилистическом отношении написаны совсем в другом ключе, чем более ранние и более поздние произведения Толстого. Сжатая, почти пушкинская фраза, в этом романе играет очень большую роль. В-третьих, почему бы последующим писателям, в том числе и Горькому, не воспринять те или другие особенности прозы Толстого и не усугубить некоторые ее свойства?

Предположим, что кто-либо утверждает, что в романах и повестях Тургенева имеет значение употребление такого эпитета (или содружества вместе взятых двух, трех эпитетов), в котором, как в зерне, заключено все произведение в целом. А вы возражаете на это, что у Марлинского было в полтора раза больше эпитетов, чем у Тургенева. Эти подсчеты к данному утверждению никакого отношения не имеют.

Синтаксические формы имеют стилистическое назначение в том смысле, что для того или другого автора лаконическое или осложненное строение речи, те или другие синтаксические явления органически связаны со строем художественного мышления, познания мира и прояснения мысли.

Сжатые, простые синтаксические формы могут обозначать очень разные, даже противоположные явления стиля, но они всегда существенны для него. То — действительная ясность. То — обособление и выуклость каждого звена. Но вот конкретный случай: «Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабывшие звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти»⁵.

Знаки препинания в этом случае были во власти автора. После третьего слова можно было поставить точку и потом начать: «Она долго обвязывала...» Нет, все, что касается действия, собрано вместе. В этом сочиненном предложении каждое его звено равноправно, все они

⁴ Б. Н. Головин, Заметки о стилевом своеобразии синтаксиса Л. Н. Толстого, «Сборник «Л. Н. Толстой», III ч., Горький, 1960.

⁵ К. Чауатовский, Телеграмма, Собр. соч. т. 5, стр. 157

объединены, и это несколько затушевывает каждое из них. Благодаря этому дальнейшее, то, как совершенно было действие, и то, что почувствовала в эти минуты Катерина Петровна, приобретает повышенную отчетливость. «Шла она медленно, ошупью». Эти четыре слова не должны слиться с другими словами, каждое надделено внутренним простором. Особенно: «Позабывшие звезды пронзительно смотрели на землю». В такой сжатой фразе каждое слово особенно сильно бьет в свою цель. Умиравшая старушка так давно не видела звезд, для нее они «позабывшие», и она как будто их видит впервые, и в то же время ей так много они напоминают. Могут ли палые листья мешать пешеходу? Да. Когда это старуха, которая доживает свои последние дни. И то, что эта деталь выделена синтаксически, определяет всю ее силу.

Без лаконичной фразы не обходится ни один мастер художественной прозы. Но лаконичная фраза может господствовать, может играть подчиненную роль. Она может быть и связующим звеном, и энергичным заключительным аккордом.

В сжатой фразе Стендаля смелость анализа, оголенного от каких бы то ни было красот, и тем более острого. У Мериме, наоборот, в строении предложения, краткого и легкого, очень существенно его ритмическое изящество и внутренняя живописность.

Но в разных литературах усложненное изображение общества, раскрытие всякого рода взаимоотношений, расчлененность психологического анализа — все это ведет к более разветвленному синтаксическому строю. Это очевидно в истории прозы при переходе от Стендаля к Бальзаку, еще более — от Пушкина к Лермонтову, от Пушкина и Лермонтова к Льву Толстому.

Значит ли это, что вообще, чем сложнее мысль, тем сложнее ее синтаксическое выражение? Нет, такого общего соотношения не существует. Очень сложные вещи можно высказать простыми предложениями и наоборот. В общем взаимоотношении языка и мысли нет логической необходимости такого рода, но есть психологическая тенденция, на которой в искусстве художественной прозы создаются определенные явления стиля.

Сложное синтаксическое строение образной речи может служить: а) обозначению временного единства многообразного события, б) раскрытию теснящих друг друга, друг в друга вторгающихся противоречий, в) композиционному единству большого романа, когда в придаточном предложении, причастном или деепричастном обороте появляется связующее звено с более ранними эпизодами этого романа г) обнаружению роли автора в оценке изображаемых событий⁶.

Недавно М. В. Карпенко потрудились немало, чтобы подсчитать, сколько предложений с разным количеством слов содержится в первой части «Войны и мира»⁷. Эти подсчеты в общем подтверждают то положение (впрочем, бесспорное), что у Толстого весьма много сложных синтаксических образований. Однако таблицы такого рода непременно требуют сопоставлений. Но и сопоставления в своей ценности были бы весьма ограничены. Что же из того, что у Карамзина синтаксис мог бы оказаться в количественном отношении близким синтаксису Толстого? Ведь стилистическое назначение сложных синтаксических форм у этих

⁶ Подробнее о роли сложного синтаксического строя в художественной прозе в книге А. В. Черина «Возникновение романа-эпопеи», Сов. пис., 1958, стр. 156—172, 283—290.

⁷ М. В. Карпенко, Размеры предложения в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», Сборник Черновицкого университета «Лев Толстой», Черновцы, 1961

двух писателей совсем разное, да и разные, конечно, эти формы, не по количеству слов в предложении, а по своему грамматическому строю.

Только литературоведческое исследование, а не подсчеты, выясняет конкретное стилистическое назначение грамматических форм. Подсчеты, направляемые анализом, могут иметь вспомогательное значение.

Если изучается стиль писателя, то у руля — литературовед, и он должен уметь направлять все по-своему. Ведь всякая птичка, по русской поговорке, своим носиком клюет.

Львов

О РАЗЫСКАНИЯХ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Н. Ф. Бельчиков

В целостном научном исследовании сочетаются воедино факты и основанные на них обобщения. Разыскания фактов предваряют обобщение. Ведь подлинно научное исследование опирается на исчерпывающее собрание источников и фактов и их критическую проверку. Это обеспечивает обоснованность обобщений, точность и непререкаемую правду научных выводов.

Настоящий ученый привлекает всегда большой материал, слой за слоем исследует его сам и проверяет выводы других, если материал уже кем-то ранее изучался и освещался. Он отбирает источники, суммирует подробности, детали, тщательно и осторожно взвешивая их значение. Его задача заключается в том, чтобы умело сочетать точность и тонкость анализа с правильными выводами. Получение выводов бывает делом долгого и сложного труда, результатом обстоятельного выяснения исторической точности, достоверности источников и содержащихся в них показаний.

Советская литературная наука — враг априорных теорий, предвзятых, поспешных выводов и необоснованных взглядов. Она не может слепо доверять установленным ранее положениям и следовать им без проверки. Ведь нередко «общепринятые» истины бывают ошибочными, «основанными на песке». Она неустанно ведет проверку введенных в оборот источников и поиски новых. Часто открытия, которые вознаграждают ученых за упорные разыскания, обогащают фонды научных источников и научных понятий.

Исследователю необходимо руководствоваться в своей работе принципами подлинного историзма, не забывать того, о чем в свое время говорил академик Н. К. Никольский, подытоживая опыт долголетней работы в области древнерусской литературы: «С правильным движением научной мысли несовместимы поспешные обобщения, основанные на недостаточных и малоизученных источниках»¹. Советские литературоведы, сознавая, что настоящая наука в основу своих изучений и обобщений кладет точные факты, проверенные тексты писателей, требуют пристального изучения источников. Разрешению этой огромной важности задачи нашей науки помогает своими разысканиями источниковедение.

¹ Н. К. Никольский, Ближайшие задачи изучения русской книжности, 1902, стр. 1

Проблема разысканий сложна, но мало освещена в науке.

Н. Ю. Ульянинский в докладе на Всероссийском съезде библиографов в 1927 г. определил разыскание как «первое звено в цепи составных частей библиографической работы». Являясь делом сложным и трудно выполнимым, оно разнообразно по своим задачам, которые определяются разнообразием «целей научного исследования»².

Тот же автор различает два вида разысканий: сплошное и эпизодическое³. Первый — это систематическое соби́рание печатных сведений, которое выливается в специальную работу, предвещающую научное исследование. Чаще производится эпизодическое разыскание, когда ученый наводит отдельные справки, проверяет частичные сведения (относительно точности цитат, даты, места издания, страниц и т. п.).

Библиографическому разысканию уделил внимание П. Н. Берков в своей работе «Введение в технику литературоведческого исследования». Естественно было ожидать, что автор остановится на источниковедческом разыскании, но он совсем умолчал об этом. Мнениям исследователей, положившим в основу библиографического разыскания «интуитивный» (Н. Ю. Ульянинский) или «эмпирический» (А. Г. Фомин) принцип, П. Н. Берков противопоставляет принцип «диалектико-логический», основанный на «диалектико-материалистической логике»⁴.

Разыскание имеет широкое применение в источниковедении. Здесь мы наблюдаем также два вида разысканий: сплошное и эпизодическое.

Есть капитальные труды, целиком построенные на разыскании. Такова, например, книга П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», в которой ученый с увлечением рассказывает о своих поисках материалов, об итогах своих сложнейших разысканий, приводит перечень найденных и не найденных документов⁵. Вся сумма интереснейших материалов, собранных П. Е. Щеголевым, послужила незыблемым основанием для всестороннего освещения гибели поэта и последних лет его жизни.

Благодаря обилию ценнейших источников, впервые разысканных и увлекательно препарированных, труд П. Е. Щеголева до сих пор остается непревзойденным, хотя и не раскрывает во всей глубине трагедию Пушкина и картину политической жизни и борьбы тех лет.

Чаще практикуются эпизодические разыскания. Ученый, работая над каким-либо вопросом и проверяя существующую литературу, наталкивается на новые произведения писателя, не вошедшие в издания его сочинений за последние годы. Дополнения после атрибутирования в виде новых, бесспорно принадлежащих автору произведений вводились в состав изданий многих и многих писателей (Пушкина, Гоголя, Герцена, Достоевского, Горького и др.).

Библиографические разыскания сопутствуют или предвещают разыскания источниковедческие, текстологические, архивоведческие, археографические. Как только ученый найдет источник (особенно рукописный), он должен установить, где и когда напечатан этот источник, т. е. должен обратиться к помощи библиографии.

² Тезисы доклада Н. Ю. Ульянинского, М., 1927, стр. 38.

³ Н. Ю. Ульянинский, Библиографическое разыскание (эристик), «Библиография», 1929, № 1, стр. 40.

⁴ П. Н. Берков, Введение в технику литературоведческого исследования. Уч. зап., 1956, стр. 133.

⁵ П. Е. Щеголев, Указ. соч., изд. 2, 1917, стр. 277, 283 и 315—346.

Опубликованный источник также станет известен ученому через библиографию. Библиография ответит на вопросы: напечатаны ли источники и где; если не напечатаны, то в каком хранилище они находятся (в каком архиве, фонде и т. п.). Для нахождения таких сведений исследователь должен быть осведомлен о библиографических изданиях (А. Мезьер, И. Владиславлева и др.), о печатных каталогах, о печатных описаниях рукописей и т. п.⁶

Итак, библиографическое разыскание — это начало работы исследователя. Но и в ходе работы он непременно обращается к справочникам, каталогам и т. п., т. е. производит эпизодические разыскания.

Разыскания идут плодотворно, если ученый знает, куда следует направлять свои поиски.

Мастерство собирания вознаграждается «счастливыми» находками свежих, обогащающих работу материалов (источников).

Однако этот процесс отнюдь не легкое дело. Очень хорошо сказал о трудностях, ожидающих исследователя, писатель Р. Бершадский, столкнувшийся в своей работе с разысканиями ученых археологов: «...кратовья работа по накапливанию материалов, необходимость уделять внимание каждой мелочи, пока не проанализируешь ее до конца, хотя в девяти случаях из десяти установишь при этом только одно — она, действительно, не играет никакой роли! Но пренебречь ею тоже нельзя: как раз за какою-то мелочью чаще всего скрывается начало дороги к первостепенному открытию.

А обилие всевозможных решений любого вопроса, когда в отчаянии начинает казаться, что каждое решение вздорно или, наоборот, все правильно!

И все-таки нет! Тому, кто твердо выбрал свой путь, ничто не страшно. Ведь какое высокое удовлетворение в конце концов ждет его!»⁷.

Исследователей нередко подстерегают неожиданные «открытия» промахов в работах даже таких ученых, авторитет которых, по общему мнению, казался бы, вполне гарантирует от ошибок.

Эпизодическое разыскание в виде справки, уточняющей факты или существующее объяснение фактов, бесспорно, помогает ученому в работе и в том смысле, что гипотезы, которые не оправдываются фактами, можно подвергнуть критике и отвести, поскольку они не соответствуют действительности. Такое разыскание, уточняя фактическую сторону, способствует более верному пониманию прошлого.

Укажем в качестве примера на удачную расшифровку К. Чуковским инициала Т. в воспоминаниях А. Я. Панаевой. Он считает, что это Григорий Михайлович — приятель Бакунина, который встречался с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Именно Григорий Михайлович Толстой, а не Яков Толстой, как думали до «открытия» К. И. Чуковского многие, был приверженцем революционных идей и дал обещание К. Марксу продать свое имение и деньги передать на нужды европейской революции.

Это уточнение лица, скрытого в показаниях П. В. Анненкова, вносит существенную поправку, поскольку снимает с Якова Толстого, известного агента царского III-го отделения, ореол несовместимой с его

⁶ Работа П. Н. Беркова «Введение в технику литературоведческого исследования» достаточно подробно показывает пути исследования в этом направлении (см. стр. 8 50; 86-127).

⁷ Р. Бершадский, Горизонты истории, «Звезда», 1955, № 9, стр. 148

убеждениями роли революционера, проявившего якобы симпатию к революции, и выдвигает на его место достойного кандидата.

Разысканию следует придавать особенно важное значение, когда устанавливаются факты «влияния» одного писателя на другого. В таких изучениях разыскания могут предостеречь от заблуждений, от явных ошибок, уничтожающих всю работу.

Известно много примеров вопиющих промахов, проистекавших из-за неосведомленности или беззаботности. Напомним давно и хорошо известный случай опрометчивого предположения проф. В. В. Синовского о влиянии романа Шатобриана «Натчезы» на «Кавказского пленника» Пушкина. А. Л. Бем опроверг гипотезу о возможности этого влияния тем, что роман Шатобриана, хотя и был написан между 1794—1798 гг., но появился впервые в печати только в 1825 г.⁸, а «Кавказский пленник» был написан раньше (напечатан в 1822 г.).

Еще пример. В. Я. Брюсов уверял, что образцом при написании «Домика в Коломне» Пушкину наряду с «Беппо» Байрона послужили также «Намуна» Альфреда Мюссе⁹. Но гипотеза эта оказывается фиктивной потому, что «Домик в Коломне» создан на два года раньше «Намуны». Пушкин закончил, судя по его записи, свое произведение 10 октября 1830 г., а Мюссе «Намуну» создал в декабре 1832 г. и напечатал в 1833 году¹⁰. Однако акад. М. Н. Розанов, делая вывод, что «Намуна» Мюссе не могла быть известна Пушкину, когда он писал «Домик в Коломне», склонен допускать, что так как «Домик в Коломне» был напечатан в 1833 г., то нельзя отрицать возможности внесения Пушкиным небольших поправок в окончательный текст его поэмы под впечатлением от только что опубликованной «Намуны». Свое предположение М. Н. Розанов не подкрепил фактами.

В. Жданов в статье «Надо уважать факты» (ВЛ, 1959, № 9, стр. 184—196) указывает на ряд ошибок у современных авторов, которые свидетельствуют о пренебрежении к фактам, о нежелании проверить и уточнить ссылки или утверждения, вызывающие сомнения. Так, например, А. Дубинская, устанавливая преэстетичность прозы Некрасова и прозы Лермонтова, находит, что рассказ Некрасова «Карета» близок «Княгине Лиговской». В. Жданов пишет о том, что действительно в этих произведениях есть сходные черты — и в характере персонажей и в ситуации. Но при этом автор упустил из виду одну деталь: Некрасов не читал и не мог читать «Княгини Лиговской». Неоконченный роман Лермонтова не был опубликован при жизни Некрасова, он появился в печати лишь в 1882 году.

Научное решение вопроса о влиянии, разумеется, не может быть результатом механического сопоставления сходных мест в произведениях писателей. Оно требует не только строгой проверки фактов, но и выяснения и объяснения возможности влияния как результата объективно-исторической закономерности, обусловленной социально-классовыми причинами.

Из этого общего принципа о социальной обусловленности влияния в области литературы вытекает ясная методика работы.

⁸ Подробнее см. А. Л. Бем, К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина, Изд. «Пушкин и его современники», СПб, 1911, вып. XV, стр. 160; А. Л. Бем, К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина, «Пушкинист», Историко-литературный сборник под ред. проф. С. А. Венгерова, II, 1914, стр. 9.

⁹ В. Я. Брюсов в статье «Домик в Коломне», Соч. Пушкина, Изд. Брокгауз и Эфрон, СПб, 1909, т. III, стр. 88.

¹⁰ М. Н. Розанов, Об источниках стих. Пушкина «Из Пиндемонте», Сб. 2 «Пушкин», Изд. Оза любителей российской словесности, 1930, стр. 119.

От собирания материала, от разыскания следует подняться к научному объяснению его, к его осмыслению, к исследованию.

Факты необходимы, но научный подход требует объяснения. Разыскание есть констатирование фактов (их нахождение, обследование) и как таковое составляет предварительную необходимую ступень в деле научного изучения.

Подобные критические «разведки» в целях уточнения фактов, цитат, извлекаемых исследователями из источников с прямыми ссылками на источник, а иногда и без ссылок, всегда бывают полезны, поскольку обнаруживают промахи, неточности и даже искажения.

Так, Г. Менделевич проверил в книге М. Юнович (А. М. Горький — пропагандист науки, М., 1955) утверждение автора, основанное на воспоминаниях академика К. М. Быкова о встречах с Горьким, и установил расхождение с источником. «Автор зачем-то «исправил» одно место из воспоминаний академика К. М. Быкова», — пишет Г. Менделевич в своей рецензии на книгу М. Юнович. — Вместо «...он (Горький) показывал нам много материалов об изобретателях, снимки, у него их были целые горы» она пишет в книге: «...он показывал им материалы новаторских предложений — у него их были целые горы». Так волею автора фотографии превратились в «новаторские предложения»¹¹.

* *
*

Источниковедческое разыскание может и должно содействовать нахождению и установлению новых фактов, новых решений, а также, что особенно важно, нахождению новых источников и на основании их установлению новых точек зрения на литературные явления, новых выводов по вопросам теории и истории литературы, эстетике, касающихся как направлений в литературном движении, так и отдельных произведений писателя.

Так, в результате сложных и длительных разысканий текстологического, исторического, археографического и теоретического характера М. В. Нечкина пришла к открытию новых фактов и к новым выводам.

Вот один из примеров ее работы — нахождение одного слова, пропущенного в печатном тексте, которое оказалось налицо в архивном подлиннике и наличие которого позволило исследователю сделать новые выводы большого научного и общественного характера.

«Архивные материалы раскрывают перед нами новый — потрясающий факт из жизни Грибоедова, — пишет М. В. Нечкина. — Оказывается при свидании с Николаем I он осмелился просить за сосланных декабристов, — тогда, когда никто не решался говорить с царем на подобную тему. Этот разговор произошел, по-видимому, в те дни, когда в 1828 году Грибоедов на вершине своей дипломатической славы приехал в Петербург с трактатом Туркманчайского мира и был осыпан знаками монаршего благоволения. Он просил за декабристов — он рисковал всем. Декабрист Петр Бестужев, сохранивший свидетельство об этом, писал о Грибоедове: «Благородство и возвышенность характера обнаружилась вполне, когда он дерзнул говорить государю в пользу людей, при одном имени которых бледнел оскорбленный властелин!». Только архивный подлинник восстанавливает текст П. Бестужева — в печатном тексте «Воспоминаний Бестужева» (изд. 1931 г.) слово «государю» по ошибке пропущено»¹².

¹¹ «Новый мир», 1956, № 7, стр. 270.

¹² М. В. Нечкина, А. С. Грибоедов, Известия, 1945, № 12 (8622) за 14 января

В настоящее время в последнем издании эта «ошибка» исправлена¹³.

Б. М. Эйхенбаум, прибегнув к помощи белого автографа «Литературных воспоминаний» И. С. Тургенева, установил факт вмешательства в рукопись Тургенева Н. Х. Кетчера, которого писатель просил: «Коли попадется тебе что-нибудь неверное, властью тебе данной — устрани». Н. Х. Кетчер и внес поправку, в которой вопреки воле автора уменьшил значение «Войны и мира» Л. Толстого и вместе с тем «Мертвых душ» Гоголя. Тургенев утверждал, что роман Толстого стоит «едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840 года». Н. Х. Кетчер зачеркнул «европейской» и заменил его «нашей». Б. М. Эйхенбаум справедливо пишет: «Тургенев не заметил коварной поправки, снизившей оценку «Войны и мира», а заодно отодвинувшей и «Мертвые души» на второй план. Сказав, что «Война и мир» стоит едва ли не во главе всего, что явилось в европейской литературе с 1840 года, Тургенев имел в виду, конечно, развитие европейского реализма, начавшееся после тридцатых годов (Стендаль, Бальзак, Мериме, Диккенс, Флобер). «Поправка» Кетчера придала этой дате иной, узкий смысл, вернее, сделала ее, да и всю фразу бессмысленной»¹⁴.

Вот случай, весьма распространенный в практике исследователей — решение спорного вопроса на основании документального источника (автографа). В недавно опубликованной статье «Кто автор «Записок И. И. Горбачевского?»¹⁵ М. В. Нечкина свидетельством документального источника — автографа окончательно решила спорный вопрос об авторстве Петра Борисова в отношении известных в литературе «Записок неизвестного», которые связывались с именем И. И. Горбачевского. Исследователь выдвинула предположение, что автором этих записок был член Общества соединенных славян Петр Борисов, исходя из разительных совпадений не только смыслового, но и непосредственно-лексического характера между текстом «Записок неизвестного» и текстом показаний П. Борисова на следствии по делу декабристов. После этого она обратилась к рукописному источнику — наборной рукописи копии «Записок неизвестного», где обнаружила следы «грубейшей фальсификации» текста, явное вмешательство и призывол первого публикатора текста «Записок» — П. И. Бартенева. Рукопись помогла М. В. Нечкиной установить идейно-политическую окрашенность «Записок» в первоначальном, неискаженном виде и в итоге подтвердить правильность гипотезы о том, что именно Петр Борисов — автор «Записок И. И. Горбачевского».

Примеры эти красноречиво убеждают в том, как важно ученому проявлять инициативу, беспокойство, неудовлетворенность имеющимися наблюдениями, искать новые решения и доводить свои гипотезы, предположения до конца, прибегая к показаниям всех видов источников и главнейших из них — рукописей, а также вещественных памятников и устных источников.

Мобилизуя разносторонний, обнаруженный ранее и новый материал, ученый в поисках научного вывода объединяет свои источники: ведческие разыскания с текстологическими и с библиографическими.

Ю. Г. Оксман указывает на увлекательный пример поисков первоисточника для объяснения ошибочного тезиса Герцена о прогрессив-

¹³ См. Воспоминания Бестужева. Редакция, статья и комментарии М. В. Давыдова, Изд. серии «Литературные памятники», АН СССР, 1951, стр. 362.

¹⁴ Б. Эйхенбаум, История одного слова, «Огонек», 1956, № 3, стр. 16.

¹⁵ Исторические записки, 1955, вып. 54, стр. 291—296.

ности русского правительства. Отметив произведения Герцена, в которых он сформулировал этот тезис (в Исторических записках 1836 г. в трактате «О развитии революционных идей в России» 1851 г.), исследователь находит истоки этой концепции у Чаадаева в проекте его докладной записки, написанной в связи с закрытием журнала И. В. Киреевского «Европеец» в 1832 г. и подлежащей представлению шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу¹⁶. Чаадаев повторил свою мысль в «Апологии сумасшедшего». Идеиная и фразеологическая близость формулировок этой мысли у Чаадаева и Герцена бесспорна. К Герцену присоединился и Белинский (см. письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.). Установление первоисточника (Чаадаева) дало возможность сделать важный вывод: Герцен и Белинский не только критиковали концепцию русского исторического процесса Чаадаева, изложенную им в «Философических письмах», но и разделяли некоторые положения этой концепции в известный период своей деятельности. Бесспорно установленный факт сближения Герцена и Белинского с Чаадаевым в известное время и в известных мыслях вносит новые конкретные черты в историю идейных взаимоотношений великих мыслителей, обогащает наше представление о сложности общественно-политической мысли и идейных столкновений людей 40—50-х годов. Тем самым исследователь разрушает схематизм и плоскостное изображение этого периода страстных идейных споров и исканий.

М. М. Буркина в статье «Поэтические декларации Н. А. Некрасова (50-е годы)» убедительно опровергла неправильное противопоставление Некрасова Пушкину, мнение некоторых исследователей¹⁷, будто в стихотворении «Муза» (1851) Некрасов полемизирует с положениями Пушкина, выдвинутыми им в стихотворении «Наперница волшебной старины» (1822). В. Е. Евгеньев-Максимов утверждает, что стихотворение Некрасова «Муза» связано с названным выше стихотворением Пушкина, что стихотворение «Муза» основано на противопоставлении музы поэта-реалиста музы поэта-романтика¹⁸.

Свои возражения М. М. Буркина основывает, прежде всего, на таких объективных доводах, как время появления стихотворений в печати. Стихотворение Пушкина опубликовано полностью только в 1855 г., т. е. после написания Некрасовым «Музы» (1851). Предположение К. И. Чуковского о том, что Некрасов мог знать стихотворение Пушкина по рукописи до напечатания, автор отводит, основываясь на показаниях источников (на словах Некрасова в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года», на свидетельстве Чернышевского в рецензии на издание соч. Пушкина, которое редактировал П. В. Анненков, на письме Некрасова к Тургеневу от 20 янв. 1853 г.), и в итоге своих разысканий приходит к выводу, что Некрасов мог узнать стихотворение Пушкина не ранее 1853 г., т. е. после написания «Музы». Другой ряд доводов в пользу мнения о Некрасове как продолжателе традиций Пушкина, о его преклонении перед гением Пушкина автор основывает на анализе идейного содержания стихотворений Пушкина и Некрасова, на характеристике образов музы-красавицы и музы-старушки. М. М. Буркина правильно утверждает, что первые двенадцать

¹⁶ Ю. Г. Оксман, Новое изд. Герцена, Известия ОЛЯ, 1956, вып. 2, стр. 169—170.

¹⁷ См. К. Чуковский, Примечания к 1 т. Полн. собр. соч. Н. А. Некрасова, М., 1948, стр. 534; В. Гиппиус, «Некрасов в истории русской поэзии XIX века», Лит. наследство. 1946, №№ 49—50.

¹⁸ В. Е. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Некрасова, М. — Л., 1950, т. II.

строк стихотворения Некрасова «Муза» направлены не против пушкинской поэзии, а против поэзии «чистого искусства», являющей реакционное толкование традиционным поэтическим образам.

В итоге своего анализа автор приходит к заключению, что «в стихотворении «Муза» Некрасов продолжает традиции Пушкина, Белинского в утверждении ими общественной роли литературы»¹⁹.

Этот вывод представляет собой итог сложной работы автора, который свои разыскания объединил, дополнил и обогатил идейно-эстетическим анализом. Исследователь сочетал в работе анализ и синтез — два необходимых момента в деятельности литературоведа, обеспечивающих ее успех.

Необходимость дополнять результаты и выводы разыскания, где преобладает анализ, моментами синтетического осмысления, т. е. данными историко-литературного и теоретического характера, требует от литературоведа большой эрудиции, глубокого проникновения в материал и умения тонко, а не механически пользоваться научным методом.

* *
*

Опыт убеждает в том, что подлинно научное исследование требует подкрепления фактами раскрываемых проблем и предлагаемых выводов.

Начинается ли изучение с общих вопросов (о закономерности литературного процесса, о жизни жанров) или оно идет от частных фактов к обобщениям, ученый должен провести работу по обследованию и изучению источников для того, чтобы получить ясное представление о состоянии нужных ему материалов, их качественной стороне, их полноте. Идеальным было бы, если бы каждый литературовед проводил фронтальную проверку всех исследуемых источников, исчерпывающую проверку всех без исключения материалов, вовлекаемых в орбиту исследования.

Ошибочная датировка, неумение установить автора рукописи, неточность анализа и экспертизы подлинности и достоверности источников — все эти промахи и недочеты в работе источниковеда незамедлительно скажутся самым пагубным образом на качестве и итогах исследования литературоведа. Обобщения на основе непроверенных и мало достоверных источников не только плодят неверные представления, но вместе с тем тормозят движение науки.

Задача источниковедческого разыскания состоит в том, чтобы можно было расширить сумму полезных источников, на которых может базировать свое изучение литературовед. Неизвестные новые материалы, обнаруживаемые посредством разыскания, призваны сыграть важную роль в решении ряда проблем.

Источниковед-литературовед должен чутко прислушиваться к требованиям времени. Каждая эпоха диктует науке проблематику, и ученый для изучения интересующей общество тематики должен привлекать соответствующие источники и разыскивать их, если они еще неизвестны. Современность вторгается в науку и побуждает ее искать новые материалы, изучать (разыскивать, публиковать, комментировать, освещать) их от лица современности, с точки зрения метода марксистского материализма.

¹⁹ М. М. Буркина, Поэтические декларации Некрасова, Уч. зап. Ростовского университета, вып. 1, 1955, стр. 122

Вот, например, гребование к источниковедению, выдвинутое в статье В. В. Жданова: «Документы, раскрывающие новые черты в творческом облике писателя (будь то художественное произведение, статьи или дневники, переписка и т. д.), документы, проливающие новый свет на эпоху, борьбу и взаимоотношение классов, произведения, наиболее ярко воплощающие «черты исторического своеобразия» своей эпохи, все, что политически актуально и художественно полноценно, — вот что имеет право на наше внимание; то, что до сих пор наименее освоено литературоведением, — литература революционной мелкой буржуазии, разnochинцев, «старой народнической демократии», предпролетарская литература, — это нас интересует в первую очередь»²⁰.

Наши ученые успели многого добиться в этом направлении. Из «тмы забвения» извлечена замечательная страница истории русской литературы — деятельность и творчество радищевцев²¹, восстановлены незавершенные работы Пушкина по истории Петра и Пугачева²², воссоздана картина «кружка 16-ти», в котором участвовал Лермонтов, найдены материалы об окружении поэта в университетские годы²³ и многие другие.

Академические издания (Пушкина, Лермонтова, Гоголя) поставили и выполнили задачу прочтения всех имеющихся в рукописях (автографах, копиях и т. д.) текстов писателей. Такая фронтальная проверка и вычитка рукописей дает много материалов для исследования творчества писателей. Наконец, собрания сочинений многих писателей пополнены новыми текстами. И работы в этом направлении не могут и не должны замирать или приостанавливаться. Необходимость и полезность обращения к источникам (а вернее сказать, к первоисточникам) прочно вошла в сознание всех современных исследователей литературы, редакторов издательств, архивистов. Собрания сочинений Некрасова, Гл. Успенского, Чехова, Горького и других классиков пополнены многими новыми недавно обнаруженными страницами, отрывками и целыми произведениями.

В заключение надо подчеркнуть, что источниковедческое разыскание не есть какой-то самостоятельный, независимый от научных исследований процесс. Разыскание не оторвано от метода науки, а, напротив, им направляется. Все приемы, необходимые для осуществления предварительных работ по собиранию, по экспертизе источников, должны быть обусловлены целью изучения, задачами решения научной проблемы. Они должны предприниматься в целях разрешения того или иного научного вопроса. Разыскания ради разыскания не может быть. Источниковед-исследователь должен производить разыскание таких фактов, которые органически входят в сферу изучаемого вопроса. Научный метод (мировоззрения) организует и руководит всеми стадиями разысканий.

Путь исследования идет от фактов к обобщению, к теории и здесь завершается. Справедливо говорил об этом акад. А. И. Белецкий: «Чрезвычайно важна и почтенна работа по собиранию и исследованию отдельных литературных фактов, великая «черная работа»; но значитель-

²⁰ В. В. Жданов, Против аполитичности в публикации документов прошлого, «Октябрь», 1933, кн. 5, стр. 218.

²¹ Работы В. Н. Орлова и изданные под его редакцией сб. «Поэты-радищевцы. Волное общество любителей словесности, наук и художеств», Библиотека поэта, Большая серия 1935, Малая серия 1952.

²² Работы И. Л. Фейнберга; Г. П. Блока.

²³ Работы П. Л. Бродского; Э. Герштейн.

ность ее становится подлинно ясной только тогда, когда знаем конечную цель исследования этих фактов, когда за ними ощущается и разумеется закономерность всего изучаемого на малом участке процесса. «Анализ — путь к синтезу; история литературы немыслима как наука без теории»²⁴.

²⁴ А. И. Белецкий. Проблема синтеза в литературоведении, Уч. зап. Харьковского гос. университета им. А. М. Горького, Харьков, 1940, № 19, стр. 328.

Москва

КРИТИКА ТОЛСТОВСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАРОНИНА

О. Л. Костылев

Учение Льва Толстого «реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова»¹.

Проповедь утопических путей преодоления социальной несправедливости и пропаганда теорий нравственного самоусовершенствования, всепрощения, опрощения, непротivления злу насилием в 80-е годы нашли приверженцев не только среди идейной, ищущей части интеллигенции. Они были использованы также либералами и реакционерами. Р. Дистерло, Л. Оболенский, А. Вольтинский, многочисленные неопиты, отбросив горячий протест Толстого против всех зол эпохи, всяческих проявлений реакции, абсолютизировали слабые стороны новой нравственной философии. Они доказывали абсурдность классовой борьбы, призывали вычеркнуть из практики общественные задачи, отстаивали примат личного счастья.

Влияние толстовских идей в той или иной мере испытали такие непохожие писатели разных литературных направлений, как Лесков и Засодимский, Чехов и Златовратский, Гаршин и Эртель. С идеями Толстого сокнулся утопический реформизм народников.

Впрочем, с народничеством связаны как апофеоз, так и истоки учения Толстого. Именно Михайловский, Г. Успенский, народнические публицисты и теоретики открыли перед Толстым в мужицкой психологии некую воплощенную правду. Заповедь святости «хлебного труда» и обожествление любви как сердцевины жизни оказались созвучны мучительным раздумьям автора «Исповеди». Европейски образованный и всемирно известный граф обрел конечную истину в стихийных откровениях деревенских пророков. Толстого не смугили ни невежественные отступления Сютаева от библии, ни еретическое, с точки зрения христианской догматики, отрицание евангелия Бондаревым. Путаные и противоречивые до наивности доктрины безграмотного тверского крестьянина и сибирского сектанта-субботника он объявил шедевром, которому суждено пережить все созданное литературой, а самим авторам был признателен больше, чем «всем ученым и писателям вместе взятым»².

¹ В. И. Ленин, Соч., Изд. 4, т. 17, стр. 32.

² А. С. Пругавин, О парадоксах Л. Н. Толстого, Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом, Книгоиздательство «Златоцвет», М., 1911, стр. 27. См. также предисловие Толстого к трактату Бондарева «Горжество земледельца, или трудолюбие и тушеядство», изд. 4, «Посредник», М., 1906. Ср. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 386 (примечание).

Слияние противоречий в правдоискательстве Толстого, Сютяева и Бондарева было настолько же полным, насколько неотвратимым. В статьях Ленина о Толстом вскрыта глубокая закономерность этого тождества, обусловленного переходом писателя на позиции патриархального крестьянства. Однако в 80-е годы перелом в миросозерцании Толстого воспринимался современниками лишь как парадокс. После обнародования статей «Так что же нам делать?», «Женщинам», «О хлебом труде», «Чем люди живы?» Михайловский не без резона обвинял яснополянского мыслителя в плагиате, называя в качестве первоисточника рукописи мипусинского ссыльного. Тем не менее именно Михайловский впервые указал на противоречивость мировоззрения великого русского писателя, хотя не избежал при этом крупных, принципиальных ошибок, а главное — не понял причин замеченной противоречивости. Независимо от этого полемические выступления Михайловского, как и Шелгунова, призванные нейтрализовать влияние толстовщины, явились противоядием, сыграв видную и положительную роль в истории общественной мысли. Заслуги этих публицистов общеизвестны, хотя тему «Толстой и народничество» никак нельзя считать исчерпанной, достаточно проясненной. Значительно меньше исследованы творческие споры русских писателей с теориями Толстого: их изучение обычно ограничивают обзором некоторых произведений Чехова, Короленко и Горького, прибегая порой к аргументам, натянутость которых очевидна.

Между тем до сих пор остаются в тени произведения Каронина, направленность которых позволяет назвать их едва ли не самыми злободневными, значительными и талантливыми обличениями толстовства в литературе конца 80-х — начала 90-х годов.

В повести «Снизу вверх» (1886) Каронин противопоставил толстовскому идеалу патриархальной незлобивости бунтаря, отрицающего идиотизм «сплошной», «роевой» жизни³. Образ протестанта Лунина был создан в то время, как Толстой, гипнотически замороженный убогой целью крестьян-непротивленцев, возводил в ранг высших добродетелей юродство и косноязычие Акима («Власть тьмы»). Повесть Каронина, как и его ранние рассказы и очерки о деревне, отразила существенные расхождения с Толстым. Воинственно отвергая фатализм и «неделание», автор «Рассказов о пустяках» последовательно лишил поэтического ореола фигуру притерпевшегося к полужизни бездумного мужика. То, что крестьянин «должен быть кротким, подобно иконописному святому, — такой взгляд не есть ли остаток крепостного права?»⁴ — риторически спрашивал Каронин. Приветствуя «пробуждение человека в коняге», он признавал законными и исторически оправданными самые бурные и уродливые проявления этого процесса. И наоборот, его коробила «старинная, общерусская, прославленная, но на самом деле гнусная «смекалка», которая учит человека «на обухе рожь молотить» и приспособляться к самым отвратительным гадостям»⁵.

³ В литературоведении упрочилось мнение о том, что потенциального «колебателя основ» в герое повести разглядела лишь марксистская критика (Плеханов, Луначарский). Между тем уже первая глава повести дала повод К. Толстому, автору откровенно ренегатских «Этюдov господствующего мировоззрения», причислить образ Лунина к галерее «нигилистов», «начиная с пресловутых Лео Гутмана, Базарова... а из живых Лассала, Бакуннина» («Русь», 1884, № 16, стр. 55).

⁴ С. Каронин, Опыт (Из недавних воспоминаний), ИРЛИ АН СССР, Собрание Н. Я. Дашкова, ф. 93, оп. 3, № 586, стр. 7.

⁵ С. Каронин (Н. Е. Петропавловский), Соч. в 2-х тт., т. I. Гослитиздат, М 1958, стр. 207 (далее при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте).

Реалистическим обнажением правды народной жизни Каронин, как и Толстой, подвергал критике внешние условия, социальную действительность. Как верно заметил А. Н. Пыпин: «Толстой в своей «Власти тьмы» показал обратную сторону медали, но еще раньше показал ее во многих случаях... Каронин»⁶. Одинаково отрицающая существующий строй, тягостно переживая его пагубное воздействие на массы, художники тем не менее диаметрально расходились в поисках путей народного счастья. Различия в мировоззрении Толстого и Каронина к концу 80-х годов приняли объективно антагонистический характер. Об этом красноречиво свидетельствуют повести: «Мой мир» (1888), «Борская колония» (1890), «Учитель жизни» (1891). В свою очередь, единственное дошедшее до нас высказывание Толстого в адрес оппонента недвусмысленно говорит как о знакомстве его с произведениями Каронина, так и об отношении к ним. Г. А. Русанов вспоминал, с каким брюзгливо-презрительным негодованием отзывался Лев Николаевич по поводу того, что в оглавлениях лучших журналов «вместе с какими-нибудь Федоровыми, Сидоровыми, Каронинами и пр. и пр. значится наравне и Гаршин»⁷.

В повести «Борская колония» изображена группа интеллигентов, решивших «сесть на землю», «научиться быть простым мужиком», «делать все собственными руками», «жить своим трудом» (II, 271, 305, 319). Все они люди разных биографий и верований. Перед «кающимся дворянином» Неразовым колония открывает, как ему кажется, возможность практически пристроить свои «пестрые, разбитые мысли» (II, 357). Эксцентричная Верочка, движимая не духовной потребностью, а порывами темперамента, едет в Бор словно на увеселительную прогулку: она со страстной неудержимостью ухватилась за колонию в самый разгар скуки. Кугина приводит сюда стремление «быть со всеми в одном градусе»: он принадлежит к числу людей, которые всю жизнь проводят, как на сцене, и «живут затем только, чтобы показывать себя» (II, 298). Инициатором дела является Грубов, неистово увлеченный мечтой о народном благе.

Деятельность пионеров опрощения необычайно рельефно, в гротескном стиле представлена метаморфозой Кугина. Этот позер научился великолепно подражать молодому деревенскому парню, усвоил обороты простонародной речи. Правда, волнуясь или споря, он сбивался, и тогда мужицкий жаргон в его устах инкрустировался высокопарными книжными тирадами. Но, казалось бы, по-настоящему прочно Кугина должна была связать с деревней женитьба на крестьянке Наташе.

Случилось, однако, так, что именно он роковым образом ускорил развал колонии. Приезд Верочки, ее необузданно восторженное внимание к Кугину, переросшее во флирт, охлаждение героя к неотесанной жене и ко всей своей импровизированной семье, возникшее среди колонистов соперничество и недружелюбие — все это очень скоро обнаружилось призрачностью затеи и разъединенность ее участников.

После того как не вынесшая позора Наталья наложила на себя руки, а Вера вынуждена была уехать, участь поселения была решена. Первая жизненная драма, в которой ему пришлось сыграть главную роль, смыла с Кугина всю его театральность. Потрясенные Грубов и Неразов разъехались — колония распалась.

⁶ «Вестник Европы», 1893, № 4, стр. 758.

⁷ «Толстовский ежегодник», 1912, стр. 71.

Разумеется, этой трагикомической коллизией не исчерпывается смысл произведения. В свете случившегося в Бору развязка выглядит естественной, но не типичной, случайной и как будто не дает повода для обобщений. Между тем кульминационный эпизод подготовлен всем ходом сюжета, в нем заключена глубокая мысль: содружество людей, объединенных заботой о личном совершенствовании, вдохновленных ложной идеей, не может быть плодотворным. В основе центрального конфликта лежит поистине случайное происшествие. Но Каронину как раз и важно показать, что судьба колонии, возникшей «не по внутреннему влечению, а по влечению ко всему модному» (II, 342), целиком зависит даже от случая.

Автор повести подчеркивает, что участие в предприятии таких квазинародовцев, как самвлюбленный гаер Кугин или легкомысленный пустоцвет Верочка, покрывает пеленой пошлости, дискредитирует самую идею служения народу, придает ей захватанный, шутовской вид. Но делает он это отнюдь не в целях защиты толстовства от профанирования. По мнению писателя, предпосылки банкротства толстовской теории коренятся в ее ущербности. К такому выводу неминуемо приходит честный и пытливый искатель Грубов, принявший было на веру толстовский идеал.

Грубов — антипод своих компаньонов. Типичный восьмидесятник, тяжело переживающий крах недавних иллюзий, он не поддался общему отчаянию. «Многие кокетничают даже пессимизмом... он считал это величайшим цинизмом» (II, 327). Чуждый всякой рисовки, этот герой презирает изверившихся отступников, но и громкие слова, особенно затасканные, производят на него впечатление уличной брани. Жажда настоящей, наполненной, осмысленной жизни, нестремимое желание быть полезным людям сочетаются у Грубова с надеждой, что «как бы ни были мрачны наши мысли и глубоко наше неверие, но они не последнее слово; за пределами наших понятий существует впереди нечто, что превратит их в ложь... И если мы сейчас не знаем, во имя чего надо жить, то наши близкие потомки, вероятно, не поймут такого вопроса» (II, 327—328). Исключающий доктринерство подход к жизни определяет путь исканий героя, его практику. Беззаветное увлечение идеей создания колонии, окрыленность, сменяющиеся разочарованием, идейным тупиком, — это закономерная смена настроений и состояний Грубова; в его прозрении — расплата за доверчивость и награда за непоколебимое самоотвержение. Поэтому и опыт героя дает писателю возможность с неотразимой убедительностью, непредвзято показать несостоятельность теории опрощения.

Еще до развала колония была разрушена Грубовым аналитически, мысленно: оказалось, что она не отвечала ни его мечтам, ни практическим требованиям: «Разумеется, очень хорошо жить трудами рук своих, благородно добывать хлеб прямо из земли... Отчего же не думать и не заботиться о себе, когда это неизбежно? Но в таком случае это уже не мечта, не идеал, не стремление к великому. Идеал ведь это нечто огромное и светлое, как солнце; нечто такое, чего в мелкой обыденной жизни нет, но к чему человек стремится всеми лучшими своими помыслами. Ну, а колония имеет ли хоть что-нибудь в этом роде? Ничего. Что может быть идеального в том, что человек вместо сапогов надеет коты, вместо городской квартиры будет жить в пазе и вместо добывания хлеба косвенным путем прямо будет царапать его из земли? Что идеального в том, что человек голову свою своей будит ползать воз с соломой, а душу свою закопает в землю, окружив себя

миллионами пустяков? И что идеального будет в жизни человека, который забудет других и займется только своим совершенством?... Личную свою жизнь можно возвести в идеал только под одним условием: совсем отречься от жизни, уйти в пустыню или залезть на столб и сидеть на нем до смерти. Но если и возможно устроить интеллигентный монастырь, то только для тех, у которых жизнь поистине сошлась клином» (II, 329—330).

Полемическая адресованность этих слов очевидна. В оценке нравственной философии, апеллирующей к личности, Каронин перекликается с аналогичными суждениями Михайловского и использует образ шедринской сказки. При этом писатель однолинейно акцентирует внимание на слабых сторонах критикуемой теории: он воспринимает ее по-народнически ограниченно, не видя в ней значения эпохи, которая «...должна была породить учение Толстого — не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы...»⁸.

Несколько иной, дополняющий оттенок в критику толстовских идей вносит повесть «Мой мир». Герой этого произведения Варин в отличие от борских колонистов попадает в деревню случайно, по болезни. Он, подобно Грубову, «еще недавно верил в «измы» (II, 48), мечтал быть народным заступником. Оказавшись лицом к лицу с мужиками, Варин находит с ними общий язык, вникает в их нужды, участвует в крестьянском труде. Его охватывает неудержимое желание навсегда поселиться в деревне, посвятить ей всю свою жизнь. В связи с этим среди городских товарищей героя проносится курьезный слух, будто он «вздумал опроститься... слиться с народом». Один из друзей в письме предостерегает Варина от этой затеи: «Хорошо, — пишет он, — сделаться трудящимся работником, но какой смысл сливаться с массой теми сторонами, против которых мыслящее существо должно бороться? Какой смысл в том, если барин вдруг делается мужиком, станет есть толокно, будет ходить без панталон, позволит себя сечь и начнет лаять на науку и цивилизацию, разучится читать, наденет лапти и выпачкает лицо навозом? Неужели он этим принесет кому-нибудь пользу?» (II, 97—98). Судьба героя повести, собственно, и отвечает на эти вопросы.

Знакомство с условиями труда и быта крестьян раскрывает перед Вариним страшную картину всеобщей нищеты, повального невежества. Он убеждается, что «власть земли» физически и нравственно калечит крестьянина, обращая его в машину, убивая в нем человеческое. Для него несомненна абсурдность, вредоносность призывов к опрощению и ассимиляции косного, застойного мужицкого мирозерцания. Не потакание суеверным предрассудкам и усвоение нелепых обычаев, а посвящение народа, посвящение его в тайны «своего мира» становится целью интеллигента. Деревенская жизнь засасывала Варина, но он, не желая «утонуть в ней, обезличиться», «покаялся быть везде самим собой» (II, 116). «Не большая заслуга сделаться работником, — считает он, — не большая заслуга «выпачкать лицо навозом» и в тот же навоз втоптать свою душу. Слепые вожди — те, которые, унижая человеческий ум и все то, что он добыл с такими кровавыми жертвами, проповедуют слияние с тьмой. Позорное употребление из своего ума делает тот, кто поднимает невежество на пьедестал» (II, 100). Острие этой филиппики разило как народников типа Юзова и Златовратского, так и Толстого.

Верный жизненной правде, писатель показал в финале изгнание

героя из деревни: его постигла та же участь, что и Безымянова («Опыт»), Евгению («Подрезанные крылья»), Лобановича («Мест нет»). Принужденный отказаться от легальной просветительской миссии, Варин понял недостаточность совершенной им серии «малых дел». Он горько «смеялся над собой за то, что так легко поверил в прочность своего положения, за легкомыслие, за все свои планы, построенные на песке» (II, 117). Небезынтересно, что свое настроение Варин выражает словами, предвосхитившими конечный вывод героев чеховской повести «Моя жизнь». Но гораздо значительнее другое: обличая толстовскую теорию прощения, произведение Каронина одновременно рассеивало народнический миф о спасительной роли интеллигентов — истинных друзей народа — в условиях самодержавно-полицейской реакции⁹.

Если в «Моем мире» и «Борской колонии» критике подверглись практические меры, предписанные толстовством, то в повести «Учитель жизни» объектом обличения становится теоретическая сущность толстовской этики.

В центре произведения — история Дениса Чехлова. И внешний вид этого аскета, облаченного в крестьянскую блузу и высокие сапоги, и характер его проповедей — это паспортные приметы прозелита толстовства. «Личность он ставит на недосыгаемую высоту, от каждого требуя, чтобы он произвел переворот в своей жизни» (II, 401). «Только одно самообразование создает разумного человека» (II, 428), — убежден Чехлов в соответствии с этим поучает: «Не нужно ни хитрых «вопросов», ни машинных дел, ни бездушного служения каким-то идеям, не вами выдуманном, не нужно каких-то преобразований общества, на которые вы можете оказаться совсем бессильными, — ничего не нужно, кроме воспитания в себе любви» (II, 449). Исповедуя толстовский культ религиозной «вселюбви», герой призывает: «Верьте только в силу любви и разума — и вы будете сильны, как боги... Будьте христианами!» (II, 411). Совсем в духе наставлений своего идейного вождя Чехлов подчеркивает: «Любить надо просто, помогать просто, прямым трудом, а не наподобие богача, который, бросив нищему деньги, думает, что он сделал доброе дело» (II, 449).

Программа опрощения, непротивления и самоусовершенствования зиждется у Чехлова на отрицании цивилизации; он доказывает, что поработенный наукой ум «служит лжи и обману, преступлению и кровавым бойням, злу и насилию!» (II, 427).

Отмечая «сильный библейский оттенок» (II, 427) речей новоявленного «пророка», стремление отстаивать «свое огромное Я» (II, 461), ставя в тупик инакомыслящих, Каронин не скрывает и притягательной силы парадоксов Чехлова. За чудачествами оригинала, наделенного едким анализирующим умом, писатель признает и гибкость мысли, и силу посылок, и яркий критический пафос — все то, что составляло, по его мнению, свежесть, оригинальность, объективную ценность и рациональное зерно толстовства. Чехловский сарказм, язвящий признанных жрецов буржуазной этики, в которых вытравлена вера и убита воля, его презрение к закосневшим рутинерам и носителям ходячей правды симпатичны автору. Как обличитель пошлости, лжи и лицемерия, позорного пресмыкательства разума перед всякой внешней силой Чехлов действительно выше окружающих его. Он гневно клеймит издевательской формулой Добролюбова обывателя, упрекающего «среду,

⁹ В одной из публицистических статей Каронин прямо писал, что в его задачу входит заставить «оптимистов усомниться в грандиозности их просветительской миссии» («Кавказский биржевой листок», 1891, № 173).

которая будто его съела» (II, 441). Диспут с мещанами, похоронившими душу под грудой казенных истин, позволяет Чехлову «обнаружить всю силу своей диалектики» (II, 460).

Вместе с тем уместность положительных взглядов героя ясна даже сравнительно недалекому Бурееву. Его возмущают фарисейские сентенции Чехлова. «Но зато, — говорит ему Буреев в одном из споров, — ваше искусство разить освинелые головы — просто чудесно! Это настоящее ваше призвание — приводить каждого в себя... Вы способны каждого возвратить к себе, заставить вспомнить свои мысли. Но именно поэтому, мне кажется, у вас и не будет последователей... Ваше дело толкнуть ногой и сказать: «Эй ты, скотина! вставай, что ты тут в грязи-то валяешься?!» И он встанет и пойдет своею дорогой. Но не за вами» (II, 443).

Развенчание нежизненности проповедуемого Чехловым нравственного учения и составляет содержание повести. Хордина подмечает в теориях нового знакомого главную «слабость — противоречие» (II, 428). На «неслыханное смешение правды и лжи в каждом <его> слове» (II, 416) обращает внимание Буреев. И даже доверчивому Мизинцеву, последовавшему было за Чехловым, в суждениях «учителя жизни» открывается «глубокая правда и в то же время нелепая дичь». Противоречивость позиции проповедника, притязающего на идеальное разрешение вопроса человеческих взаимоотношений, получает в его устах четкую социальную конкретизацию: «Если его слова принять, как отвлеченную веру, необходимую для эстетического созерцания, то они — правда, но если целиком применить их к жизни, как она есть, то они — простое барское издевательство над человеком» (II, 454). Барская, антинародная сущность воззваний Чехлова претит Хординой. «Ваше учение, — с досадой говорит она, — только для богатых... Все ваши мысли направлены только на то, чтобы помочь богатому, потерявшему от пресыщения всякий вкус к жизни, возобновить свои жизненные аппетиты. А бедному... Чему вы его будете учить? Чтобы он ел кашу, а не рябчика? Но он ее одну только и ест. Чтобы он помогал трудом ближнему? Но весь его труд содержит человечество. Чтобы он любил ближнего? Но он и без вас его любит, любит этим самым трудом. Или чтобы он сделался в вашем смысле разумным и совершенным? Но кто по временам умирает с голода, кто всю жизнь должен проводить в грязи, у кого каждый текущий день — судорожная погоня за куском хлеба, кто безвестно умирает от нелепой случайности, — тот не имеет сил быть чистым, разумным, совершенным. А если вы все-таки требуете от него совершенства, то как же вам не стыдно?» (II, 467—468). С тех же позиций Хордина расценивает и бесшабашный нигилизм бывшего студента в отношении науки.

Неубедительными кажутся собеседникам Чехлова его напыщенные разглагольствования о любви. Один видит в пустословии толстовца «пошехонское открытие Америки» (II, 415). Другой замечает, что истина, обратившаяся в общее место, бессодержательна, абстрактна, ибо «надо знать... что и как любить! Иначе можно возлюбить свинью, посадить ее за свой стол и вместе с ней хрюкать!» (II, 415).

Однако не действующие лица, а автор — а затем сама жизнь — выносят приговор главному герою. Его попыткам самовозродиться Каронин противопоставляет контрастизм о том, что только «в огне общественного дела очищается сама собой личность» (II, 403). Изошренный скептицизм Чехлова сделал его «исключительно наблюдателем всего окружающего, а не участником» (II, 363). А между тем, считает

писатель, даже «маленькие, но убежденные люди прежде всего на себе проверяют свою веру и бесстрашно, со счастливым лицом, идут по своей дороге, хотя бы на конце ее вырыта была их могила». Но «если человек говорит большие слова, а подкрепляет их ничтожными поступками, то это жалкая профанация, постыдное кощунство, осквернение храма слова» (II, 451).

Репутация «юродивого» (II, 396), установленная в среде окутанных его словесным чадом слушателей, усугубляется неумением Чехлова облагородить собственную жизнь. Он терпит жестокое фиаско в неразделенной любви к Хординой. Эту замечательную женщину отталкивает чехловское учение, которое, по ее убеждению, «холодно, умно и бесчеловечно!» (II, 468). Но окончательно истошает прилив самоуверенности Чехлова, выбивает из колеи назидателя внезапное денежное банкротство. Всеведущий прорицатель мгновенно превращается в беспомощного несчастливца. Когда к привычному одиночеству присоединяется перспектива безысходной нищеты, «учитель жизни», ошеломленный столкновением с реальностью, впервые с трепетной личной заинтересованностью озадачивается вопросом: «Что же такое жизнь?» (II, 501).

Антитолстовские идеи, воплощенные в колоритных образах повестей Каронина, получили в литературе 80-х — 90-х годов признание, но не стали крупным общественно-литературным явлением. Верно храня заветы революционной демократии, литератор настойчиво противопоставлял тщетным потугам интеллигентов «в отставке», укравшихся в «колонии для образованных инвалидов» (II, 322), и проповедям «учителей жизни», не знавших жизни, идею радикального переустройства общества. Обличая утопические искания и манерное святошество митующихся интеллигентов, писатель не уставал, говоря его словами, «пропагандировать принципы социальной революции»¹⁰.

Яростный критик религиозного толстовского смирения, Каронин своим творчеством утверждал святость революционной борьбы. Этим и определяется прогрессивное значение повестей Каронина, которого А. В. Луначарский охарактеризовал как «лучшего среди лучших в разном мире», «изумительного, в самом великом, в самом нашем, в самом материалистическом смысле слова святого человека»¹¹.

Однако, говоря об антитолстовских выступлениях писателя, нельзя обойти их неполноценность. Подобно другим литераторам народнической ориентации, Каронин ярко показал реакционность взглядов Толстого, но при этом расщепил противоречивые элементы в его творчестве. В результате «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик»¹², устами которого говорила «многомиллионная масса русского народа»¹³, в каронинской трактовке был лишен всех тех неотъемлемых качеств, которые делала его «зеркалом русской революции».

Объективно противопоставляя стихийному толстовскому социализму построения иного толка, Каронин в выдвигании позитивной части собственной концепции был по-своему последователен. Но, вскрывая кричащие противоречия Толстого — художника и мыслителя, он осуществлял их критику с позиций революционно-народнической социологии, что ограничило полемические возможности талантливого писателя.

¹⁰ Процесс 193-х, Изд. В. М. Саблина, М., 1906, стр. 166.

¹¹ А. В. Луначарский, В зеркале Горького, «На литературном посту», 1931, № 12, стр. 10, 11.

¹² В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 16, стр. 295

¹³ Там же, стр. 323

**Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК В ЖУРНАЛЕ «РУССКОЕ БОГАТСТВО»
В 90-е ГОДЫ XIX ВЕКА**

Н. В. Тимохина

Трудно переоценить значение периодической печати в общественной жизни России. Целые эпохи в жизни общества связаны с некрасовскими журналами «Современник», «Отечественные записки», писаревским «Русским словом» и др. В 90-е годы XIX в. среди домарксистских прогрессивных изданий видную роль играет журнал «Русское богатство».

90-е годы — наиболее интересный период во всей 47-летней истории журнала (1871—1918). В 1892 г. реорганизованный в корне журнал становится собственностью литературного товарищества. Основное ядро редакции составили бывшие сотрудники «Отечественных записок».

Состав сотрудников «Русского богатства» был чрезвычайно неоднороден. В 90-е годы в журнале печатались люди совершенно различных взглядов: от С. Н. Кривенко и «В. В.», являвшихся крайними правыми народниками и проповедовавших примирение с царским правительством, до В. Г. Короленко, осуждавшего ортодоксальное народничество и видевшего в марксистах своих союзников по борьбе; от Н. К. Михайловского, всегда стоявшего в оппозиции по отношению к существующим порядкам, поддерживавшего подполье в легальной печати, но не понявшего марксизм и возглавившего полемику с марксистами, до Н. Г. Гарина-Михайловского, несколько позднее сотрудничавшего в марксистских изданиях и помогавшего материально РСДРП. Состав сотрудников журнала отразил неоднородность и противоречивость самого вырождающегося к 90-м годам народнического движения, на которую указывал В. И. Ленин, подчеркивая, что «между этими отдельными представителями, конечно, есть различия, иногда немалые... Отрицать эти различия народников в тесном смысле слова от народников вообще было бы, конечно, неправильно...»¹. Неоднородность «Русского богатства» усиливалась тем, что в нем, помимо народников, печатались люди, порвавшие с народничеством и выступавшие против него (Н. Г. Гарин), писатели, никогда не принадлежавшие к народникам, а лишь в какой-то мере сближавшиеся с ними в своем творчестве (Д. Н. Мамин-Сибиряк, И. А. Бунин), и лица, вообще далекие от народничества (А. И. Куприн, А. М. Горький).

¹ В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 2, стр. 481—482

Эта неоднородность взглядов и позиций сотрудников журнала явилась причиной острой внутриредакционной борьбы, которая привела к тому, что группа ортодоксальных народников во главе с С. Н. Кривенко была вынуждена покинуть журнал, а внутри, казалось бы, единой редакции образовалось несколько течений, иногда прямо противоречащих друг другу. Указанное обстоятельство чрезвычайно осложняет определение основного направления журнала в целом и особенно направление наиболее важного отдела журнала — художественного. Так, народнически-тенденциозным произведениям Н. Н. Златовратского («Белый старичок», «Мечтатели»), П. В. Засодимского («Грех») противостоят произведения Н. Г. Гарина (трилогия «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», его рассказы из жизни деревни), рассказы И. А. Бунина («Танька», «Вести с родины» и др.), А. С. Серафимовича, Е. Чирикова, К. М. Станюковича и др. Особое место занимают многочисленные произведения В. Г. Короленко («Без языка», «В голодный год», «В облачный день», «Необходимость», «Парадокс» и др.).

Учитывая все оттенки идейной направленности произведений «Русского богатства», трудно признать общее направление художественного отдела либерально-народническим. При анализе многообразного материала на первом плане оказываются не народнические тенденции, а те, присущие подавляющему большинству произведений «Русского богатства» тенденции, которые были определены нашим литературоведением как просветительские². Однако просветительская позиция художественного отдела журнала имела определенный народнический оттенок, так как взгляды Н. К. Михайловского и симпатии В. Г. Короленко не позволяли им как редакторам принять к печати открыто антинароднические произведения, в то время как ненароднические, «нейтральные» произведения имели широкий доступ в журнал, создавая общий просветительский фон художественного отдела «Русского богатства». Говоря о направлениях журналов, Н. К. Михайловский в статье «Литература и жизнь» за июнь 1891 г. писал: «Вся история... новейшей литературы... есть собственно история журналистики. Журнал, а потом газета определяли собою нередко и форму, и содержание произведений даже выдающихся талантов... журналы и газеты клали или старались класть свои штемпеля на произведения...» Особенно ясно это можно проследить на истории сотрудничества в журнале И. А. Бунина, Д. Н. Мамин-Сибиряка и других писателей, которые не принадлежали к числу печатавшихся исключительно здесь.

В 90-е годы Д. Н. Мамин помещает свои произведения, кроме «Русского богатства», еще и в «Северном вестнике», «Мире божьем» и других журналах. Народнически-просветительское направление «Русского богатства» объясняет, на наш взгляд, подбор произведений Мамин в этом журнале. Глубокое понимание писателем сущности исторического процесса развития капитализма в России не совпадало со взглядами на этот процесс редактора журнала Н. К. Михайловского, поэтому ни «Хлеб», ни «Золото» не могли быть им напечатаны здесь. Лишь трактовка тех же вопросов в более отвлеченном морально-психологическом плане оказывалась приемлемой для «Русского богатства», что и дало возможность поместить в нем рассказы «детского цикла». Аналогична участь романов «Падающие звезды» и «Без названия». В романе «Падающие звезды» образ Шипидина и связанная с ним тема критики

² См., например, Г. Бердяков, С. Каролин (Н. Е. Петровичевский), в кн. С. Каролин, Соч., в 2-х тт., М., 1958, стр. XII.

народнических взглядов на роль интеллигенции в современном обществе — проблема второстепенная. Главное в романе — тема искусства в современном обществе, такая близкая «Русскому богатству». Поэтому напечатанное романа было возможно. Та же тема бесперспективности благих усилий народников изменить ход исторических событий, поставленная в центр внимания в романе «Без названия», делала его неприемлемым для «Русского богатства».

Д. Н. Мамина привлекала в «Русском богатстве» воинствующая проповедь реализма в искусстве, последовательно проводившаяся в 90-е годы на страницах журнала. Неудивительно, что свои два романа, посвященные защите принципов реализма и народности в искусстве, писатель помещает именно здесь. Страницы романов «Черты из жизни Пепко» и «Падающие звезды», направленные против всевозможных декадентских и натуралистических извращений в искусстве, непосредственно перекликаются со статьями Н. К. Михайловского, выступлениями В. Г. Короленко и пр.

«Русское богатство» с его художественным отделом, возглавляемым В. Г. Короленко, привлекало Д. Н. Мамину как журнал, считавший себя наследником «Отечественных записок», как журнал, проводивший на своих страницах просветительские тенденции, которые были свойственны взглядам самого писателя. Все произведения Мамина в «Русском богатстве» объединены идейно-тематически. Соответствуя общему демократическому, просветительскому направлению журнала, многочисленные рассказы Мамина в «Русском богатстве» в целом составляют вместе с двумя его романами определенную струю в общем потоке демократически направленной, реалистической прозы журнала. Ярко выраженная тематическая общность этих произведений позволяет рассматривать их как единый цикл, хотя он, в свою очередь, состоит из двух серий рассказов («Детские тени» и «Медовые реки»), двух романов и ряда отдельных самостоятельных рассказов, как, например, «Враг», «Ученое горе», «У теплого моря» и пр. На тематическую связь отдельных рассказов и романов Д. Н. Мамина, где эпизоды, описанные в рассказах, вновь повторяются в романе, органически входя в его ткань, впервые обратил внимание А. И. Груздев в своей работе «Д. Н. Мамин-Сибиряк», когда разбирал историю создания романа «Три конца». Это соображение оказывается верным в отношении романов «Черты из жизни Пепко» и в особенности «Падающие звезды».

Основной темой разбираемых нами рассказов Д. Н. Мамина является тема гибели детей в буржуазном обществе.

В первом цикле рассказов, напечатанном в «Русском богатстве» в 1892—1893 гг. под названием «Детские тени», автор показывает судьбы совершенно различных детей, разного возраста, принадлежащих к различным общественным классам, у которых лишь одно общее — им нет места в существующем обществе, они обречены на смерть зачастую еще до рождения и гибнут, показывая тем самым близкий конец того общества, которое, разлагаясь, приближает свою гибель, пожирая свое собственное будущее — детей. Тема гибели детей перерастает здесь в тему разоблачения порядков буржуазного общества, причем критика существующих буржуазных отношений ведется не с позиций народничества, рассуждавшего о том, станет ли Россия капиталистической или пойдет «особым путем». Для Д. Н. Мамина этот вопрос уже решен: он рассматривает капиталистические отношения в России не как возможный, а как уже закономерно свершившийся факт и критикует порядки уже сложившегося буржуазного мира с демократических позиций, что

было характерно для всего просветительского направления в литературе 90-х годов.

В «Детских тенях» писатель дает нам целый ряд на первый взгляд не связанных между собой картин: ложное, двусмысленное, бесправное положение бедной швеи, имеющей незаконного ребенка, закономерно приводит к смерти ее малыша («Аннушка»); обречена на медленную голодную смерть дочь кормилицы, потому что нужда заставляет ее мать поступить на выгодное место, бросив своего ребенка («Живая совесть»); умирает дочь видного петербургского ученого, став жертвой семейной трагедии брака «по расчету» («Соломенная девочка»); умирает маленькая Таня, отец и мать которой отдали все силы, талант, молодость в обмен на карьеру. «Разве такие люди могут иметь здоровых детей? Ведь с ранней юности я жил одними нервами...»³. «...Мы живем за счет своих детей...»⁴, — говорит отец Тани («Он»); а у действительного статского советника Ивана Петровича Самойлова карьера отняла даже возможность семьи. Только детские тени, те, кто мог бы жить и радоваться, тревожат одинокого холостяка («Папа») и т. д. (всего семь рассказов). Как видно, Д. Н. Мамина интересует здесь не материальная, экономическая, правовая сторона вопроса, как, например, Н. Г. Гарина в его серии рассказов «Деревенские панорамы», где также показывается разорение и гибель семьи, прежде всего детей, в результате обнищания и разорения деревни... О какой материальной необеспеченности может идти речь в рассказе «Он»? Или о социальном неравноправии «его превосходительства»? Мамин пытается подойти шире: гибнут не отдельные представители необеспеченных слоев населения, а идет к своему концу все общество, живущее за счет своих детей.

Подходя с психологической, моральной точки зрения к данному социальному процессу, Мамин старается остановить внимание читателя не столько на физической, «материальной» смерти от голода, холода и пр. (это тоже имеет место, например, в рассказах «Аннушка», «Господин Скороходов»), сколько на моральной гибели героев.

Это своеобразие «морального» подхода рельефнее проявляется при сопоставлении серии Д. Н. Мамина-Сибиряка «Детские тени» с серией рассказов Н. Г. Гарина-Михайловского «Деревенские панорамы», которые были напечатаны в «Русском богатстве» всего на несколько месяцев позднее («Детские тени» — 1892-1893 гг., «Деревенские панорамы» — 1894 г.).

Н. Г. Гарин берет в своих «Деревенских панорамах» один вопрос: разложение, расслоение деревенской общины на кулаков-мироедов и бедняков, за счет которых живут кулаки. Писателя, который лишь недавно провел «несколько лет в деревне» и на собственном горьком опыте познал весь ужас разложения и гибели деревни и, прежде всего, общины, «отданных на поток и разграбление капиталу», интересует этот один вопрос. Он понимает, что это социальное бедствие общинной деревни в целом, и рисует общину в рассказах «На селе», «Матренины деньги». Здесь главный герой рассказа — деревенский «мир», деревня, а не конкретная семья или личность. Даже в рассказах, посвященных одному лицу («Бабушка Степанида», «Акулина», «Дикий человек»), Гарина интересует лишь то общее, типическое в судьбах деревни, что отразилось в данной единичной судьбе. Рисуя конкретную личную дра-

³ Д. Н. Мамина-Сибиряка, Детские тени, Русское богатство, 1893, № 3, стр. 11

⁴ Там же, стр. 12.

му данного героя, автор останавливает внимание главным образом на том, что повторяет судьбы других тысяч «акулин», «матрен» и т. д. Все личные, необычные, психологические, индивидуальные черты отодвинуты на второй план, так как перед общим законом расслоения деревни в равном положении и красивые и некрасивые, и робкие и нахальные и т. д. Дело не в отдельной психологической или иной особенности человека, а в общем законе — это подчеркнуто обобщенностью образа в каждом рассказе Н. Г. Гарина.

У Д. Н. Мамина мы видим в каждом рассказе индивидуальную, очень личную драму. (Нетипичен «его превосходительство», не создавший семьи в погоне за карьерой; чисто психической обостренностью организма объясняется смерть «соломенной девочки», заплатившей жизнью за распадение семьи родителей, и пр.). Каждый рассказ вызывает у читателя мысль о том, что данное явление может быть, но встречается не часто. Везде на первый план вынесено личное, нетипичное, индивидуальное, что, несомненно, снижает социальную значимость отдельного рассказа. Но эта слабость неожиданно оборачивается исключительной силой обобщения и социально направленного протеста, когда отдельные рассказы объединяются в общий цикл. Только в результате объединения становится ясен основной замысел рассказов — обреченность данного общества, живущего за счет детей. Все эти неповторимые, отдельные судьбы подводятся под один итог. Из непохожих, неповторимых, не зависящих, на первый взгляд, от общества единичных жизней складывается жизнь общества, и лишь в этом обобщении становится ясной закономерность той или иной отдельной судьбы. Социальная значимость цикла приобретает большую широту и силу, проигрывая в звучании отдельных рассказов.

Подобная же «индуктивная» структура свойственна и отдельным рассказам Д. Н. Мамина этого периода — «Враг», «У теплого моря».

Аналогично различие и в подходе к раскрытию трагизма отдельной ситуации. Если Н. Г. Гарин видит апогей гибели семьи Акулины в ее обреченности на голодную смерть, то Д. Н. Мамина волнует факт моральной смерти ребенка, который в семь лет уже способен на любую подлость, на издевательство над родителями, предательство, интриги, разврат (рассказ «Сусанна Антоновна»). Именно этот моральный ущерб интересует Мамина, описывающего в рассказе «Тот самый, который...» родителей, желающих с нетерпением смерти своего собственного здорового ребенка потому лишь, что он «незаконный», и только смерть его может развязать узы противоестественно связанной семьи. Акулина тоже желала смерти своих детей и с благодарностью думала о рано умерших младенцах, которые недолго «помучили» ее. Но в данном случае ею руководил материнский инстинкт, требующий прекратить страдания ребенка, и в ее наивной благодарности звучит подлинный гуманизм.

Подобный психологический подход к раскрытию больших социальных тем характерен для творчества Мамина-Сибиряка тех лет. Как реакция на огромное количество рассказов третьестепенных писателей, где обязательно «выводились» «типичные» кухарки, горничные, благородные интеллигенты и т. д., проявляется его стремление раскрыть «неизведанные душевные глубины, куда, вероятно, не проникает никогда самый пытливый человеческий ум»⁵.

⁵ Д. Н. Мамина-Сибиряк, Падающие звезды, М., 1900, стр. 306.

Моральная, психологическая сторона процесса должна подводить и подводит нас к социальному выводу.

Анализируя последующие рассказы Д. Н. Мамина, мы можем проследить отмеченный выше переход отдельной темы, ситуации из рассказа в рассказ. Так, рассказ «Враг», напечатанный в 11—12 номерах «Русского богатства» за 1895 г., раскрывает ту же тему, что и ранний рассказ «Живая совесть» (положение кормилицы и ее ребенка, и, главное, тему смерти, которой жаждут окружающие и родители для еще не родившегося ребенка, так как она развяжет и освободит родителей). Последний мотив, в той же трактовке, лишь с несколько изменившейся внешней обстановкой, и в романе «Падающие звезды» (смерть мисс Мортон и ее ребенка). Иногда есть даже текстуальные совпадения.

Подобным же образом можно проследить связь цикла «Медовые реки», напечатанного в 1900—1901 гг. в «Русском богатстве», с романом «Падающие звезды», напечатанным там же в 1899 г. Здесь уже мы имеем дело с обратным процессом, когда тема, затронутая лишь вскользь в романе, находит более полное раскрытие в рассказе.

Речь идет об образе Шипидина из романа «Падающие звезды» и связанной с ним теме «продолжения традиций молодости» 70-х годов (действие происходит в 90-е годы, а герою уже за 40!) и, главное, охладнения, перерождения в мещанина когда-то «передового», «мыслящего» человека. Однако эта тема в романе проходит мелководно. Автор сообщает нам, что Шипидин приехал из деревни, «разыскивая кое-кого из старых знакомых». Он приходит к бывшим сокурсникам: Петрову, ставшему «его превосходительством», однофамильцу, преуспевающему детскому врачу Шипидину, спившемуся чиновнику Ивану Петровичу, учителю гимназии... «Друзья расстались чуть не врагами, обвиняя друг друга в непонимании. Шипидин не был в Петербурге лет пять и был особенно огорчен: и он не понимал, и его не понимали, а в результате из «наших» получались чужие люди. Да, это были настоящие обломки разбитого корабля...»⁶.

В рассказе «В одно море, к одному человеку, по одному делу», само название которого является фразой Шипидина, именно этими словами отвечающего на вопрос, где он был⁷, мы встречаем ту же тему: бывшая курсистка приезжает в Петербург после 15-летнего отсутствия. Из старых знакомых она находит лишь одну бывшую курсистку, теперь доктора медицины и «типичный экземпляр старушенций от либерализма в отставке», да Петьку Ветра, ставшего модным дамским врачом. Трагедия разочарования здесь намного полнее и сильнее. Петербург «казался ей сейчас громадным кладбищем, в котором для нее лично было похоронено столько хорошего, честного, святого... Но всего тяжелее были эти живые покойники, которые продали за чечевичную похлебку успеха свое недавнее первородство... оставалась верной идеалам юности очень небольшая кучка людей, забившихся по своим углам...»⁸. Как Шипидин, Анна Гавриловна встречается и с молодежью, но чувствует, «что она совершенно чужая среди этой молодежи...»⁹.

Тождественность темы и ее трактовки подчеркивается даже идентичностью образа «бывшего друга», преуспевающего врача. Самой

⁶ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды, М., 1900, стр. 74.

⁷ Там же, стр. 122.

⁸ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Медовые реки, Русское богатство, № 10, 1900, стр. 175.

⁹ Там же, стр. 178.

яркой его характеристикой является собственный экипаж. «Кучер — какое-то чудовище и на спине у него часы»¹⁰. Та же характеристика и в «Падающих звездах»: «великолепный рысак с кучером-чудовищем. у которого на спине были прикреплены к поясу круглые часы»¹¹.

Нет необходимости приводить дальнейшие примеры совпадения тем, художественных образов, отдельных деталей. Подробный текстуальный анализ вышеупомянутых рассказов и романов позволяет рассматривать эти произведения не как нечто изолированное, а как единую группу произведений, характеризующих определенный этап в творчестве писателя. Причем мы можем рассматривать их как единый комплекс не только с идейно-тематической, но и художественной точки зрения.

Романы Д. Н. Мамина «Черты из жизни Пепко» и «Падающие звезды» нужно рассматривать не только как художественные произведения, но, прежде всего, как своеобразные теоретические работы, освещающие взгляды писателя на целый ряд вопросов творчества. Основную ткань романов представляет повествование о людях творческого труда: о мелких журналистах-газетчиках в «Чертах из жизни Пепко» и о выдающемся скульпторе в «Падающих звездах». Сама задача изображения «мира литературы» и «мира искусства» ставит писателя перед необходимостью высказать свою точку зрения, свое отношение к целому ряду злободневных вопросов в современном искусстве, объявить свое «кredo». В этом убеждает нас автобиографичность романа «Черты из жизни Пепко», на которую неоднократно указывали исследователи, совпадение отдельных мыслей, высказанных в романах, с мыслями, высказанными писателем в личных письмах, и несомненное сходство главного героя романа «Падающие звезды» скульптора Бургардта с самим автором. Об этом сходстве говорят, например, такие детали: у Бургардта единственная дочь Анита, воспитывающаяся без матери под руководством гувернантки, которая выполняет в доме роль хозяйки, тождественность отдельных привычек и, главное, совпадение отдельных мыслей героя с мыслями автора, что дает возможность последнему без натяжки высказывать свое отношение к тем или иным проблемам словами своего героя.

Вызывает недоумение судьба этих романов, почти не изученных нашими литературоведами. О романе «Черты из жизни Пепко» мы находим в обстоятельной и полной книге А. И. Груздева о творческом пути писателя лишь несколько строк, где указывается на наличие в нем автобиографического материала и «интересных мыслей о значении и сущности искусства»¹². В этой же книге имеется краткое высказывание о романе «Падающие звезды», где он характеризуется в ряду других произведений Д. Н. Мамина из жизни интеллигенции, в которых проявились «народнические нотки».

Несколько сомнительно причисление последнего романа к произведениям, в которых выражена народническая тенденция.

На первый взгляд, кажется возможным высказать такое соображение, к чему в частности располагает и то, что «Русское богатство», на страницах которого появился роман, принято считать в целом органом либерального народничества. Однако так рассматривать образ Шипидина нам кажется не совсем верным.

¹⁰ Там же, стр. 174.

¹¹ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды, М., 1900, стр. 68.

¹² А. И. Груздев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, М., 1958, стр. 150.

Шипидин — типичный народник 90-х годов, видящий в городском населении лишь «отбросы настоящей деревни», зовет интеллигенцию «в те глухие деревушки, где прозябал настоящий... русский человек», указывая, что единственное, «для чего стоит жить, так это именно для этого великого в своей исторической бедности народа, гиганта в лохмотьях». Сын разорившегося генерала, получивший обычное дворянское воспитание и образование, он бросает «привилегированную колею» и уходит в деревню, где обрабатывает землю «своими руками», ведет образ жизни «мужика с мешком», устраивает рабочую артель и пр. В романе он положительный герой, своего рода «совесть» Бургардта, человек, который противопоставлен богеме, окружающей скульптора. В трудные минуты жизни Бургардт чувствует, как не хватает ему этого «принципиального человека». Шипидин же «спасает» скульптора, увезя его в деревню в тот период, когда он, поняв бесплодность своих усилий художника, находится в состоянии прострации и упадка.

Однако Мамин очень далек от того, чтобы представить путь народника Шипидина как действительно положительную программу действий. Автор в данном случае лишь повторяет уже указанный нами выше мотив сопоставления человека, пытающегося сохранить в душе искренность идеалам юности, с людьми, изменившими этим идеалам во имя карьеры.

Каковы результаты многолетней работы в деревне этого образованного, передового человека? «В моей работе есть нравственный смысл, — говорит Шипидин. — Уметь своими руками заработать свой кусок хлеба — великая вещь, и заработать настоящим... тяжелым трудом»¹³. Единственное его реальное достижение — это «мое хозяйство имеет такое же значение, как и крестьянское...»¹⁴. Но Д. Н. Мамин лишает своего героя этого последнего кажущегося ему достижения. Он показывает, что это не крестьянское хозяйство. «Ведь... ты, в сущности, ведешь только фермерское хозяйство... А ты запишись в настоящие мужики, войди членом в настоящую мужицкую общину, вози станового и исправника, отбывай повинность какого-нибудь старосты — вот это будет последовательно», — говорит Шипидину его бывший товарищ, защитник теории «малых дел». И Шипидин ничего не может возразить на эти упреки, кроме того, что «и фермерское хозяйство тоже нужно». «Ведь и наша деятельность тоже нужна... у нас и ремесленные школы, и школьные летние колонии, и приюты, и санатории»¹⁵, — подводит итог сравнения собеседник. Шипидин ничем не может доказать отличие своего «крестьянского» (фермерского) хозяйства от других «малых дел» типичного интеллигентского обывателя, разве что пытается найти в нем «нравственный смысл» самоусовершенствования. Писатель, скептически относившийся к либеральной возне вокруг «оздоровительных летних колоний, приютов» и пр., отрицал и ту линию народничества, которая примыкала к толстовскому учению, приравнивая последнюю к первой. Подчеркивая мизерность достижений Шипидина, писатель показывает, что не только Бургардт, но даже восприимчивая Анита не поддается призывам Шипидина, несмотря на то, что он «говорил... так увлекательно...»¹⁶.

Чтобы показать шаткость позиций Шипидина, Мамин привлекает и свою любимую «детскую тему». Шипидин раздумывает над тем, прав

¹³ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды, М., 1900, стр. 73.

¹⁴ Там же, стр. 74.

¹⁵ Там же, стр. 73.

¹⁶ Там же, стр. 330.

ли он, заставляя своих детей отречься от культуры, образования и пр. и продолжать дело «крестьянского хозяйства» отца? Ведь в вопросе — захотят ли дети жить так же, как и я? — скрыт более важный вопрос — продолжит ли мое дело будущее поколение, верен ли путь, по которому я иду? Шипидин не находит ответа в своих раздумьях.

Интересна и концовка романа — переезд в деревню исцеляет нравственно страдающего Бургардта, но он переезжает в деревню не как идейный последователь Шипидина, который работает «сам со своей семьей» и ведет «крестьянское хозяйство». Бургардт ведет свое хозяйство иначе. По словам его жены, они — «настоящие помещики»¹⁷. В этой концовке, вероятно, правильнее видеть не народническую проповедь, а утверждение оздоровляющего действия природы в противоположность развращающему действию города. Этот мотив, имеющий специфическое звучание в народнической проповеди, свойствен и писателям, очень далеким от народничества, как, например, А. И. Куприну в его рассказах этого времени («Без названия», «Лесная глушь»), где он «развивает... мотив противопоставления городской суеты простой и мудрой жизни на лоне природы»¹⁸. Противоречит народническим взглядам, трактующим интеллигенцию как внеклассовую группу в обществе, и основная тема романа — зависимость художника в буржуазном мире от мецената.

Отрицательная оценка, данная в свое время А. М. Горьким роману «Падающие звезды», явилась причиной невнимания к нему позднейших исследователей. Роман по своим художественным качествам действительно уступает уральским произведениям писателя, что сказалось, например, в повторяемости художественных образов, деталей и текстуальных совпадениях. Однако романы «Падающие звезды» и «Черты из жизни Пепко», бесспорно, должны привлечь внимание исследователя как воинствующая проповедь реализма и народности в искусстве в период все обостряющихся нападков на реализм представителей «нового искусства» декадентов.

Роман «Падающие звезды» вводит нас в «мир искусства» конца XIX века. В нем упоминается о «целом ряде больших художников... Репине, Верещагине»... о декадентах, символистах, плейнеристах и их «новшествах»; герои романа — артисты, критики, художники — не остаются равнодушными к той борьбе в искусстве, которая шумит за пределами романа и, как в зеркале, отражается в нем. Они спорят, обсуждают, стремятся найти свою точку зрения. Д. Н. Мамин не остается безучастным описателем их споров. В уста Бургардта и Шипидина автор вкладывает часто свои мысли о судьбах искусства.

Именно на примере Бургардта Д. Н. Мамин ставит проблему зависимости художника в современном обществе от страшного зла меценатства. Цель искусства, — утверждает все критикующий и наживающийся на этом дешевую популярность Саханов, — «чтобы меценат заржал от удовольствия... Глубоко растлевающее влияние меценатов именно и выразилось в этом стремлении художников рисовать и лепить именно голую женщину...»¹⁹. Возмущенный вначале резкостью выражений Саханова, Бургардт позднее приходит к выводу, что в этом есть доля правды, и сознает, что и он сам, имевший громадный успех, тоже повинен в этом. Ведь барельеф Марины Млишек особенно занимает

¹⁷ Там же, стр. 351.

¹⁸ В. Н. Афанасьев, А. И. Куприн, М., стр. 36—37.

¹⁹ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Падающие звезды, М., 1900, стр. 209.

его потому, что эта вещь интересует крупного промышленника Красавина: он купил оригинал (молоденькую натурщицу Шуру-Ню) и желает теперь приобрести копию. «Конечно, дело тут не в искусстве, а в Ню, которую Красавин желает получить увековеченной в мраморе»²⁰. Однако именно эта работа отнимает так много времени и сил у Бургардта, и она же одновременно губит его: в ней более всего проявляется его упадок — «деревянность» позы и пр.

Проблему творческой гибели художника, разменявшего талант на крохи успеха у «избранной» публики, Д. Н. Мамин ставит в то время, как представители «нового» искусства открыто становились прислужниками кучки разбогатевших, скучающих меценатов и, материально завися от «покупателя», стыдливо и лицемерно прикрывали свою службу рассуждениями о «свободном искусстве», якобы стоящем над обществом, чернью и доступном только избранным.

Выпадом против декадентов, утверждавших, что искусство недоступно широким массам, является спор Саханова, говорящего: «Приведите свежего, нетронутого человека и покажите ему Рубенса или Канову — он отвернется...»²¹, и Шипидина, доказывающего обратное.

В широкой публике видит своего судью и Бургардт: «удивительно, как в массе публика оценивает верно... судит вот эта масса...»²². Именно это имеет в виду Шипидин, когда утверждает, что далеко не все художники творят искусство как «фантазию... пресыщенного человека». «Есть другое искусство, серьезное, идейное, глубокое, которое освещает нам жизнь, как путеводный маяк. Я укажу без комплиментов на нашу русскую школу... Наши художники, не все, конечно, делают большое и хорошее дело, пока не подлаживаются ко вкусам толпы и капризам меценатов. Не буду называть имен — они известны слишком хорошо всем...»²³. Высказанные здесь мысли целиком совпадают со взглядами Мамина-Сибиряка, сформулированными в известном письме к брату от 3 марта 1884 г. В этом письме он прямо выступает против «порнографически-эстетических требований» публики и требует от искусства изображения судеб народа, так как народ является подавляющей девяти-десятиmillionной массой сравнительно с тонкой и ничтожной салонной пенкой. Этот принцип народности искусства провозглашен в романе устами Шипидина: «...знаете, это хорошо, что вы выбрали первой темой именно человека Андрея», — говорит он начинающему скульптору Гаврюше, — «Ведь это громадный класс людей»²⁴. Неслучайно лучшими работами Бургардта оказываются барельеф преподобного Сергия «в тот момент, когда он благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем», и поясной портрет «простецкой бабы» Ольги Спиридоновны.

Та же тема меценатства ставится и в романе «Черты из жизни Пепко». Однако если в «Падающих звездах» это одна из основных тем, то в «Чертах из жизни Пепко» она рассматривается в числе других проблем искусства в современном обществе. Весь роман посвящен изображению становления и роста писателя, потому автор очень много внимания уделяет вопросам психологии творчества, значения языка и описаний в художественной ткани произведения, композиции и пр. Основная же тема — тема реализма, верности изображению действию

²⁰ Там же, стр. 89.

²¹ Там же, стр. 81.

²² Там же, стр. 344.

²³ Там же, стр. 82—83.

²⁴ Там же, стр. 309—310.

тельности. Это вполне понятно, если учесть, что роман был опубликован в журнале «Русское богатство» в 1894 году. Роман полемически заострен против разнообразных врагов реализма.

Едкой сатирой звучит упоминание о стихотворных опытах одного из героев, подрабатывающего в трудную минуту писанием стихов на заказ. Д. Н. Мамин замечает, что, создавая стихи, где «даже смысла не пужно», а необходимо только «чтобы ударение приходилось на буквы «а», «о» и «е», автор и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов»²⁵.

Не менее метко охарактеризована и бульварная литература, для которой «название — все... «Огненная женщина», «Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя заперло дух от одной обложки...»²⁶ — делится опытом типичный делец, составивший себе капитал на издании подобной литературы. От таких произведений ничего не требуется, кроме «закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки»²⁷.

Однако основное, с чем борется писатель, — это мелкотравчатая литература, никогда не поднимавшаяся до подлинного раскрытия жизни, но охотно описывавшая картинку быта и нравов. Большое количество подобных произведений появлялось в 90-е годы в различных изданиях, проникали они и в толстые журналы, в частности, в «Русское богатство». Разнообразна тематика этих рассказов, но однообразен подход писателя, идущего от модного передового «вопроса» или «теории» и подгоняющего под эти рамки типичные картинки из жизни. Здесь и бедные добродетельные, и соблазненные горничные и швеи, погубленные опустошенными и пресыщенными светскими щеголями (напр., Е. О. Дубровина, «В ночлежном приюте», № 10, 1892 г.), простые солдаты, мужики, кухарки, которым тоже, оказывается, свойственны человеческие чувства (О. Шапир, «Авдотьины дочки», № 11—12, 1898 г.; Н. Арский, «Солдат и тетушка», № 11, 1893 г.) и даже благородные светские дамы, занимающиеся устройством больниц и школ (А. Вербицкая, «Пробуждение», № 10, 1894 г.; А. Винницкая, «Бобровая шапка», № 9 1895 г.). Именно подобные произведения имел в виду А. П. Чехов, писавший в «Июныче» в 1898 г. о романе Веры Иосифовны, где говорилось «о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки... о том, чего никогда не бывает в жизни...»²⁸. Д. Н. Мамин также видит основной недостаток неудачного произведения своего героя в том, что «действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда — собственно героев и мерзавцев по преимуществу»²⁹. «Придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди»³⁰, «чтобы получались живые люди, которых можно видеть, с которыми можно разговаривать, как с живыми людьми»,³¹ — неоднократно повторяет Д. Н. Мамин, требуя, чтобы писатель шел не от готовой схемы, коллизии, шаблона, а от непосредственной, живой и выстраданной ситуации. Своеобразной реализацией

²⁵ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Черты из жизни Пепко, М., 1958, стр. 61.

²⁶ Там же, стр. 135—136.

²⁷ Там же, стр. 139.

²⁸ А. П. Чехов, Рассказы, М., 1953, стр. 190.

²⁹ Д. Н. Мамин-Сибиряк, Черты из жизни Пепко, М., 1958, стр. 56.

³⁰ Там же, стр. 133.

³¹ Там же, стр. 104—105.

последнего творческого принципа, как и творческой системы взглядов в целом, является рассказ «У теплого моря», написанный им в 1898 г., уже на склоне большого творческого пути.

Писатель ставит в этом рассказе две очень распространенные в те годы темы: тему служения искусству и тему «босняков». Тема «семья или сцена» может быть названа традиционной темой русской литературы XIX в. К ней обращаются и А. И. Герцен («Сорока-воровка»), и А. Н. Островский («Таланты и поклонники»), и А. П. Чехов («Чайка»), не говоря уже о целом ряде произведений второстепенных писателей на ту же тему. Д. Н. Мамин решает ее очень своеобразно, выступая одновременно против шаблонности ее трактовки. Проследим кратко содержание рассказа, к чему нас располагает и тот факт, что рассказ не включался в собрания сочинений писателя и потому мало известен.

Первые три главы рассказа, по сути дела, служат развернутой экспозицией, в которой дается довольно подробная зарисовка быта «босняков», портреты типичных пропойц Замерзавца и солдата Орехова и рядом с ними доктора Жемчугова, такого же, как и другие.

Неожиданной завязкой рассказа, прерывающей описание жизни «дна», является встреча доктора с его бывшей женой, «барыней в красной шляпе и с красным зонтиком», которая подала его товарищам милостыню. Эта резкая неожиданная деталь, вслед за которой идет описание «другого» Жемчугова в то время, когда он «учился в медицинской академии», служил «военным врачом» и имел собственный «докторский» экипаж, заставляет читателя воспринимать все дальнейшее повествование о «скромном и серьезном земском враче» как бы на фоне только что описанной сценки из жизни «отверженных», непрерывно имея перед глазами его сегодняшний облик: «добродушное русское лицо опухло от пьянства, воспаленные глаза слезились, руки тряслись»³². Вспыхнувшее таким резким контрастом повествование затем тускнеет, приобретает спокойный характер. Автор сознательно как бы следует традиционному раскрытию традиционного же конфликта: молодая, образованная, интересная женщина, задыхающаяся в провинциальном болоте и тянущаяся к какой-то иной большой интересной жизни, бросает горячо и беззаветно любящего ее простого человека и поступает на сцену, становится актрисой, так как для нее «Сцена это все... жизнь, счастье, любовь...»³³. Трагедия Жемчугова близка трагедии Мелузова, Треплева... Описание первой встречи доктора с Клавдией Григорьевной и последующее повествование ведется в повышенно чувствительном сентиментальном тоне. Увидев «спившегося субъекта» Клавдия Григорьевна была поражена произошедшей за семь лет перемены. «Ей вдруг сделалось страшно жаль вот этого погибшего из-за нее человека, который ее любил». Она «глухо рыдала», глядя на него, затем «не могла спать всю ночь», «неожиданная встреча с мужем для Свирской являлась своего рода днем итога»³⁴. «О, я его спасу!» решила она. Доктор страстно откликается на ее попытку. «Ему хотелось плакать, хотелось сказать Клавдии Григорьевне, какая она хорошая, чистая, красивая...»³⁵, «чудная женщина, которую знал только он»³⁶.

³² Д. Н. Мамин-Сибиряк, У теплого моря, Русское богатство, № 10, 1898, стр. 7.

³³ Там же, У теплого моря, стр. 20.

³⁴ Там же, стр. 29.

³⁵ Русское богатство, № 11, 1898, стр. 7.

³⁶ Там же, стр. 10.

Все отчетливей выступает перед читателем этот образ благородной героини, спасающей погибающего, представительницы богемы, которая «совсем не походила на актрису». Она трогательно заботится не только о докторе, но и о его друзьях-золоторотцах, делает им подарки и даже приглашает их к себе «разговеться» в пасхальную ночь. «Они такие же люди, Шура», — говорит она горничной, «по-русски» похристосовавшись со всеми, «хотя предварительно и намазала губы помадой». Отдельные недомолвки, слухи о ее поведении беспокоят доктора, но она объясняет их как «печальное неудобство нашей профессии», и автор до времени не фиксирует внимание читателя на этих неувязках.

Выздоровление быстро подвигается вперед. Доктор уже меньше пьет, занимается научной работой, появляется даже его статья в одном из журналов. Чувствительная история о «благородной даме» получает благополучную сентиментальную развязку так же, как во многих рассказах того времени. Поставив в начале рассказа вопрос о причине «босьячества» и нарочито дав посылку, что причиной его является «утрата душевного равновесия» в результате чисто субъективной личной трагедии (не сошлись характерами: ему — семья, а ей — сцена), писатель доказывает, что раз причина этого большого объективного социального зла субъективна, зависит от личного характера и т. п., то и исправление этого зла возможно теми же субъективными, личными путями: благородная дама раскаялась и решила сделать добро. И вот уже босьяк возвращается к нормальной жизни.

Что именно так трактовались и решались большие социальные вопросы того времени проповедниками теории «малых дел», легко проследить на рассказах, помещенных в том же «Русском богатстве». Например, в рассказе Е. Шелеметьевой «В приемыши», показав, как гибнет в нищете семья цветочницы, автор указывает чисто субъективную причину ее: у цветочницы муж — пьяница. Нет социального зла, нет несправедливости существующих порядков, закономерно ведущих к разорению целых групп населения, а есть лишь субъективная причина гибели отдельных людей: пьянство, как личный порок, в данном случае. И данное субъективное зло устраняется также субъективным путем: бездетная богатая дама берет на воспитание одного из двух детей цветочницы. Со временем ему достанутся и дом, и имение... А оставшегося одного ребенка вырастит и цветочница, благо он от природы «бойкенский». Здесь налицо именно то деление героев на «два разряда — собственно героев и мерзавцев по преимуществу», обусловленное желанием подогнать жизнь под определенные «идеи», т. е. своеобразная смесь «придумывания жизни» с «фотографиями», против которой восставал Д. Н. Мамин в своем романе «Черты из жизни Пепко». Подобным же образом, исходя из теории «малых дел», из идей, сложившихся заранее в голове автора, решали социальные конфликты и другие писатели, упомянутые нами выше.

Такое решение было ложью, обернутой в красивую золотую бумажку, и Д. Н. Мамин блестяще показывает это в своем рассказе, давая вслед за первой, благополучной, вторую, настоящую развязку. Тут-то и вскрывается «двойное дно» рассказа.

В момент пасхального идиллического чаепития к Клавдии Григорьевне неожиданно вваливаются две темные личности, брат артистки и ее любовник, пьяницы и шантажисты, связанные с ней какими-то темными делами. Идиллия чаепития рушится, а через две страницы рушится и вся идиллия «добрых дел благородной дамы», так ловко склеенная ложью Клавдии Григорьевны. Подвыпивший, разоткровен-

ничавшийся брат Андрей показывает неприглядное лицо сестры. Это страшный хищник современного мира. Как говорит Андрей, про ее дела «разболтать есть что... О, она ловко вела свои дела... Патентованные кокетки перед ней глупые дети... В ней сказался хищнический инстинкт вырождающегося животного»³⁷. Клавдия и Андрей — последние представители угасающего дворянского рода Ковровых — Свирских. «Вырождающаяся семья... У нас был большой род... и... все вымерли... Погибали прежде всего мужчины... водка, сифилис, наследственные болезни... Женщины живучее, хотя у них вырождение сказалось в другой сфере... была одна чуть не Мессалина...»³⁸. Это вырождение не одной семьи, а разложение целого класса, бывшего когда-то передовым и занимающего и по се время привилегированное положение.

И здесь Д. Н. Мамин подходит к объективно-социальному решению конфликта. При существующих порядках, при убыстрении и активизации жизненных процессов в обществе в связи с развитием капитализма, убыстряется и процесс гниения, разложения его верхушки. Для этих людей, морально опустошенных, уже нет ничего святого: брат шантажирует сестру, грозя выдать ее тайны. Сестра создает себе состояние развратом. И, что ужаснее всего, все это прикрыто ложью: «Клавдия всегда умела остаться порядочной и чистой женщиной...»³⁹. И «спасение» погибшего мужа, и молитва в церкви, и пасхальное чаепитие «со смирением строгой монастырской послушницы», и искусство — все это лишь средство «сохранить лицо порядочной женщины». «Кто будет обвинять артистку за одно лишнее увлечение? Другим женщинам это не прощается...»⁴⁰. В этом свете становится понятен смысл и ранее сказанной Клавдией Григорьевной фразы: «Сцена — это все... жизнь, счастье, любовь». Негину в «Талантах и поклонниках» тоже влечет на сцену: «А если талант... Если я родилась актрисой... Если б я и вышла за тебя замуж, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за малейшее жалование, да только б на сцене быть. Разве я могу без театра жить...» — в этих словах подлинная правда героини. У Островского тема «семья или искусство» звучит как противопоставление обыденной жизни подвигу служения святому искусству. У Мамина эта же тема осложнена темой упадка искусства в конце XIX века, при котором старый вопрос «искусство или семья» стал звучать для многих его служителей иначе: «искусство или обогащение посредством искусства». В этом отношении он сближается с А. П. Чеховым, который за два года до этого показал искания Заречной и Треплева именно в конкретных условиях кризиса русского искусства конца XIX века. У Мамина так же, как и у Чехова, мы видим стремление показать через личную драму героев социальные причины этой личной драмы. Он показывает большие социальные процессы через психологическое раскрытие личной трагедии героя. Этот же прием — от психологического, индивидуального к социальному обобщению — является ведущим и в анализированном выше цикле «Детские тени», и в ряде других произведений писателя 90-х годов.

³⁷ Д. Н. Мамин-Сибиряк, У теплого моря, стр. 30.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

ДОБРОЛЮБОВ О ШЕКСПИРЕ (Навстречу юбилею Шекспира)

В. П. Оводенко

В апреле 1964 года исполняется 400 лет со дня рождения великого английского драматурга Вильяма Шекспира. Оценка его творчества в прошлом представляет большой интерес и для нашего времени.

Известно, что Пушкин и русские революционные демократы, всегда выступавшие глубокими ценителями и убежденными пропагандистами лучших достижений мирового художественного творчества, проявляли к произведениям великого английского драматурга живой интерес и самое пристальное внимание. Шекспир был им близок своей глубокой народностью и реализмом, историческим оптимизмом, верой в человека, в конечное торжество гуманистических идеалов. Отзывы русских революционных демократов о Шекспире стоят на высоком уровне критической мысли, являясь крупным достижением в домарксовской науке; они знаменуют очень важный этап в истории мирового шекспиrowедения.

Достойное место среди этих отзывов занимает оценка Шекспира в критике Добролюбова. Правда, для него творчество английского драматурга никогда не служит непосредственной темой исследования, и он говорит о нем всегда попутно. Тем не менее немногие строки Добролюбова о Шекспире, написанные им в самой различной связи, в методологическом и историко-литературном отношении представляются весьма значительными.

Что касается рецензии «Шекспир в переводе г. Фета», напечатанной в июньской книжке «Современника» за 1859 год, ранее приписывавшейся Добролюбову и включавшейся в собрание его сочинений, то ошибочность этой традиционной атрибуции ныне с достаточной убедительностью доказана наукой¹.

Раннее знакомство Добролюбова с произведениями английского драматурга фиксируют дошедшие до нас и хранящиеся в рукописных

¹ См. об этом: В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л., Гослитиздат, 1936, стр. 306 (здесь ошибочно указано, что статья напечатана в июльской книжке журнала); Полн. собр. соч. Добролюбова, т. II, стр. 722 и т. V, стр. 578, а также В. Э. Боград, Журнал «Современник», 1847—1866. Указатель содержания, М.: Л., Гослитиздат, 1959, стр. 359—360 и 558.

Автором этой статьи, подписанной псевдонимом М. Лавренский, является переводчик Д. Л. Михаловский.

материалах Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом) так называемые реестры прочитанных книг, которые будущей критик вел с присущей ему аккуратностью с 1849 по 1853 г. Отдавая свои симпатии, как правило, писателям-реалистам, Добролюбов неизменно высоко отзывается о Шекспире. О его отношении к последнему можно, в частности, судить по следующему замечанию на водевиль Каратыгина «Отелло на песках или петербургский арап»: «Водевиль сам по себе порядочный. Но как осмелиться писать глупую пародию на великое произведение Шекспира? Это значит не иметь уважения ни к Шекспиру, ни к публике образованной и не иметь никакого вкуса. Это не делает чести Каратыгину»².

В отзывах Н. А. Добролюбова о Шекспире (их насчитывается свыше двух десятков) особенно ясно вырисовывается преимущество воззрений критика по отношению к взглядам Пушкина и Белинского на великого английского драматурга. Если отдельные мысли Пушкина о Шекспире были глубокими прозрениями в сущность его творчества, то высказывания Белинского, гораздо более систематические и подробные, послужили основой, на которой развивалось все дальнейшее изучение Шекспира в русской науке, видевшей в нем замечательного художника, правдиво изображавшего человеческие чувства и отношения.

Белинский посвятил Шекспиру не только замечательную статью «Гамлет», драма Шекспира, «Мочалов в роли Гамлета» (1838), но много раз возвращался к нему и в других своих работах: «Литературные мечтания» (1834), «О русской повести и повестях Гоголя» (1835), «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.³.

Для Белинского Шекспир служил знаменем в борьбе против классицизма, за реалистический путь развития литературы. В 50—60-е годы, к которым относится деятельность Добролюбова, борьба против канонов классицизма, еще актуальная во времена Пушкина и Белинского, была уже в прошлом. Но борьба за реалистическое направление в русской литературе не только не потеряла своего злободневного значения, а, напротив, приобретала еще более острые формы, осложнившись при этом новой боевой задачей дня — необходимостью разоблачения теории «чистого искусства», служившей либералам плацдармом для нападения на прогрессивную литературу.

Заняв позицию борьбы за принцип художественности и обвиняя демократическое крыло в попирании этого принципа во имя дидактики и «утилитаризма», критики-идеалисты традиционно пытались опереться на Шекспира, творчество которого они объявляли образцом «чистого искусства» и высшего художественного качества.

Все это говорит о том, что «спор» о Шекспире менее всего походил на академически-бесстрастные дебаты и постоянно переводился в план социально-эстетических отношений. В этих условиях объективная историческая оценка творчества английского драматурга критиками-демократами, помимо своего безусловного самостоятельного значения, приобретала и глубоко современный смысл: полемически направленная против ревнителей так называемого «чистого искусства», она входила составной частью в общую программу их борьбы за реализм и общественное назначение литературы.

² Архив Н. А. Добролюбова, Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, № 124/1952, УЩс.

³ См. статью М. М. Морозова «Белинский о Шекспире» (в его кн. «Избранные статьи и переводы», Госполитиздат, М., 1954, стр. 223—242)

Рволюционные демократы сумели увидеть бессмертную жизненную правду драматургии Шекспира, постигнуть огромное познавательное содержание его произведений, глубину проникновения в действительность, умение уловить в ней все самое существенное, силу его художественных обобщений и изумительный поэтический дар.

Добролюбов рассматривает творчество Шекспира прежде всего как выражение определенного этапа в истории общественного сознания его нации и всего человечества. Для него Шекспир — сын своего века, в произведениях которого ярко выразились ведущие силы великой эпохи, их породившей, огромное напряжение человеческого ума и воли, поря великих открытий и великих дерзаний. В то же время критик отчетливо сознавал, что своей художественной зоркостью, силой проникновения в сущность человеческих страстей и конфликтов, своими непревзойденными эстетическими и моральными ценностями шекспировское творчество выходит за рамки своей эпохи, заглядывая в будущее, улавливая и предвидя то, что тогда еще только приоткрывалось или зарождалось.

Эту мысль о Шекспире как о представителе культуры определенной эпохи, творчество которого вместе с тем приобрело мировое, общечеловеческое значение, Добролюбов убедительно выразил в своей статье «Луч света в темном царстве». И если для современного исследователя эти положения являются очевидными, то для Добролюбова в пору, когда научное шекспироведение находилось еще только в стадии зарождения, открытие их было возможно благодаря большой прощательности его ума и смелости критической мысли.

«В литературе, впрочем, — писал он, — являлось до сих пор несколько деятелей, которые... стоят так высоко, что их не превзойдут ни практические деятели для блага человечества, ни люди чистой науки. Эти писатели были одарены так богато природою, что умели как бы по инстинкту приблизиться к естественным понятиям и стремлениям, которых еще только искали современные им философы с помощью строгой науки. Мало того: истины, которые философы только предугадывали в теории, гениальные писатели умели схватывать в жизни и изображать в действии. Таким образом, служба полнейшими представителями высшей степени человеческого сознания в известную эпоху, и с этой высоты обозревая жизнь людей и природы и рисуя ее перед нами, они возвышались над служебной ролью литературы и становились в ряд исторических деятелей, способствовавших человечеству в ясном сознании его живых сил и естественных наклонностей. Таков был Шекспир. Многие из его пьес могут быть названы открытиями в области человеческого сердца; его литературная деятельность подвинула общее сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не поднимался и которые только были изданы указываемы некоторыми философами. И вот почему Шекспир имеет такое всемирное значение: им обозначается несколько новых ступеней человеческого развития» (II, 325) ⁴.

И в этом отношении Шекспир, по мысли критика, не имеет себе равных в истории литературы и стоит «вне обычного ряда писателей». Даже Данте, Гете и Байрон, имена которых «часто присоединяются к его имени», бесспорно уступают ему, потому что ни в одном из них не

⁴ Здесь и далее все ссылки на тексты Н. А. Добролюбова даются по Полн. собр. соч. в шести тт. (Гослитиздат, М., 1934—1941), с указанием томов (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

обозначалась так полно «целая новая фаза общечеловеческого развития, как в Шекспире» (там же).

Это высказывание Добролюбова очень часто упускалось из виду исследователями. Между тем для шекспироведа в нем заключен целый родник идей, усвоение которых не только приближает к пониманию подлинного Шекспира, позволяя глубже осмыслить его конкретно-историческое и мировое значение, но и дает действенное оружие для эффективной борьбы против идеалистических толкований великого писателя как представителя «чистого искусства» — искусства, лишенного примет времени и места.

Решительную отповедь получает также у Добролюбова «концепция» О. Миллера, в трактовке которого творчество Шекспира совершенно утрачивало свою историческую определенность, представляя для него интерес исключительно с точки зрения отвлеченных проблем нравственности.

В рецензии на диссертацию Миллера «О нравственной стихии в поэзии» («Современник», 1858, № 10) Добролюбов глубоко раскрыл всю искусственность теоретических построений и беспочвенность позиции автора, который, совершенно игнорируя анализ общественно-политических условий, кладет в основу оценки художественных произведений лишь моральный принцип, «поведение лиц, выведенных в них» (I, 441). Поскольку главным критерием истинной нравственности для Миллера является принадлежность к христианству, то, «бичуя и казая: немилосердно» языческую греческую поэзию, он милостиво признает Шекспира, в творчестве которого находит воплощение «полнейшего идеала нравственного совершенства» (I, 441). При этом аргументация Миллера, как это убедительно показал Добролюбов, лишена всякой научной основы. Миллер, например, утверждает, что христианство, «восстановивши падшую природу человека, возвысило и его поэзию» (там же) и что с наибольшей полнотой это якобы проявилось в произведениях английского драматурга.

Чрезвычайно важным в высказываниях Добролюбова по поводу работы Миллера представляется то, что, выдвигая в качестве главной предпосылки к подлинной науке понимание «смысла целой литературы» и ее отношения «к жизни у каждого народа» (I, 443), он распространяет это требование и на исследователей творчества Шекспира, в основу анализа которого должны лечь не отвлеченно-этические, а «эстетические и исторические соображения» (I, 441).

Так, формулируя идею синтеза исторического и художественного анализа литературных произведений, критик косвенно вновь наносил решительный удар по традиционным идеалистическим толкованиям шекспировских образов как внеисторических типов, носителей «извечных» нравственных начал, как «вневременных» характеров, лишенных признаков породившей их эпохи.

В неразрывной связи с этими вопросами находится и другая, не менее важная и острая проблема шекспироведения, в 50–60-е годы отражавшая самое существо идейной борьбы того времени. Это проблема так называемого объективизма и бесстрастия Шекспира, приницаемых ему либеральной эстетикой и критикой.

Для либералов «чистое искусство» означало искусство, проникнутое духом «гармонии», свободное от «тенденциозности» и «дидактизма», от подчинения «злободневным» идеям переходящим и угоду «вечным» законам красоты. Политический смысл этой теории несмысленно раскрывается именно в требовании примиряющего отноше-

ния к жизни, т. е. к русской действительности и ее крепостническим основам. Недаром политическая реакция с готовностью ухватилась за эту концепцию, которая отлучает литературу от идейной и политической борьбы, объявляя художника «свободным» от какого-либо гражданского долга перед народом и обществом. Когда подобные требования предъявлялись к современной литературе, то в пример при этом ставились преимущественно Шекспир и Гете (Дружинин, Боткин, Дудышкин, Алмазов и др.). Объявляя отчаянную войну идее общественного служения литературы, так называемому утилитаризму и дидактизму, эстетствующая критика пыталась апеллировать к авторитету великого английского драматурга, творчеству которого тенденциозно приписывался мирный, бесконфликтно-гармонический характер.

Еще Белинский в статьях «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» убедительно показал всю беспочвенность и несостоятельность такого идеалистического толкования произведений Шекспира.

Добролюбов не развернул большого теоретического спора по этому вопросу. Но отдельные беглые замечания, брошенные им в связи с решением проблемы тенденциозности искусства, не оставляют никакого сомнения в том, что критик решительно солидаризировался с Белинским во взглядах на Шекспира.

Добролюбов был далек от примитивного понимания тенденциозности и разрешал эту проблему очень глубоко. По его совершенно правильному убеждению, объективное изображение жизненной правды не только не исключает тенденциозности, пристрастия художника, а, напротив, органически включает ее в себя. У писателей, талант которых «чутко к жизненной правде», произведение может являться «выражением известной идеи» вовсе не обязательно потому, что «автор задался этой идеей», а потому, что его «поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собою» (II, 327). Таков, например, Аристофан, у которого идея несостоятельности древних верований достигается «просто картину греческих нравов того времени» («Луч света в темном царстве». — II, 328). В ряде статей («Что такое обломовщина?», «Забитые люди», рецензии на комедию А. Потехина «Мишура», сборник «Утро» и др.) критик углубляет и конкретизирует свою мысль, приходя к убеждению, что тенденциозность не должна назойливо навязываться автором, а должна необходимо вытекать из самого материала изображения, из содержания художественного произведения, составляя как бы его внутреннюю ткань.

«...У сильных талантов, — писал он, — самый акт творчества так проникается всю глубиною жизненной правды, что иногда из простой постановки фактов и отношений, сделанной художником, решение их вытекает само собой» (II, 380). Образцом в этом смысле для Добролюбова являются в русской литературе комедии Гоголя и романы Гончарова, а в литературе западноевропейской — произведения Шекспира. В этих последних он всегда подчеркивал наличие глубокой общественно-моральной тенденции, но тенденции внутренней, облеченной в формы полнейшей художественной объективности.

В рецензии на сборник «Утро» Добролюбов коснулся реплики эстетствующего критика Б. Алмазова относительно Шекспира. Признавая последнего «истинным поэтом» (в том, конечно, смысле, как его пошлал ревнитель «чистого искусства»), Алмазов, однако, делает это с большой оговоркой, находя, что Шекспир был лишен «великого качества» — «изображать самый порок с поэтической точки зрения,

скрывая его безобразия...» (II, 424). По язвительной прописи, с какой Добролюбов упоминает в контексте своей статьи эти «милые положения», становится очевидным, что он как раз считал величайшим достоинством Шекспира именно то, что в эстетствующей критике служило предметом упреков и лицемерных сожалений.

«Внутреннюю тенденциозность» Шекспира Добролюбов усматривал в глубокой гуманистической идейности и народности, которыми проникнуты все его произведения. Это именно то качество, которое ставится критиком выше всего в творчестве великого английского драматурга. Так, в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» он называет Шекспира среди тех немногих западноевропейских писателей (Байрон, Гейне и Берамже), которые не были заражены духом «парциальности», стояли выше угодения своекорыстным интересам господствующих классов и в творчестве которых являлась «чистая любовь к человечеству». Это и награждает их критик званием «высших гениев поэзии». «Еще в невежественной Европе XVI века раздались знаменательные слова: «Человек был он», — пишет Добролюбов о Шекспире, приводя сентенцию из его трагедии «Юлий Цезарь» (слова Антония о Бруте), — и в них выразилось сознание гения о достоинстве человека» (I, 213).

Свое понимание гуманизма Шекспира Добролюбов конкретизирует в статье «Луч света в темном царстве». Он безоговорочно относит английского драматурга к выразителям «естественных стремлений известного времени и народа», чем вообще, с его точки зрения, определяется «мера достоинства писателя или отдельного произведения». Сущность же «естественных стремлений человечества», приведенных «к самому простому знаменателю», Добролюбов формулирует предельно сжато и просто: «чтоб всем было хорошо» (II, 324).

Живейший интерес представляет для нас разрешение некоторых конкретных вопросов шекспировского творчества, намеченное в ряде высказываний Добролюбова, порою очень кратких и беглых.

Шекспир для него — мастер создания «характеров», подобно тому как Аристофан — образец политического комедиографа, а Мольер — «комика страстей» (статья «Темное царство». — II, 45). Добролюбова поражает совершенство даже второстепенных персонажей у Шекспира, и он указывает на пример могильщиков в «Гамлете», которые не только необходимы для полноты пьесы, создавая так называемый социальный фон, колорит эпохи, но и тесно связаны с развитием действия («Луч света в темном царстве». — II, 335). Нередко на страницах сочинений Добролюбова мелькают имена шекспировских героев, которые обладают для него большой обобщающей силой, правдивостью.

Это свойство персонажей Шекспира позволяло Добролюбову с успехом использовать их в нарицательном значении в идейно-политической борьбе того времени. Таков, например, характер его обращения к образу Гамлета в рецензии на упомянутое выше сочинение Миллера «О нравственной стихии в поэзии»⁵ и в статье о «Накануне» — «Когда же придет настоящий день?» В этой последней Добролюбов, как известно, развернул скрытую полемику против тургеневской статьи «Гамлет и Дон-Кихот», тенденциозно, не без современных ассоциаций и аналогий толковавшей эти образы мировой литературы⁶.

⁵ См. журнальный текст статьи Добролюбова «О нравственной стихии в поэзии» («Современник», 1858, № 10, стр. 157); в Полн. собр. соч. 1, 609 («Варианты»).

⁶ Подробно об этом см. в указ. выше книге В. Е. Евгеньева-Максимова, стр. 399—401 и 408.

Но Добролюбов не ограничился одним лишь декларативным указанием на «удивительное искусство в развитии характеров» у Шекспира (II, 451); он блестяще подтвердил это собственным анализом образа Лира (в статье «Темное царство»), по глубине и тонкости наблюдений заслуживающим занять выдающееся место в научном шекспироведении.

Обращение Добролюбова к «Королю Лиру» было вызвано тем, что в тогдашней либеральной критике проводились совершенно не обоснованные, искусственно-схоластические сравнения между героями Островского и шекспировскими персонажами, обнаруживавшие, по его определению, «полное непонимание не только Шекспира и Островского, но и вообще нравственного свойства драматических положений» (II, 71).

Особенное усердие в этом отношении проявлял критик «Атеней» (журнал западного направления) Н. П. Некрасов. В статье «Сочинения А. Островского» он, в частности, сопоставлял Большова («Свои люди — сочтемся») с Лиром, усматривая в поступке первого из них — отдаче имения приказчику и зятю Подхалузину — «непонятный порыв великодушия и подражание королю Лиру» (II, 70)⁷.

Показывая всю несостоятельность досужих размышлений незадачливого критика из «Атеней», Добролюбов остроумно замечает, что «в поступке Большова действительно есть внешнее сходство с поступком Лира, но именно настолько, насколько может комическое явление походить на трагическое» (там же).

Оставляя в стороне соображения Добролюбова в пользу правдивости образа Большова и естественности его сценического поведения у Островского, обратимся к его характеристике образа короля Лира и драматического мастерства Шекспира.

Идя совершенно самостоятельным путем, не повторяя традиционных толкований шекспировского шедевра как семейной драмы, как повести о доверчивом отце, обманутом лицемерными дочерьми, критик-демократ сосредоточил главное внимание на уяснении объективной, социальной обусловленности трагедии Лира. Только это и позволило ему по-новому осветить философское гуманистическое содержание великой трагедии. В данном случае Добролюбов вступил на тот путь, по которому впоследствии пошло советское шекспироведение в истолковании «Короля Лира» как трагедии познания жестокой действительности эпохи.

Прежде всего критик справедливо подчеркивает, что Лир, этот «с ног до головы король британский» — «жертва уродливого развития» (выделено мной. — В. О.) и «поступок его (раздел владений. — В. О.), полный гордого сознания, что он сам, сам по себе велик, а не по власти, которую держит в своих руках, поступок этот тоже служит к наказанию его надменного деспотизма» (II, 70). Вот почему для понимания Лира и всей драматической коллизии правиль-

⁷ Считаю щедрость Большова к Подхалузину художественно неоправданной, Н. П. Некрасов замечает, что «Лир у Шекспира делает почти то же, но у него основания глубже, серьезнее. Лиру, этому гордому, могущественному и справедливому королю, и на ум не приходило, чтобы он когда-нибудь при жизни мог лишиться своего имущества: он имел в виду лишь отдохнуть от бремени правления» (выделено мною. — В. О.)... Словом, Шекспир имел достаточные основания для поведения своего Лира. У г. Островского мы решительно не видим никакого достаточного основания для того, чтобы Большов отдал все свое имение и себя в руки Подхалузина» («Атеней», 1859, № 8, стр. 472).

нсе осмысление первой сцены трагедии, мотивов, побудивших короля разделить свое царство между дочерьми, имеет, с точки зрения Добролюбова, решающее значение.

Критику «Атенея» последнее представлялось предельно упрощенно: король хотел «лишь отдохнуть от бремени правления». Добролюбов же и в этом поступке Лира видит проявление деспотизма и своеволия короля, решившегося на отказ от власти из безумной прихоти — доказать самому себе, что и после того люди не перестанут трепетать перед ним. Приведем слова Добролюбова:

«В Лире действительно сильная натура, и общее раболепство перед ним только развивает ее односторонним образом — не на великие дела любви и общей пользы, а единственно на удовлетворение собственных, личных прихотей. Это совершенно понятно в человеке, который привык считать себя источником всякой радости и горя, началом и концом всякой жизни в его царстве. Тут, при внешнем просторе действий, при легкости исполнения всех желаний, не в чем высказываться его душевной силе. Но вот его самообожание выходит из всяких пределов здравого смысла: он переносит прямо на свою личность весь тот блеск, все то уважение, которым пользовался за свой сан, он решается сбросить с себя власть, уверенный, что и после того люди не перестанут трепетать его. Это безумное убеждение заставляет его отдать свое царство дочерям и чрез то, из своего варварски-бессмысленного положения, перейти в простое звание обыкновенного человека...» (II, 70).

И далее критик осмысливает развитие событий именно как процесс прозрения Лира, познания им жестокой действительности. Он прослеживает изменение его характера, ту внутреннюю борьбу, которая очищает и просветляет заросшую тиной самодурства натуру Лира, которая заставляет страдать за него, примиряет с его личностью и обусловливает смещение наших симпатий и антипатий. Только после того, указывает Добролюбов, как Лир в «простом звании обыкновенного человека» испытал на себе все горести людские, «и раскрываются все лучшие стороны его души». Тут-то мы видим, что он «доступен и великодушию, и нежности, и состраданию о несчастных и самой гуманной справедливости. Сила его характера выражается не только в проклятиях дочерям, но и в сознании своей вины пред Корделией, и в сожалении о своем крутом нраве, и в раскаянии, что он так мало думал о несчастных бедняках, так мало любил истинную честность. Оттого-то Лир и имеет такое глубокое (выделено мной.— В. О.) значение» (II, 70—71).

Таким образом, это уже не обычная семейная драма, ограниченная узкими рамками домашнего мира, а трагедия глубокого социального содержания. Именно высокий гуманистический пафос обусловливает ту огромную силу эмоционального воздействия, какой обладает это классическое произведение Шекспира.

«Смотря на него (Лира.— В. О.), — пишет Добролюбов, заканчивая свой анализ трагедии, — мы сначала чувствуем ненависть к этому беспутному деспоту; но, следя за развитием драмы, все более примиряемся с ним как с человеком, и оканчиваем тем, что исполняем негодованием и жгучею злобой уже не к нему, а за него и за целый мир — к тому дикому, нечеловеческому положению, которое может доводить до такого беспутства даже людей, подобных Лире. Не знаем, как на других, но, по крайней мере, на нас «Король Лир» постоянно производил такое впечатление» (II, 71).

Очищающее, облагораживающее влияние этой трагедии Добролю-

бов подчеркивает и в другой статье — «Забитые люди», — глубоко объясняя секрет обаяния шекспировского шедевра его жизненной правдивостью, верностью «человеческой природе». Читая «Короля Лира», так же как и «Фауста» или «Чайльд-Гарольда», указывает критик, «мы до того подчиняемся творческой силе гения, что находим в себе силы, даже из-под всей грязи и пошлости, обсыпавшей нас, просунуть голову на свет и свежий воздух и сознать, что действительно — создание поэта верно человеческой природе, что так должно быть, что иначе и быть не может...» (II, 374).

В трагедии Шекспира Добролюбов как раз и находил то «примиряющее, разрешающее начало», которое «так могуче действует в искусстве», заставляя проглядывать человеческую природу героя «сквозь все наплывные мерзости» и возбуждая чувство негодования против этих мерзостей жизни (II, 375).

Эта классическая, с нашей точки зрения, добролюбовская характеристика «Короля Лира», пронизательно раскрывающая сущность шекспировского реализма, бесспорно заслуживает того, чтобы стать и с х о д н ы м источником при анализе шекспировской трагедии. В этом отношении близка к добролюбовскому пониманию «Короля Лира» сценическая интерпретация трагедии в советском театре.

Отмечая глубину и пронизательность трактовки Добролюбовым характеров Шекспира, следует подчеркнуть устойчивость традиций демократической русской критики в понимании особенностей шекспировского реализма, его драматургического искусства — традиций, у истоков которых стоят Пушкин и Белинский (их высказывания в этом плане хорошо известны).

Начиная с Белинского, одним из проявлений постоянного интереса к Шекспиру в России было не прекращавшееся сознание идейного значения для нас шекспировского наследия, внутренней близости английского драматурга передовым устремлениям русской общественной мысли. Это прекрасно выразил И. С. Тургенев в своей речи о Шекспире в 1864 г. по случаю 300-летия со дня рождения великого драматурга: «Мы, русские, празднуем память Шекспира, и мы имеем право ее праздновать. Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя... он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь»⁸.

У Добролюбова вопрос о значении Шекспира для русской культуры и литературы является одной из важнейших методологических проблем, разрешаемых им в связи с творчеством писателя. Можно совершенно безошибочно утверждать, что именно это и есть тот главный аспект, с которым критик подходит к Шекспиру и который определяет содержание большинства его высказываний.

Знать Шекспира (как и Гомера), справедливо полагает Добролюбов, давно уже стало потребностью образованных людей (III, 99); тем решительнее критик восстает против поверхностного усвоения его наследия в светском обществе, где «слышать о Шекспире» было своеобразным эталоном «культурности», но где одновременно господствовало совершенное невежество (I, 174).

Что касается литературы, то Добролюбов находил, что осмысленные современными писателями особенностей творческого метода Шекспира является важным делом, сулящим плодотворные результаты. В этом плане и следует рассматривать значение тех многочислен-

⁸ И. С. Тургенев, Собр. соч., Гослитиздат, М., 1956, т. XI, стр. 190.

ных шекспировских иллюстраций, которые привлекаются критиком для обоснования важнейших теоретических положений, принципов материалистической эстетики.

Так, касаясь одной из главных проблем реализма — путей создания художественного типа, Добролюбов иллюстрирует свою мысль о необходимости обобщать разрозненные явления и факты классическими примерами Фауста, Лира и Чайльд-Гарольда. Эти образы — не копии реально существовавших личностей, а переработанные «в общности миросозерцания» писателя «разнообразные и противоречивые стороны живой действительности» (II, 373). Оттого нам и кажутся такими знакомыми и близкими и «мучительные искания» первого из названных героев, и «сумасшествие» второго, и «ожесточение» третьего, оттого так велика и сила их эмоционального воздействия на читателя (II, 374).

Добролюбов ссылается на пример Шекспира также при определении специфических жанровых особенностей комедии и трагедии. Так, принимая за образец его произведения, он доказывает неправомочность, более того — противоестественность построения основного драматического конфликта на осмеянии честных и благородных людей, т. е. невозможность создания «комедии идеальных характеров». С другой стороны, в трагедии (пример тому опять-таки произведения великого английского драматурга) может быть сколько угодно комических лиц, но только второстепенных, и «от этого сущность пьесы не переменится» (рецензия на комедию Н. Львова «Предубеждение» — I, 393).

Добролюбов решительно предпочитает реалистическую драму Шекспира классицистической драме с ее «вечными» и искусственными правилами, стесняющими творческую свободу художника. Это отнюдь не означало, как у Белинского, недооценку классицизма как исторически сложившегося направления, ибо в данном случае критик говорит о «подражателях Расина», т. е. об эпигонах классицизма. Это именно их представляли «старой критической рутини» и «художественной схоластики»⁹ поднимали на щит, противопоставляя Шекспиру, которого «вслед за Вольтером» ругали «пьяным дикарем», подобно тому как они веровали в Карамзина и не признавали Гоголя (II, 312). Аналогия здесь весьма показательна: пьесы Шекспира, как и произведения Гоголя, для Добролюбова — не воплощение «мертвого совершенства», а вечно живой источник вдохновения, образец для подражания.

Вполне закономерно, что свой взгляд на роль и место Шекспира в развитии русской литературы критику-демократу приходилось отстаивать в острой идейной борьбе против двух современных ему направлений общественно-литературной мысли — «западничества» и «славянофильства».

Обе эти концепции, на первый взгляд столь противоположные друг другу, игнорировали принцип историзма — важнейший принцип материалистической эстетики — при рассмотрении и оценке произведений мирового художественного творчества, включая, конечно, и произведения русской литературы.

Если западники-эстеты, эти, по определению Добролюбова, «при-

⁹ Начиная имена представителей этой рутинной критики — П. Ф. Кошанского, П. П. Давыдова, М. Б. Чистякова, И. К. Зеленецкого, Добролюбов имеет в виду их школьные и университетские учебники и пособия по риторике и словесности, издававшиеся в 30–40-е годы прошлого столетия.

зрженцы «вечных» красот искусства», иначе и не рассуждали о русских писателях, как «прикидывая к ним шекспировскую и дантовскую мерку», то славянофилы, «слишком уже погрузившиеся в патриотическую эстетику», полагали, что «произведениям наших лучших талантов можно приписывать великое значение с той же самой точки зрения, с какой поставляются на удивление векам творения Гомера и Шекспира» (II, 241).

Добролюбов, вопреки этим принципам «вечного и абсолютного» в художественном творчестве, вопреки «общим и вечным законам искусства», выдвигал тот важнейший принцип «реальной критики», согласно которому при оценке художественных произведений прежде всего нужно иметь в виду и указывать читателям, какой смысл имеет данное произведение для русского общества в данный момент (II, 241).

Такой подход отнюдь не исключает и не принижает в глазах критика того великого значения, которое имело раньше и имеет по сию пору творчество Шекспира, Гете, Байрона, Гейне и других художников, прочно завоевавших почетное место в мировой литературе.

Западнической концепции Добролюбов бегло коснулся в статье «Народные русские сказки» (рецензия на издание А. Афанасьева). Здесь он указывает на реакционно-демагогический смысл противопоставления «служителями чистой науки» «трагедий Шекспира» — «балаганной комеди», т. е. народной драме (I, 430).

Оставаясь мерилom художественного качества, творчество Шекспира не становится, однако, для Добролюбова предметом фетишизации, и он решительно восстает против ложного подобострастия эстетствующей критики перед великим драматургом, справедливо расценивая это как злоеобразное проявление антипатриотизма, отрицания исторической и национальной самобытности русской культуры и, главное, ее народных истоков.

В решении вопроса о «влиянии» Шекспира на русскую литературу, влиянии, о котором с легкостью писали в тогдашних журналах, Добролюбов близок к той проникновенной мысли Чернышевского, которая освобождает многих, если не всех писателей, от упрека в подражании Шекспиру и в то же время раскрывает всю силу воздействия великого драматурга на последующее развитие литературы. Имеется в виду мысль Чернышевского о том, что Шекспир своим реализмом вдохновляет на самобытное творчество, что восприятие его влияния не означает подражательности, а побуждает к самостоятельному развитию¹⁰.

Не менее острому осуждению Добролюбова подвергается славянофильская концепция Шекспира, объективно приводившая к принижению великих художественных ценностей его творчества.

В тогдашних критических выступлениях «Москвитянина», «Русской беседы» и других печатных органов славянофилов нередкими были утверждения, что Гоголь в «Мертвых душах» воскресил в усовершенствованном виде Гомера (К. Аксаков), что Лермонтов — слепок с Байро-

¹⁰ В своей монографии о Лессинге Чернышевский писал: «Кто поймет Шекспира, перед тем исчезают всякие другие авторитеты в поэзии — он выше всех, — а между тем преклонение перед Шекспиром ставит ли поэта в такое зависимое от него положение, как поклонение Байрону или Мильтону, (Жоржу Санду или Руссо?) — нет, кто поклоняется этим поэтам, чувствует непреодолимую склонность подражать им, и истинно талантливые люди делались мильтонистами или (руссоистами, жоржандистами или) байронистами, — но понимать Шекспира — значит чувствовать в себе непреодолимый позыв к самостоятельному творчеству, быть чуждым всякой мысли о подражании кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру» (Полн. собр. соч., т. IV, стр. 125—126).

на (Ап. Григорьев), а Островский превзошел Шекспира (Б. Алмазов, Григорьев) и т. д. Добролюбов не мог иначе назвать эти совершенно бесплодные ухищрения современной ему критики с ее национально-патриотическим снобизмом, как «смешной игрой в имена» (II, 242). «Сущность современных эстетических рассуждений о «вечных, общечеловеческих, мировых» достоинствах наших писателей, — замечает он, — постоянно напоминает нам наивность старинных восклицаний о российских Гомерах и наших родных Байронах...» (там же).

В статье «Темное царство» Добролюбов язвительно иронизирует над Ап. Григорьевым, который в своей непомерной похвале Островскому¹¹ ставит последнего выше Шекспира и всей западноевропейской классической драматургии, огульно обвиняя их во «лжи» и «фальши». Только в произведениях Островского критик-славянофил находит воплощение «правды», которую он тенденциозно противопоставляет «искусству» западных классиков, объявляя себя врагом «рабского, слепого подражания» иностранным образцам (II, 37—38).

Нисколько не принижая значения Островского, Добролюбов, однако, как и Чернышевский, нелегко признает за писателями право быть поставленными в один ряд с Шекспиром. Критик имел в виду пьесу «Бедность не порок», которую славянофилы подняли на щит, считая ее стоящей выше «Гамлета» и «Отелло».

В статье Добролюбова развивается мысль о том, что к самобытному творчеству Островского надо применять реальную критику и не требовать от него, подобно западникам, неукоснительного следования Шекспиру¹² или подражания гоголевскому комизму, что ученые и критики, выступающие с подобными претензиями, «не много принесли пользы науке и искусству» (II, 46).

Добролюбов отмечает исключительное своеобразие великого русского драматурга. Невозможно, чтобы он «уподобился Аристофану и придал комедии политическое значение», невозможно соединить Аристофана, Мольера и Шекспира в лице одного драматурга (II, 45). Точно также критику представляется бессмысленным требование, чтобы художник представил нам «в русской коже», «каких-нибудь Тартюфов, Ричардов, Шейлоков» (II, 52), т. е. «непреклонные драматические характеры», поскольку это значило бы «навязывать русской жизни то, чего в ней вовсе нет» (II, 51). Такое требование, по справедливому мнению Добролюбова, «совершенно нейдет к нам и сильно отзывается схоластикой» (II, 52).

Островский замечателен тем, что он представляет «сам по себе», и уже этим заслуживает внимания и изучения.

В этих словах чувствуется постоянная мысль критика-демократа об историческом конкретном подходе к творчеству каждого писателя, каждого литературного явления и художественного образа — мысль, которую он неустанно и упорно отстаивал в борьбе против псевдонаучных, идеалистических концепций.

Непосредственно для шекспироведения в цитированных высказываниях Добролюбова важно отрицание «традиционного» истолкования шекспировских образов как внеисторических типов, носителей какой-

¹¹ В статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» («Москвитянин», 1855, № 3) и в стихотворении «Искусство и правда — элегия-ода-сатира» («Москвитянин», 1854, № 4).

¹² Приходя к упреку Островскому, почему он не подражает Шекспиру, Добролюбов, очевидно, имеет в виду упомянутую выше статью П. П. Некрасова «Сочинения А. Островского», напечатанную в «Атенее», 1859, № 8 (см., например, стр. 478).

либо одной черты или страсти, принимаемых за непогрешимый образец, что как раз и означало стирание граней между Шекспиром и классицизмом (недаром же «толкователи» Островского, как показывал критик, ставили рядом шекспировских Ричарда и Шейлока с мольеровским Тартюфом!). В такой трактовке исчезали полнота и многогранность шекспировских характеров, т. е. то, что ценно в их диалектике; пропадали и краски эпохи. Опровергая абсолютный характер прекрасного в искусстве, критик указывал, что значение великих творений прошлого сохраняется только при восприятии их в исторической перспективе, что, следовательно, и в подходе к великим созданиям Шекспира необходимо соблюдать принцип историзма.

Суждения Добролюбова о Шекспире отражают величайшее уважение к его наследию и этим не только дополняют наше представление об эстетических и историко-литературных взглядах самого критика; они вслед за высказываниями Пушкина, Белинского и Чернышевского намечают путь к верному пониманию творчества Шекспира, включаясь в ту плодотворную традицию, продолжением которой является направление современного прогрессивного шекспироведения.

Белгородский пединститут

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ ПЕЛЬСКИЙ (1765—1803)

Л. С. Гордон

31 марта 1801 г., через две с половиной недели после вступления на престол Александра I, был опубликован указ, в котором изъявлялось желание доставить верноподданным «способы к распространению полезных наук и художеств», а потому «запрещение на выпуск всякого рода книг и музыки отменить», «частные типографии распечатать, дозволяя как провоз иностранных книг, журналов и прочих сочинений, так и печатание оных внутри государства»¹. 9 февраля 1802 г. этот указ был дополнен другим, внешне еще более либеральным, — об отмене предварительной цензуры: согласно ему, типографиям предоставлялось право печатать книги на всех языках, «наблюдая только, чтоб не было в них ничего противного законам Божиим и гражданским или к явным соблазнам клонящегося». Одновременно с этим предписывалось «за самовольное печатание соблазнительных (книг) не только книги конфисковать, но и виновных за преступление закона наказывать»².

Вспоминая много позднее это время, Н. Греч восторженно писал: «Вновь раздался голос литературы. Молодые люди старались опередить друг друга на этом поприще; возникли юные блистательные таланты... Заговорили и прежние: Крылов, Озеров, Шишков, Пнин, кн. Шаховский. Появились журналы, альманахи, критики и полемика»³. Как можно судить по мемуарам и письмам современников, такое восприятие александровских цензурных реформ было свойственно большинству деятелей дворянской культуры того времени: на вторую часть указа, содержащую недвусмысленную угрозу, не обратили внимания. Но всеобщая радость была несколько преждевременной: ближайшие же месяцы показали, что угроза не была высказана впустую.

Так, весной 1803 г. был запрещен перевод французского романа «Кум Матвей, или превратности человеческого ума» Анри-Жозефа Дюлорана (1719—1793). Судьба этой запрещенной книги в России и ее переводчика П. А. Пельского настолько примечательны, что заслуживают специального изучения, тем более, что и у себя на родине во Франции эта книга и ее автор подверглись сильному гонениям.

¹ Сборник постановлений и распоряжений по цензуре, цит. по А. М. Скабичевскому, Очерки истории русской цензуры (1700—1863), СПб., 1892, стр. 88.

² Н. К. Щербальский, Исторические сведения о цензуре в России, СПб., стр. 9—10.

³ Н. Греч, Александр Христофорович Востоков, «Вестн.», 1861, № 15, стр. 11.

«Кум Матвей» вышел в свет в Москве весной 1803 г. с легальной санкцией («Разрешено гражданским губернатором гор. Москвы») и сразу же был запрещен московским военным губернатором графом Салтыковым, распорядившись также об изъятии книги и об аресте книгопродавцев. Это вызвало с их стороны жалобы в Сенат, в результате которых они были освобождены, убытки их от конфискации книги — возмещены, а сам Салтыков получил выговор от Сената. В так называемых «Оленинских бумагах» Рукописного отдела ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится любопытный документ — копия ответа Салтыкова Сенату, написанная писарским почерком того времени⁴. Этот документ привлекает внимание как своим торжественно-суконным языком (настолько, что кажется пародией на канцелярское «творчество»), так и абсолютным непониманием ситуации — почему требуют оправданий; поэтому его автор, реальный военный губернатор, выглядит каким-то вымышленным пародийным щедринским героем. Салтыков доносил Сенату о книге «Кум Матвей»: «я предаю собственному благорассмотрению Правительств, Сената, могли бы не почесть ее нетерпимую, когда в ней явно поносятся религия, с пренебрежением упоминается святейшее имя Божие, и превратно гнусной материи употребляются за пословицу священные слова Евангелия». «Усмотря все сии буйственные нелепости», ретивый администратор «не преминул спросить гражданского губернатора, на чем основываясь позволил он такую законопротивную книгу напечатать и притом нужным поставил узнать книгопродавца от коего продажа книги сей в газетах была опубликована... между тем приказано было уже от меня полицмейстеру продажу книги сей воспретить и продавцов ее за ненаблюдение данных ими подписок подвергнуть законному ответу...».

Чутье не обмануло верного стража престола: «Кум Матвей» действительно представляет собой одну из самых сильных антирелигиозных и антиезуитских книг XVIII столетия. Автор его Дюлоран — писатель интересный и очень самобытный⁵. В свое время Вольтеру, любившему играть псевдонимами и прятаться то за вымышленное, то за реальное имя, нравилось приписывать ему некоторые свои произведения; современники нередко ошибались, считая то Дюлорана автором произведений Вольтера, то Вольтера — автором произведений Дюлорана. Однако дело вовсе не сводится к простому эпигонству или к подражанию Вольтеру: отчасти являясь его учеником, Дюлоран, тем не менее, зрелый и в очень многом творчески самостоятельный писатель-реалист. В его произведениях, в первую очередь в его лучшей книге, романе «Кум Матвей», условная действительность философского романа насыщена конкретными бытовыми деталями, воссоздающими широкую картину жизни социальных низов Франции второй половины XVIII века. В этом отношении он не столько продолжает Вольтера, сколько предвзвещает Дидро с его «Жаком фаталистом» и Ретифа де ла Бретон, выступая таким образом одним из зачинателей реалистического направления во французской литературе XVIII века.

Сама проблема параллели Дюлорана и Вольтера определяется не только эстетическими критериями, но и принципиальной разницей их

⁴ Рукописный отдел ГПБ, Оленинская система, т. XVII, 183/4, листы 7—15. За указание на этот документ выражаю глубокую благодарность Ю. М. Лотману.

⁵ О Дюлоране см. наши статьи: Роман Дюлорана «Кум Матвей» (Из истории плембейского крыла французского Просвещения), ВЛ, 1960, № 5; Некоторые итоги изучения запрещенной литературы эпохи Просвещения (вторая половина XVIII в.), «Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции, 1959», М., АН СССР, 1961.

социального опыта. Принадлежа по своему положению к самым обездоленным слоям дореволюционной Франции — городскому плебейству, — Дюлоран смог гораздо ближе столкнуться с произволом господствующих сословий и гораздо больше страдал от него. Поэтому взаимоотношения бесправного человека с всемогущими иезуитами или с феодальной юстицией определяют судьбу его героев, их жизни и смерти. Точно так же они определили и трагическую судьбу самого Дюлорана; он знал, каких врагов возбудил против себя. Сарказм и диалектика Вольтера под его пером поэтому приобретают — в романе «Кум Матье» (1765) — острую социальную направленность.

Роман представляет собой историю путешествий, споров и приключений четырех товарищей: самого рассказчика, наивного Жерома, его философствующего кума Матье, нищего испанского гидальго дона Диего, ученика иезуитов, жулика и святоши, и, наконец, веселого грешника (или праведника) отца Жана де Домфрон. Если рассказчик Жером олицетворяет общий житейский здравый смысл и если дон Диего, как истый иезуит, представитель «облегченной морали» (*morale relâchée* — термин иезуитской этики), прячется за религиозные формулировки, чтобы под их прикрытием безнаказанно нарушать все законы человеческого общежития, то не таковы кум Матье и Жан де Домфрон. Первый из них — идейный носитель открытого аморализма буржуазного уклада, идущего на смену феодализму, философии образованный племянник Рамо. Паразит и лодырь, он оперирует всеми силлогизмами, которые смог почерпнуть из разрушительных книг своих современников — Гельвеция, Гольбаха, Туссена, Дидро, — чтобы ими оправдать свой паразитизм, а перед смертью примиряется с церковью. Дюлоран здесь проявляет огромную историческую прозорливость: он одним из первых увидел за грезившимися просветителям «идеальным разумным устройством» — царство чистогана.

Куму Матье противопоставлен отец Жан де Домфрон — человек как будто не лучше его: поведение его также умещается в протоколах полиции нравов. Но, по мнению Дюлорана, это вина эпохи, обстоятельств, а не его этики. Идейно отец Жан продолжает образ веселого смельчака и чревоугодника, монаха Жана Дезантомер, основателя Телемского аббатства из романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» — он носитель этики товарищества и веселья. Оказываясь за бортом общества и нарушая его законы, он не стремится оправдать себя: он чужд обществу, потому что общественное устройство его времени противочеловечно.

В философских спорах этих персонажей заключен идейный замысел романа; рождение новой этики — основная его проблематика. Роман при этом наполнен множеством эпизодов, забавных, гротескно-пугающих, то фантастических, то дающих сочную бытовую картину жизни середины XVIII в. во Франции и за ее пределами. Следуя установленным канонам жанра авантюрно-философского романа, автор ведет своих героев по все расширяющимся кругам — сначала по Франции, потом по Европе; приводит их в Россию к «естественному народу», затерянному где-то между Тобольском и Самаркандом; он ведет их в трактиры и тюрьмы, заставляет их переживать кораблекрушения, болезни, развертывая повествование с неистощимой выдумкой в ситуациях и с блестящей, тонкой полифоничной диалектикой в спорах.

Католическая церковь и абсолютистская Франция не простили Дюлорану ни одной строки из рассуждений дона Диего, как не могли

забыть ему и его прежних книг — памфлета «Иезуитики», издевательских антиклерикальных поэм «Помело» и «Аррасская свеча», его антифеодальных высказываний в «Современном Аретино» и «Злоупотреблениях в обычаях и нравах». Дюлорану пришлось бежать из Франции в Голландию. Но оказавшись потом на территории Майнца, находившегося в ведении церковной юрисдикции, он был схвачен в 1767 г., судим епископским судом и провел последние 26 лет своей жизни в одиночной келье монастыря-тюрьмы Марненбаум.

Из опубликованных в ГДР документов процесса Дюлорана видно, что пожизненное одиночное «покаяние» было смягчением наказания: Дюлорану угрожала смертная казнь с предварительным вырыванием языка. Но и эта «смягченная» кара определила судьбу Дюлорану достаточно трагично: те же материалы показывают, что более четверти века одиночного заключения привели Дюлорана к безумию. Таким его застало освобождение, когда войска Французской Республики вошли в Майнц 21 октября 1792 г. На сумасшедшего старика во дворе монастыря никто не обратил внимания, и он умер там 17 августа 1793 г. Лишь ныне, почти через 180 лет, стали известны точные обстоятельства осуждения и конца Дюлорана, — до того времени даже дата его смерти определялась приблизительно⁶.

При всей оригинальности романа «Кум Матье», при всей трагичности судьбы писателя Дюлорана места в истории французской литературы ему не нашлось. Буржуазное литературоведение отказывается видеть в плеебе Дюлоране писателя и предпочитает замалчивать его или упоминать лишь в перечне... порнографов XVIII века. Однако современники относились к нему иначе: из мемуаров эпохи видно, что его произведения ими очень ценились.

Даже эти чрезвычайно общие сведения о Дюлоране и его романе не могут не привлечь внимания к переводу, не могут не вызвать вопроса: чем эта книга могла заинтересовать переводчика, кем был сам переводчик и в какой читательской среде «Кум Матвей» должен был найти отклик. Между тем о переводчике романа, Петре Афанасьевиче Пельском, мы располагаем чрезвычайно скудными сведениями: его имя лишь мимоходом упоминается в работах, посвященных его эпохе⁷. «Русский биографический словарь» сообщает о нем, что он — сын Афанасия Ивановича Пельского, преподавателя древних языков в Духовной академии и директора Синодальной типографии в Москве. Упоминается Петр Пельский С. Шевыревым в числе студентов, сотрудничавших в масонском издании «Вечерняя заря» (1782)⁸; несколько раз имя Пельского встречается в письмах Карамзина. Так, в его письме И. И. Дмитриеву от 2 февраля 1796 г. мы читаем: «Пишу с Петром Афанасьевичем Пельским, очень умным и хорошим человеком, знакомство с которым может быть тебе интересно»⁹. Позднее Карамзин отозвался на смерть Пельского элегией¹⁰, на ней мы остановимся ниже. 20 марта 1820 г., через 17 лет после смерти Пельского, Карамзин снова вспоминает о нем: «Письмо твое меня обрадовало. Мне отдал его один

⁶ См. Kurt Schnelle, Henri-Joseph Laurens. Ein Autorenschicksal im 18. Jahrhundert, Sinn und Form, 1960, 5 und 6 Heft.

⁷ Вл. Орлов, Русские просветители 1790—1800 годов, М., 1950, стр. 460 (в примечаниях); Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, М., 1956, стр. 738.

⁸ С. Шевырев, История Московского университета, М., 1855, стр. 259.

⁹ Письма Карамзина Дмитриеву, СПб., 1886, стр. 161.

¹⁰ «Вестник Европы», 1803, № VIII.

из Пельских... Я искренно любил отца их»¹¹. Близость Пельского Карамзину устанавливается и тем фактом, что стихи Пельского печатались в карамзинских и находившихся под влиянием Карамзина журналах и альманахах «Приятное и полезное препровождение времени» (1795) и «Аониды» (1796—1799); и в самый сборник стихов Пельского «Мое кое-что», выпущенный посмертно (1803), включена в качестве послесловия элегия Карамзина.

Одним из самых значительных документов к биографии Пельского является его некролог¹². Здесь прямо сказано, что причиной преждевременной и неожиданной смерти Пельского является запрет переведенного им «Кума Матвея». Эта преждевременность и неожиданность смерти еще нестарого человека заставляет нас предположить, что запрещение книги явилось для Пельского страшным потрясением, пережить которого он и не смог.

Анализируя литературное наследство Пельского, необходимо иметь в виду, что оно складывается из творчества поэта и переводчика. Поэт Пельский шел целиком в русле подражания карамзинской поэзии. Одно название посмертного сборника стихов Пельского уже говорит о его характере: оно очень напоминает «Мои безделки» Карамзина, «И мои безделки» Дмитриева. И даже при беглом чтении помещенных там стихов видна их близость: «Мечта», «Пленен пастушкой прекрасной», «Собачка милая моя» и т. п. — во всех этих стихотворениях мы обнаруживаем исключительно интимную (в смысле откровенности от общих проблем, ухода в личный мирок), очень неглубокую гедонистическую лирику, по форме и содержанию целиком укладывающуюся в рамки эпигонства Карамзину или даже Дмитриеву.

Однако наряду с этими стихами, мы находим в той же книге переводы «Мадагаскарских песен» Парни, показывающие, что Пельский, в переводах вырывается из рамок эпигонства. Особенно наглядно это ощущается при сопоставлении переводов тех же песен у И. И. Дмитриева и Пельского, в частности — при ознакомлении с принципом отбора песен для перевода. Если Дмитриев останавливается лишь на интимно-лирических песнях («Воин и девушка», «Свидание у ручья» и т. п.), подчеркивая в них элементы экзотики, то Пельский переводит и те песни Парни, где звучит протест против порабощения туземцев и неготорговли. Он сохраняет и предисловие Парни, где мы находим: «Без нас (без белых. — Л. Г.) народ сей был бы спокоен и щастлив», и страстную «Боевую песню»: «Не доверяйте белым, обитатели берега!.. их жрецы восхотели дать нам бога, которого мы не знаем; наконец, начали нам говорить о послушании и рабстве. Лучше смерть!». Своим вниманием к теме негритянского рабства Пельский перекликается с поэтами-радищевцами, также обращавшимися к этой теме (Пнин — в «Оде на болезнь», Попугаев — в «Негре»)¹³.

Вся деятельность Пельского-переводчика по характеру переводимых произведений так мало совпадает с его собственной поэтической продукцией, что одно их несоответствие не может не привлечь внимания. Мы можем видеть из этих переводов, что хотя Пельский очень нуждался, как об этом сообщает Карамзин («он со всех сторон несчастлив, и всякой день должен бояться своих заимодавцев»¹⁴), к переводам

¹¹ Письма Карамзина Дмитриеву, стр. 283.

¹² «Московский вестник», 1809, № 21 — 22, стр. 335 — 338.

¹³ См. нашу заметку: Мальгачская тема в русской поэзии на рубеже XVIII-XIX столетий, В.Л. 1960, № 11, стр. 246 — 247.

¹⁴ Письма Карамзина Дмитриеву, стр. 121

ли относился требовательно и творчески. В этом нас убеждают как их подбор, так и те программные предисловия, которыми он часть из них опроверждает.

В 1802—1803 г., примерно на протяжении одного года, из печати выходит ряд переведенных им книг: «Эрмитажный театр Великой Екатерины, в котором собраны пьесы, игранные в Эрмитаже императрицей Екатериной II, сочиненные ею самой и составлявшими ее общество», перевод с французского, 1802; «Ефраимский левит», поэма Ж.-Ж. Руссо, 1802; «Адель де Сенанж или Письма лорда Сиденгама», перевод с французского, 1802; и наконец, — «Кум Матвей, или превратности человеческого ума», перевод с французского, 1803. Перевести в течение года столько томов и успеть их опубликовать было бы физически одному человеку совершенно невозможно. Переводы, очевидно, были выполнены до 1802 г., и Пельский только воспользовался первыми же цензурными послаблениями, чтобы протолкнуть их в печать. Это было ему тем более возможно, что он сам в это время служил цензором. Такое соображение подтверждается и «Уведомлением» к «Куму Матвею», где издатель сообщает, что он «более четырех лет был в нерешимости, выдавать ли сие сочинение в свет». Это «Уведомление», являющееся тоже переводом, поставлено в книге раньше «Замечания от переводчика» (за которым следует текст самого переводного романа); тем самым оно, очевидно, должно произвести на читателя впечатление не перевода, а подлинника, т. е. обращения русского издателя книги. Читатель, таким образом, наталкивается на мысль о том, что рукопись попала к ее русскому издателю около 1798 г., т. е. во времена Павла I. При существовавшей тогда вольности обращения с переводным текстом Пельский вполне мог выбросить этот отрывок, не связанный с сюжетом романа; и если он его сохраняет, то делает это, мы полагаем, совершенно сознательно, чтобы наметнуть читателю на опасный характер книги и на ее вероятную судьбу в условиях павловской цензуры. Использование переводного «Уведомления» в таком плане показывает, что под его прикрытием Пельский высказывал то, чего не рещался сказать от своего лица. Это наводит на мысль о том, что он значительно сильнее своего оригинального творчества, что его авторская бесцветность — следствие павловского террора.

В 1797 г. по совету известного переводчика просветительской литературы С. А. Шубникова А. Х. Востоков, переводчик Вольтера, Вольтера, Руссо, приступил к переводу «Кума Матье»¹⁵. Как убедительно доказал Вл. Орлов, оба они принадлежали к кругу поэтов-радищевцев. Поэтому их интерес к «Куму Матье», одному из наиболее ярких произведений демократически-просветительской литературы, вполне понятен. Но какие пути вели «карамзиниста» Пельского в русло просветительской традиции? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего обратить внимание на программное «Замечание от переводчика», предпосланное Пельским его труду, а также установить соотношение между русским переводом и его французским оригиналом. Это важно тем более, что в конце XVIII и начале XIX вв. допускались всевозможные вольности и «украшения» перевода.

В своем «Замечании» Пельский писал: «Книга сия представляет четыре главные лица. Первое из них, кум Матвей, молодой, неопытный человек, слишком надежной на остроту своего ума; он умствует, за-

¹⁵ «Я перевожу *Compte Mathieu*, данный мне Шубниковым». Заметки А. Х. Востокова о его жизни, СПб., 1901, стр. 14.

блуждается, переходит из системы в систему, навлекает на себя бедствия, и оканчивает дурачеством. Молодые люди: рассмотрите его со вниманием; в нем многие основатели ложной философии нынешнего времени найдут собственный их портрет. — Второе лицо, отец Иван, совершенный якобинец, но превосходнее только тем нынешних, что он остается верен своим товарищам и друзьям; а нынешние друзей не имеют и не могут иметь. — Третье лицо, Диего, набожной ханжа, который из глупости и от невоспитания напоен будучи ложными правилами, приравнивает самую религию ко всем страстям и необузданностям. Четвертое лицо: Жером, человек рассудительный и достойный подражания и внимания в своих нравоучениях, какие он преподает или сам, или через других. Следуйте его советам и не ослепляйтесь острою ума, который вводит часто в заблуждение, а навикайте быть рассудительней».

В этих строках наряду с неприкрытым осуждением дона Диего встречается лишь слегка скрытое выпадами в адрес якобинцев восхищение Жаном де Домфрон (отцом Иваном); и хотя они завершаются призывом следовать здравому смыслу Жерома и «не ослепляться острою ума», видно, что больше всего внимание Пельского было привлечено остротой философских споров четырех героев романа, в пределах же этих споров — разоблачением иезуитской этики дона Диего. Заодно и словно нечаянно — примирение кума Матье с церковью названо «дурачеством».

Известно, что и Карамзин и Пельский, оба некогда прошли через близость с Новиковым и даже через более или менее оформленную связь с масонством. Но масонство — чрезвычайно сложное явление: из него вышли, или через него прошли столь противоположные люди, как Радищев и как Лабзин. Поэтому имеется огромное различие между масонством, как реакционной религиозной идеологией, и масонством, как сообществом людей, некоторое время разделявших эту идеологию. И если для одних масонство оказалось убежищем от влияния революционных идей, то для других оно было этапом на пути от официальной идеологии ко все более демократическому и радикальному мировоззрению. Очевидно, таким и был путь Пельского; поэтому немудрено, что он в своей эволюции, отталкиваясь от карамзинизма, снова сближается с Новиковым или подходит к его позиции. А позиция Новикова, как убедительно доказал Г. П. Макогоненко, была враждебна позиции мистика и мракобеса Шварца: являясь идейным противником вольтерьянства, Новиков тем не менее восхищается Вольтером, именуя его «славным европейским писателем»; любовь кн. Козловского к Вольтеру он объясняет его «желанием умножить просвещение»¹⁶. Наконец, известно, что из типографии Новикова вышел не один том переводов Вольтера и других просветителей — Руссо, Мармонтеля, Беккария. Новикову было свойственно, как видно из всей его деятельности, не узко масонское, а широкое, просветительское отношение к мысли, как самодовлеющей ценности.

Даже в период крайних масонских увлечений Новикова, в 1780-х годах, мы находим в «Покоящемся трудолюбце»: «Кто бы ни был Вольтер, хотя и он в некоторых случаях не извинителен, при всем том он гораздо полезней был для общества, нежели все полчище пустосвятов. По мнению пустосвятства, и по сию пору не должны были угасать инквизиционные костры, и подземные закланы должны были запол-

¹⁶ См. также историческое словаря о российских писателях, СПб., 1772, стр. 103

пяться стонами людей, не состоящих и не желающих быть в полчищах фанатиков»¹⁷. И именно в осуществление этой программы борьбы против «пустосвятств» Новиков-типограф выпустил в своей типографии не один том просветительской литературы.

«Кум Матвей» как раз и представляет собой книгу, с чрезвычайной силой борющуюся против «пустосвятства», и не против фанатизма вообще, а против его конкретной разновидности — иезуитизма. И здесь Дюлоран, ненавидевший иезуитов гораздо сильнее, чем Вольтер, давал в руки несравненно более острое оружие. А оружие против иезуитов было необходимо.

Еще Екатерина решила опереться в своей борьбе против французской революции на иезуитов и предоставила им ряд прав. Это сразу поставило их в настолько привилегированное положение в России, что русские просветители не могли не почувствовать тревоги.

Первым в открытую выступил с попыткой их разоблачения Новиков; фактически статья «История ордена иезуитов»¹⁸, опубликованная в его издании, и дала Екатерине первый повод обрушиться на него. В павловскую же эпоху опасность иезуитов еще больше возросла. В исторической литературе приводится немало фактов, свидетельствующих о том, что Павел в своей архиреакционной политике, стремясь противостоять натиску французской революции, сделал крупную — значительно большую, чем Екатерина — ставку на иезуитов. Он приближает к себе главу их ордена в России, отца Грубера, дает им приют, официально возрождая в России их орден, в то время запрещенный даже папой.

Смерть Павла только лишила иезуитов внешних прерогатив, фактически же, как пишет историк, «в первые годы царствования императора Александра, иезуиты заговорили у нас таким голосом, какого, конечно, не потерпел бы ни Филипп II, ни Людовик XIV.

Вся сила их заключалась в духовном бессилии той (придворной. — Л. Г.) среды, в которой они действовали»¹⁹.

Единственным, насколько нам известно, в это время против иезуитов выступил Пельский — своим переводом романа Дюлорана «Кум Матвей». Он первый продолжил начатую Новиковым в России борьбу против иезуитов, обнаруживая тем самым огромную писательскую и гражданскую смелость.

В переводе «Кума Матвея» Пельский произвел незначительные сокращения, пожертвовав лишь особо грубыми местами и опустив некоторые моменты, которые могли бы навлечь на него обвинение в кощунстве (так опущен перечень святых, которые должны были бы помочь дону Диего в постигшем его несчастье, — венерическом заболевании, с размышлениями о том, какой из святых специализируется на той или иной разновидности этих болезней). С другой стороны, Пельский местами расширяет перевод, дополняя его своими комментариями, выдержанными, впрочем, совсем в духе Дюлорана: «Отец его и мой были сапожниками, но из числа тех свободно живущих сапожников, которые, не полагаясь единственно на доходы от ремесла своего, находят способ некоторую тайную и особенной промышленностью (т. е. через деланье ложной монеты) приумножать их на домашние расходы и давать пристойное воспитание своим детям». Взятое в скобки добавлено Пель-

¹⁷ Поколющийся трудолюбец, 1784, ч. IV, стр. 179.

¹⁸ Прибавление к «Московским ведомостям», 1784, № 70, стр. 537.

¹⁹ Иезуиты и их отношение к России, Письма к иезуиту Мартынову Ю. Ф. Самарина, М., 1870, стр. 343—344.

ским, но не является его домыслом, так как только предваряет события, о которых повествуется в романе дальше.

Для эволюции Пельского от масонства (или от близости к масонству) к просветителям чрезвычайно показательно то, что он в своем переводе полностью сохранил уничтожающую характеристику масонов, данную Дюлораном: «И вот что такое это Вольное Каменьничество! Вообрази себе общество сумасшедших, которые думают, что они восстановили между собою первобытное равенство золотого века и соединяют в себе всевозможные нравственные добродетели, между тем как дворянин, какой Вольный Каменьщик, понимает твердо и крепко в глубине души своей, что он в пять тысяч раз выше другого какого Вольного Каменьщика, купца или художника, равно, как и все в том обществе суть действительно то, чем они могли быть, не увидев света (прежде принятия в Вольные Каменьщики. — Примечание Дюлорана в перев. Пельского), т. е. подвержены тем же слабостям, тем же порокам, и, может быть, они еще более других лицемерны».

Основная же философская тематика романа, его полифоническая контроверза сталкивающихся мировоззрений, вся его ослепляющая «острота ума» и вся его антииезуитская направленность в переводе были сохранены полностью.

Поэтому далеко не случайно, что когда «Кум Матвей» вышел из печати, на него обрушился запрет: книга была немедленно конфискована. Мы не знаем, чего еще ждал Пельский, но одно несомненно: в литературной среде жила память о судьбе Княжнина, Новикова, Радищева. Княжнин был мертв, Новиков, отпущенный из Шлиссельбурга дряхлым стариком, жил в полунищете в своей деревне под Москвой; Радищев, вернувшийся из Сибири в 1797 г., покончил с собой 11 сентября 1802 г. И внезапная смерть Пельского вскоре после запрета «Кума Матвея» не может быть объяснена случайностью. Запрет книги и смерть переводчика — не совпадение, а причина и следствие.

Пельский умер, но судьба его на этом не обрывается: предстояла еще борьба и после его смерти. Осенью 1803 г. в «Вестнике Европы» появились написанные Н. М. Карамзиным «Стихи на скоростижную смерть Пельского». Тогда же опубликована книга: «Мое кое-что, или собрание мелких сочинений и переводов в стихах и прозе П. Пельского, с силуэтом автора. В типографии Платона Бекетова». Тексту Пельского сопутствовало «Послесловие» и элегия Карамзина.

В «Послесловии» Карамзин сообщал о том, что 9 мая (в «Николин день») Пельский был у него, и ничто не предвещало его смерти, хотя он очень скорбел о своей недавно умершей жене. В стихах на смерть Пельского эта причина — тоска по умершей подруге — выдвигается уже как несомненная причина смерти поэта:

Вчера в моем единеньи
Я с ним о жизни рассуждал,
О нашем горе, утешеньи;
Вчера с друзьями он гулял.

Оплакав милую подругу,
Кто может в жизни счастлив быть?
Я видел Пельского в жилище
Усопших посреди могил:
Он там рекою слезы лил!

Г. П. Макогоненко анализирует эти стихи. Правильно установив их основной тезис — смерть лучше жизни, он, однако, воспринимает элегию Карамзина лишь как явление чистого искусства, как «мощный,

которые в последующем подхватит Жуковский»²⁰. Не обращая к конкретному поводу появления стихов Карамзина, он лишает себя возможности уточнить его позицию. Сочувствие Карамзина Пельскому — несомненно; но имеющую политический подтекст гибель Пельского он переводит в плоскость отвлеченной философской медитации.

Прошло 5 лет со дня смерти П. А. Пельского. В 1808 г. Россия переживала новую политическую весну. Задачи предстоящей решительной схватки с Наполеоном потребовали консолидации всех внутренних сил, и сверху был подан сигнал к «единению с народом», к возможным послаблениям. Следствием этого явились и сусальные брошюры Растопчина, и официально патриотический «Русский вестник» С. Н. Глинки, и общее оживление журнальной и литературной деятельности. В 1809 г. начал выходить журнал «Московский вестник», в котором вновь — и на этот раз совсем иначе, чем у Карамзина — был поднят вопрос о смерти Пельского.

В 21-м и 22-м выпусках «Московского вестника» за 1809 г., на страницах 335—338 мы находим следующие строки:

Биография

«Петр Афанасьевич Пельский (коллежский асессор и цензор печатаемых в Москве книг. Родился 1765 г., умер в Москве 1803 г. мая 13 дня).

Происходя от одной из хороших дворянских русских фамилий, воспитан в Москве и отличался глубокими своими познаниями. Никто не смеет оспаривать, чтоб Пельский не обладал отличнейшими сведениями. Кто только знал его, всякой скажет, что он имел удивительно пылкой разум: доказательством тому все сочинения его. Он был предприимчив, смел, отважен; но к сожалению иногда легкомыслен, причиною чего полагали излишнюю доверенность его к самому себе... с друзьями откровенность, с знакомыми политика и чрезвычайная вежливость со всеми, служили не последним его украшением.

Начитанность Вольтера и других последователей онго была отчасти для него гибелью. Наружно он почти во всем следовал правилам общим, но в душе был волтеррианец.

Что касается до сочинений его, то оных весьма немного, а гораздо более переводов; слог его довольно чист и правилен — чему отдать преимущество стихам или прозе, не знаю; кажется, что то и другое имеет свою цену и свой вес.

Отважная предприимчивость перевести и напечатать, во время бытности его цензором, известного Кума Матвея, сочинения чрезвычайно дерзкого, была, говорят, причиною преждевременной кончины его».

В этом некрологе, названном «биографией» столь не двусмысленно акцентировано общественное значение гибели Пельского, так настойчиво и неоднократно подчеркивается его вольномыслие («волтеррианство»), видно такое восхищение «отважной предприимчивостью» Пельского, что поучительные слова о «легкомыслии» и излишней «доверенности к самому себе» выглядят лишь бледным довеском и не могут — и не ставят себе задачей! — никого убедить.

Кто же был автором этого некролога? Что собой представлял журнал «Московский вестник», кто были его сотрудники, на какую

²⁰ Г. П. Макогоненко, Радщев и его время, М., 1956, стр. 738.

читательскую среду он был рассчитан? Тщетно искать ответа на этот вопрос: в критической литературе сведения о «Московском вестнике» отсутствуют. В «Библиографии русской периодической печати» Лисовского приведены ошибочные сведения о сроках его выхода, опровергаемые при первом же сопоставлении с журналом. Отсюда — необходимость рассмотреть вопрос о «Московском вестнике».

Анализ журнала²¹ с неопровержимой ясностью доказывает, что он являлся органом московских разночинцев, журналом с выраженной демократической социальной и эстетической платформой. Поэтому далеко не случайно, что именно в «Московском вестнике» — рупоре разночинной Москвы — нашла отклик трагическая судьба Пельского. Именно в этой среде, как явствует из некролога, и нашел читателей «Кум Матье» Дюлорана — ярчайшее явление демократической культуры предреволюционной Франции.

²¹ См. нашу статью: «Московский вестник» 1809 года, РЛ, 1962, № 3.

Пермский государственный
педагогический институт

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМО УЛУЧШИТЬ*

Редакция журнала «Филологические науки» получила и продолжает получать отклики на статью П. Г. Пустовойта «Филологическое образование необходимо улучшить».

В настоящем номере мы публикуем материалы из статей ст. преподавателя Абаканского пединститута, канд. филол. наук В. Ф. Манаенкова, доцента кафедры литературы Курского пединститута И. З. Баскевича и доцента, зав. кафедрой русского языка МХТИ — Н. С. Бурлакова.

Отмечая своевременность проблем, затронутых в статье П. Г. Пустовойта, В. Ф. Манаенков в статье «Жгучий вопрос» приводит ряд примеров вопиющей безграмотности, обнаруженной в сочинениях абитуриентов, поступающих на историко-филологический факультет Абаканского пединститута.

«Отдельные абитуриенты, — пишет В. Ф. Манаенков, — не владеют правилами правописания безударных гласных, не умеют удваивать согласные, отличать предлоги от приставок, правильно писать падежные окончания, спрягать глаголы, делать переносы слов, расставлять знаки препинания в простых речевых конструкциях», т. е. не знают программы IV — VII классов.

Причины такой безграмотности В. Ф. Манаенков видит, во-первых, в степени квалификации школьных учителей, в их отношении к делу, во-вторых, в несовершенстве школьных программ и учебников, в отсутствии хороших учебно-методических пособий, в-третьих, в системе подготовки учителей-словесников педагогическими институтами.

Анализируя первую из названных причин, В. Ф. Манаенков называет два порока, сильно вкоренившиеся в школьную практику и мешающие овладению высокой речевой культурой, — шаблон и равнодушие. В. Ф. Манаенков пишет: «Научить школьника активному и ревностному отношению к живому слову и письменной речи, к повседневной борьбе за чистоту и высокую грамотность, за овладение несметными богатствами народной речи в такой высокой степени, чтобы «метко сказанное русское слово... было замашисто, бойко, вырывалось бы из-под самого сердца, кипело и животрепетало...» — священная обязанность школы, учителя. Их же обязанность научить школьника правильно произносить и употреблять слова иностранного происхождения».

* Обзор откликов на статью П. Г. Пустовойта, опубликованную в журнале «Филологические науки» № 3 за 1962 год.

Далее В. Ф. Манасников говорит о подготовке учителей-словесников в пединститутах:

«Надо прямо сказать, что учителей-словесников пединституты готовят плохо. Это, конечно, не означает, что у нас нет никаких достижений в области гуманитарного образования, отсутствуют высококвалифицированные специалисты, мало поучительных примеров и образцов хорошей постановки учебно-воспитательной работы. Все это есть. Но главная беда в том, что ныне действующие учебные планы и программы пединститутов несовершенны и не отвечают задачам подготовки высококвалифицированного учителя русского языка и литературы. Во-первых, потому, что широкий профиль, предусматривающий подготовку учителя русского языка, литературы и истории, не оправдал себя и стал, пожалуй, одним из серьезных тормозов на пути выпуска высококвалифицированного специалиста. Правда, теперь этот широкий профиль несколько «трансформирован», и студентам-дипломантам предоставляется право делать выбор и держать госэкзамены либо по истории, либо по литературе (русский язык обязателен для всех). Но практически это мало чем облегчает участь будущего учителя-словесника. Учебный план всех пяти лет обучения крайне напряженный, студенты перегружаются учебными занятиями настолько, что для самостоятельной работы, творческого роста, чтения художественной литературы и знакомства со смежными областями знаний: этнографией, живописью, музыкой, зодчеством, скульптурой и явнием, — у них не остается ни одной свободной минуты. Да и о какой свободе времени у студента-филолога может быть речь? Возьмем, к примеру, III курс литературного отделения. В неделю у них проводится семь, а иногда и больше семинарских занятий. Спрашивается, как же студент может на протяжении одной рабочей недели хорошо подготовиться ко стольким практическим и семинарским занятиям? Вот он, скажем, получил задание изучить проблематику и поэтическое своеобразие лирики Н. А. Некрасова 40—50-х годов. При самой жесткой регламентации на чтение текстов лирических стихотворений поэта — с выписками и заметками — уйдет 2—3 часа, столько же — на изучение соответствующих разделов и глав монографий и журнальных статей да для окончательной компоновки материала потребуется не менее 2-х часов... В результате, чтобы подготовиться к активному участию в семинаре, следует затратить 7—8 часов. Но так как степень трудности и сложности при подготовке к практическим и семинарским занятиям не одинакова — бывают и менее трудоемкие темы, — сократив эту цифру до пяти и умножив ее на число практических занятий в неделю — семь, получим 35 часов, которыми надо располагать, чтобы иметь возможность добросовестно готовиться к ним.

Но ведь у студента-филолога не одни семинары и практические занятия. Он слушает лекционные курсы, проходит педпрактику в школе без отрыва от учебных занятий, участвует в кружках, занимается общественной работой, дежурит в общежитиях и учебных корпусах, производит в них уборку, да сверх того — в некоторых пединститутах, где возводятся учебные корпуса или студенческие общежития, принимает активное участие в их строительстве.

Наконец, весь сентябрь, а иногда и часть октября все студенты, за исключением пятикурсников, находятся на сельскохозяйственных полевых работах, что влечет за собой сокращение учебного года на 4—6 недель, механическое сокращение лекционных курсов на 10—15%, а, следовательно, вынесение многих разделов и тем на самостоятельное изу

чение. Таким образом, и без того исключительно перенасыщенный учебный план становится просто непосильным.

Но учебный план широкого профиля страдает и другими существенными недостатками, в частности — несоблюдением синхронности при чтении лекционных курсов. Это относится прежде всего к историческому отделению, где история СССР читается со значительным разрывом по сравнению с литературными курсами соответствующих периодов. Так, например, в третьем семестре чтение истории СССР начинается с первого десятилетия XIX в., в то время как курс русской литературы продолжается изучением творчества Н. Г. Чернышевского. Следовательно, филологу приходится тратить много времени на то, чтобы давать социально-исторический комментарий эпохи и насаждать необходимый исторический материал, прежде чем перейти к изложению литературного материала.

Вред от такого несоответствия двойной: во-первых, значительная часть времени у филолога пропадает даром; во-вторых, это «наслаивание» или накапливание исторического материала вносит некоторую нестройность в изложение и анализ эстетического содержания произведений, нарушает плавность и последовательность тематики и даже курса в целом. К тому же и студенты должны выполнять двойную работу: одновременно усваивать и запоминать исторические сведения и тут же воспринимать явления литературы и искусства. И, видимо, это им плохо удается, что подтверждается многолетним опытом на курсовых и государственных экзаменах.

Незнание дат рождения и смерти писателей и поэтов, времени создания крупных произведений — довольно частое явление не только на курсовых, но и на государственных экзаменах. Так, например, в летнюю сессию 1962 г. на госэкзаменах по литературе студентка-заочница К. утверждала, что Гоголь своего «Ревизора» написал... в 1870 году (?!). Свободно и часто употребляя выражения — «двадцатые годы», «тридцатые годы», «сороковые годы», «пятидесятые», «шестидесятые» и т. д., студенты, в том числе и выпускники исторических отделений, не знают, какие десятилетия заключают в себе эти выражения. Когда спросишь, в какие годы живем мы с вами, то ответы бывают самые разноречивые; одни говорят в пятидесятые, другие — в шестидесятые, третьи — в семидесятые, поскольку мол, идет уже 1962 год, т. е. седьмой десяток века.

Монографий, вообще критической литературы студенты-филологи почти не знают. Они даже удивляются, когда спрашиваешь их об этом.

Думается, что первопричина всех существенных недостатков в деле подготовки учителя-словесника, плохо владеющего своей специальностью, кроется именно в широком профиле, от которого настало время отказаться.

Второе мероприятие, связанное с коренным улучшением подготовки учителей русского языка и литературы, должно быть направлено на разработку новых действенных учебных планов, свободных от ненужной многопредметности и насыщенных не только вопросами теории и истории литературы и языка, но и разделами, предусматривающими практическое изучение литературы, грамматики и стилистики применительно к задачам и вузовского, и школьного курсов. Ведь в настоящее время педагогические институты этим почти не занимаются.

Особое место надо отвести изучению художественного слова, подготовке такого учителя-словесника, который действительно смог бы

донести красоту русской речи до своих питомцев, зажечь в них «искру Божию» и воспитать горячих патриотов родного слова, способных высоко ценить несметные богатства великого классического наследия русской и советской литературы.

Поднять истинное значение художественного слова, повесить ответственность за правильное его написание и произношение — актуальнейшая задача всех, кто воспитывает нашу молодежь, готовит ее к активному строительству коммунизма.

Поэтому исключительно велика роль лектора вуза, квалификация которого далеко не одинакова.

Конечно, организация учебно-воспитательной и научно-методической работы — фактор важный и значительный. Но никакая организация учебного процесса и научно-методической работы не может восполнить пробела, заключающегося в слабой квалификации педагогического коллектива.

В. И. Ленин, высоко оценивая значение лектора, в «Письме ученикам Каприйской школы» писал: «Во всякой школе самое важное — идейно-политическое направление лекций. Чем определяется это направление? Всецело и исключительно *составом лекторов*. Вы прекрасно понимаете, товарищи, что всякий «контроль», всякое «руководство», всякие «программы», «уставы» и проч., все это — звук пустой по отношению к составу лекторов. Никакой контроль, никакие программы и т. д. абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которое определяется составом лекторов»¹.

В высшей степени справедливо поэтому замечание П. Г. Пустовойта о том, что «одних лекторов можно слушать, других — нельзя слушать, третьих — нельзя не слушать».

В самом деле, как можно слушать лектора, который начинает свою очередную лекцию обращением к студентам: «Слушайте сюда!» (?!) Ведь хорошо известно, что слушать можно внимательно или рассеянно, охотно или нехотя, спокойно или раздраженно и т. д. и т. п., но слушать «сюда» никак невозможно.

А когда нам пришлось побывать, например, в учебном корпусе Тюменского сельскохозяйственного института, то мы на дверях кабинетов заведующих кафедрой увидели красиво оформленные таблички с надписями: «Завкафедры физики», «Завкафедры химии», «Завкафедры ботаники»... и т. д.

Ответственность за слово, его правильное и эмоциональное произношение в последние годы у некоторой части филологов значительно понизилась. Живое и яркое слово перестает пользоваться достаточным вниманием и уважением, и молодой филолог, разгорячившись в споре и желая прибегнуть к приемам диалектики, произносит буквально следующую фразу: «У портретной рамки есть перед и зад». Да, да! Так буквально и сказал: «перед и зад». И — ни тени смущения. Как будто это в порядке вещей.

Говоря о лекторе, об активном повышении качества его работы, нельзя не согласиться с мнением П. Г. Пустовойта, который выдвинул идею параллельного чтения однотипных лекционных курсов разными преподавателями. Это, пожалуй, в какой-то степени явилось бы первым шагом на пути к свободному посещению лекций студентами.

Но тут встает и другой вопрос, связанный с расширением возможностей для творческого роста преподавателей. В настоящее время

когда преподаватель литературы выполняет годовую учебную нагрузку, равную 800 часам, из которых свыше 300 часов лекционных, заниматься повышением своей квалификации и выполнять серьезную научно-исследовательскую работу он едва ли сможет успешно. Тут должна речь пойти о значительном сокращении учебной нагрузки вообще и о дифференцированном ее распределении в частности.

Серьезному пересмотру должны подвергнуться учебные планы и программы средних и восьмилетних школ. Об этом скажут свое веское слово учителя-словесники. Их доводы будут более убедительными. Но введение (т. е. восстановление) переводных экзаменов в школе не терпит никаких отлагательств. Эта мера, как первый толчок на пути улучшения работы средней школы, должна найти свое быстрое и оперативное воплощение во всех школах Российской Федерации.

Улучшение филологического образования — неотложная, боевая задача. Это — жгучий вопрос, без делового решения которого нельзя решить и многих других вопросов, связанных с выполнением грандиозных задач, поставленных XXII съездом нашей партии перед работниками идеологического фронта.

В статье «Так дальше нельзя» доцент Курского пединститута И. З. Баскевич главную причину того, что литература во многих школах стала для учеников «скучным предметом», видит в вузовской системе преподавания. Он пишет: «Подготовка преподавателей литературы в вузах и переподготовка их в институтах усовершенствования учителей поставлена неудовлетворительно.

П. Г. Пустовойта тревожит состояние филологического образования в МГУ им. Ломоносова и, судя по его статье, основания для такой тревоги имеются. Но ведь уровень подготовки учителей-филологов в педагогических институтах, в особенности периферийных (а они выпускают подавляющую часть преподавателей литературы), много ниже. Очень горько смотреть на студентов, которые за пять лет пребывания в ВУЗ'е сдают около 100 экзаменов и зачетов по различным дисциплинам (числом поболее, а знаний поменьше — таков, видимо, принцип). Еще печальнее то, что, получив диплом, в котором значатся три (!) специальности, и дополнительную справку еще об одной или двух, они могут с полным основанием сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю» и — самое главное — «я не умею литературоведчески мыслить, я не готов к творческому преподаванию литературы в школе» (а ведь преподавать нетворчески — это как раз и делать литературу скучной). В самом деле, и литературный кругозор, и уровень литературоведческого мышления большинства наших выпускников явно недостаточны. Из стен педагогических институтов выходят учителя-словесники, которые даже о Блоке имеют приблизительное представление, Николая Успенского путают с Глебом, а стихи Багрицкого, Луговского, Прокофьева представляют лишь по цитатам из лекций. Но самая большая беда даже не в этом, а в том, что будущие педагоги не вооружаются литературоведческой методологией, позволяющей им в дальнейшем самостоятельно овладевать богатствами литературы.

П. Г. Пустовойт говорит, что филологическому образованию наносит немалый вред те произведения, в которых «позиция авторов преднамеренно завуалирована, а герои вывихнуты или заражены современной бацилой стилистичности». Конечно, было бы хорошо, если бы современные советские писатели создавали исключительно высокоидейные и высокохудожественные книги. Однако опыт истории литературы убеждает в том, что так не бывает. Наряду с пишущей произрастают

и плевелы. Беда заключается в том, что мы не учим студентов-филологов отличать здоровое зерно от большого, искусство от сорняков, не учим умиению самостоятельно анализировать произведения литературы. Это не предусмотрено учебным планом, на это нет времени в лекционных курсах, которые до того сжаты, что лектор, буквально, мчит по писателям галопом. Не мудрено поэтому, что многие наши выпускники, во всяком случае на первых порах, боятся оторваться от учебника, методического руководства, инструкции. Они способны ходить только на помочах.

Должно вспомнить, что разговоры дискуссии, споры на эту тему идут давно, однако уровень филологического образования от этих разговоров (в том числе и в печати) не только не становится более высоким, но — будем говорить начистоту — снижается с каждым годом.

Я работаю в педагогическом институте скоро уже 20 лет и хорошо помню, как из учебных планов факультетов русского языка и литературы одна за другой постепенно исчезали жизненно важные дисциплины.

Существовал на выпускном курсе такой предмет как теория литературы, его вычеркнули под тем предлогом, что на первом курсе читается «Введение в литературоведение». Это «Введение...» предназначено для того, чтобы вооружить первокурсников элементарными литературоведческими понятиями, терминологией. Но, для того чтобы разобраться в сложных литературоведческих категориях, у студентов 1-го курса нет необходимых знаний. А разве не ясно, что теоретические представления и выводы имеют цену лишь тогда, когда за ними убеждения, основанные на достаточно весомом материале. Вот и зубрят бедные студенты, что есть метод, что есть стиль, что такое типичность, а толку от этой зубрежки немного.

Существовал в пединститутах курс «Литература народов СССР». Влачил он жалкое существование, так как отводилось на него мало часов, но все же существовал. Этот курс также исключили из учебного плана филологических факультетов пединститутов, уже без всяких предлогов. И в самом деле, кто осмелится сказать, что учитель русского языка и литературы не должен знать Шевченко и Лесю Украинку, А. Церетели, Ауэзова и других представителей многонациональной литературы. Такого нигилиста не найти. Но и требования знать этих писателей мы не можем предъявить к будущему преподавателю литературы в школе.

Существовал в пединститутах на первых курсах и пропедевтический курс советской литературы, задачей которого было ввести студентов в круг литературных интересов, приучить их следить за новинками литературы. Где этот курс? О нем осталось лишь горестное воспоминание.

И вот в самый разгар споров о недостатках учебного плана Министерство просвещения РСФСР и Министерство высшего образования почему-то сочли, что специальность «преподаватель русского языка и литературы» слишком узкая, и росчерком пера присоединили к ней еще одну — специальность «преподавателя истории», прибавив, правда, один год на обучение будущих педагогов. Справедливость требует, однако, сказать, что этот год практически был дан не специальным дисциплинам (т. е. русскому языку, литературе и истории), а педпсихике, из-за чего литература была вынуждена еще более потесниться. Теперь ведется дружное наступление на спецкурсы, призванные ввести

студентов в литературоведческую методологию (на заочных отделениях эти спецкурсы уже исключены из учебных планов, так как они не влезают в сетку учебных часов). Деканаты и без того вынуждены нажимать на преподавателей специальных дисциплин, чтобы они сокращали свои курсы и практикумы, от которых и так остались рожки да ножки.

Создалось парадоксальное явление: филологам некогда заниматься теми дисциплинами, которые им предстоит преподавать. Литературоведение решительно потеснено всякого рода вспомогательными дисциплинами. Пионерская практика без отрыва от учебы, а затем в лагере (за счет сокращения академических занятий) получает в этом отношении определенное предпочтение перед советской литературой (на пионерскую практику отводится больше времени), словно филологические факультеты готовят пионервожатых, а не преподавателей литературы. Какое уж здесь сознательное усвоение! Свободное время студента настолько ограничено, что готовиться к лекциям практически невозможно и поэтому в значительной мере впустую он слушает, например, о трагедиях Эсхила, когда сам их не читал.

Все это давно известно; обо всем этом говорено-переговорено, но...

Но вот учитель вышел из стен вуза. Через несколько лет его приглашают на переподготовку в Институт усовершенствования учителей. Что бы вы сказали, если бы врача по окончании медицинского института послали на повышение квалификации — к фельдшерам? Очевидная нелепость. Но наши институты усовершенствования поставлены в такое положение, что их кадры не сильнее, а намного слабее тех, которые были в педагогическом институте. Какое уж тут повышение квалификации!

И все же, кто виноват в том, что филологическое образование у нас нуждается в решительном улучшении? П. Г. Пустовойт перечисляет многих и многих. И преподавателей вузов, и сами ВУЗ'ы и ученых, которые пишут плохие учебные пособия. Нет сомнения, они виновны. Однако же существует еще один виновник, который в статье П. Г. Пустовойта почему-то не назван. Это — Министерство высшего образования. Именно оно утвердило, по общему мнению, негодные, явно устаревшие учебные планы, именно оно утверждает программы, которые перед этим не обсуждаются научной общественностью и в результате страдают существенными недостатками. Именно оно могло бы провести конкурс на лучшие учебники и учебные пособия для вузов, вместо того, чтобы издавать работы, не стоящие на уровне современной науки. Наконец, для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава можно было бы организовывать периодически творческие семинары, где обсуждались бы вопросы построения курсов, вопросы методики и т. п. Причем, на такие семинары следует приглашать не только докладчиков, но и всех работников литературоведческих кафедр, как это делается в отношении работников кафедр общественных наук. И, кстати, кто сказал, что литературоведение к общественным наукам не относится? Почему преподаватель ВУЗ'а, читающий историю Киевской Руси, имеет учебную нагрузку не свыше 550 часов, а преподаватель советской литературы — до потолка. Где тут логика?».

В статье «Изменить всю систему подготовки филологических кадров» Н. С. Бурлаков пишет: «Да, филологическое образование необходимо улучшить. Критических статей по этому вопросу за один только 1962 г. опубликовано вполне достаточно, чтобы перейти к кон

кретным предложениям об изменении системы подготовки филологов в университетах и пединститутах.

Старейший педагог-словесник А. М. Топоров справедливо предлагает избавиться от «засухи, поразившей преподавание литературы...» путем «срочной перестройки всей системы подготовки учителей-словесников» («Литературная газета» от 5 января 1963 г.). А. М. Топоров называет основные черты словесников нового типа: любовь к литературе, знание ее, энтузиазм и артистическое мастерство чтения художественных произведений». Все это правильно. Но как сделать, чтобы воспитать этот «новый тип словесников»?

Многолетние наблюдения за работой молодых преподавателей литературы и русского языка приводят к печальным выводам. Большинство филологов, приходя на работу в школу или вуз, с одинаковой уверенностью берутся преподавать или русский язык, или литературу, а чаще всего то и другое сразу. Но, преподавая русский язык, такой специалист чаще всего не владеет даже лингвистической терминологией, у него нет профессионального чутья к языку, к слову, он не может мыслить категориями лингвистики, а преподаватель литературы — даже в вузе — так далек от искусства, что ему бы как раз подошло преподавать лингвистику.

В настоящее время филологические факультеты университетов и пединститутов выпускают специалистов, имеющих лишь поверхностное представление о языке, литературе, педагогике и не являющихся в точном значении слова специалистами ни в одной из этих областей.

Все преподаваемые на филфаках предметы можно сгруппировать в четыре цикла:

- 1) общественно-экономический, куда входят — история Запада, народов СССР, история КПСС, политэкономия, философия;
- 2) языковедческие дисциплины и иностранный язык;
- 3) историко-литературоведческий;
- 4) педагогический с включением сюда психологии и методики.

На протяжении 4 или 5 лет эти дисциплины идут как строго обязательные для всех студентов, и только дипломная работа должна определить окончательный выбор специальности — язык или литература. Но на работе выпускника никто не спрашивает, какой был диплом — языковедческий или литературоведческий.

Термин «филолог» слишком широк. Теперь наступила пора выпускать с филологических факультетов специалистов двух профилей — преподавателей русского языка и преподавателей литературы, научных работников тоже по этим специальностям.

В наше время, когда в каждой области знаний сложилось так много отдельных, узких, но очень важных направлений, невозможно требовать от человека овладеть за 4—5 лет в одинаковой мере такими родственными, но далекими областями знаний, как литература и лингвистика.

Не входя в подробности относительно количества часов на каждый учебный предмет, хочется внести такое предложение по организации системы подготовки «нового типа» преподавателей литературы и языка: первые два года давать для всех студентов учебные предметы общего филологического профиля, т. е. лекции по общественно-экономическому циклу, по общим курсам литературы зарубежной, русской, советской, по истории языка, общему языкознанию, современному

русскому языку и другим языковедческим дисциплинам, а также по истории педагогики.

Семинары ограничить, на них выносить только главные проблемы читаемого курса.

За два года студент будет иметь возможность безошибочно избрать себе будущую специальность, а преподаватель-воспитатель обязан подсказать наиболее правильный выбор.

Второй период обучения, начиная с 3-го курса, — специализация. Лингвисты будут иметь свою программу, литераторы — свою. Иностранный язык обязателен для тех и других на протяжении всех лет обучения, с той только разницей, что для литераторов применительно к художественному переводу, для лингвистов — к языку как науке.

Прочитав общие лекционные курсы за два года, мы будем иметь возможность на втором этапе обучения осуществить полностью конкретную специализацию. Теперь творческие семинары, спецкурсы, курсовые работы и другие формы активного формирования специалиста должны преобладать над лекциями.

Лекции с богатыми иллюстрациями будут читаться лишь по истории смежных с литературой искусств.

Литераторы должны будут изучить историю искусств. Какой же это преподаватель литературы, литературовед или критик, если он не имеет представления о живописи, музыке, скульптуре, в эпоху Пушкина и Достоевского, в античные времена и в наш век? Без знания смежных с литературой искусств невозможно в наше время представить себе преподавателя литературы. Критика руководителями партии и правительства абстракционизма и формализма убедила нас в том, что значительная часть литераторов оказалась недостаточно подготовленной в области эстетической теории и не сумела своевременно дать отпор чуждым нам явлениям в искусстве. Многие аспиранты гуманитарных вузов, как оказалось, не знают азов живописи и музыки. Как же они могут противостоять идеологической диверсии в области искусства, если сами впервые узнают от тех же абстракционистов о возникновении этого течения?

Еще раз хочется сказать, — прав А. М. Топоров, требуя от учителя-словесника артистического чтения художественных произведений. Почему преподаватель на уроке литературы или на лекции должен читать «Евгения Онегина» или отрывки из «Анны Карениной» хуже артиста?

Нельзя без муки слушать и смотреть, как большинство преподавателей литературы говорят на занятиях или выступают с лекциями. Сейчас народ наш имеет высокий уровень художественного развития, многие учащиеся 9—11 классов далеко обогнали своих учителей литературы, а на филологических факультетах все еще по старинке готовят кадры.

Нельзя допустить, чтобы в 1963—1964 гг. выпускали специалистов по языку без знания основ машинного перевода, математической лингвистики, без умения свободно пользоваться техническими средствами при обучении языку. Невозможно стало выпускать преподавателей русского языка без знания одного из иностранных языков как основного.

Все это должно быть предусмотрено при изменении всей системы подготовки филологических кадров.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

**ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОЛГОГО
ПАЛАТАЛИЗОВАННОГО [š':] В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Л. Р. Зиндер

Едва ли можно сомневаться в том, что вопрос о [š':] возник только благодаря тому, что в русской азбуке имеется буква *щ*. Уже Тредьяковский и Ломоносов писали, что эта буква не отражает никакого особого звука русского языка. Вследствие этого Тредьяковский безоговорочно требовал изъятия этой буквы из алфавита¹, Ломоносов же допускал ее по особым соображениям. В «Российской грамматике» он писал: «Ш составлена из *ш* и *ч*, не больше права имеет быть в азбуке, как ξ и ψ , и в употреблении разве для того оставить, что в некоторых российских провинциях как *шш*, в Сербии и других славенских народов, которые славенороссийские буквы употребляют, как *шт* произносятся»². Для Ломоносова, следовательно, смысл существования буквы *щ* заключается в том, что она давала возможность графически одинаково изображать этимологически тождественные, но по-разному произносимые сочетания согласных. Из ссылки на произношение, встречающееся «в некоторых российских провинциях», ясно, что он имел в виду существующее, как известно, и сейчас в некоторых диалектах твердое долгое [š:].

В фонематическом плане вопрос о [š':] был впервые поставлен Бодуэном, и опять-таки в связи с графикой. При этом Бодуэн совершенно справедливо указывал, что только под влиянием буквы *щ* возникает представление о фонетической неделимости соответствующего сочетания согласных. «Благодаря смещению понятий вообще, — писал он, — а смещению представлений букв с представлениями звуков в частности, звук, соответствующий зрительной единице *щ*, считается такою же простою произносительною единицею, как звуки, соответствующие буквам *т*, *с*, *ш*, *ж*, *ц*, *ч* и т. п.»³.

Бодуэн не оставляет без внимания возможность двойного произношения [šš] и [š':], но в обоих случаях считает, что мы имеем дело с сочетаниями фонем; «...графема *щ*, — пишет он, — ассоциируется не с одною

¹ В. К. Тредьяковский, Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи, Соч. т. 3, СПб, 1849.

² М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 7, стр. 422

³ И. А. Бодуэн-де-Куртене. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912, стр. 116

фонемую, а с двумя друг за другом следующими: [š̌] *шч* или [š̌š̌] *шшш*»⁴. Таким образом, по Бодуэну, долгого глухого палатализованного шипящего, как особой фонемы, в русском языке нет. К сожалению, Бодуэн ничего не говорит о том, на какие две фонемы разлагается этот согласный. Вместе с тем это далеко не очевидно, поскольку краткого мягкого «š̌'» в русском языке не существует.

Точка зрения Бодуэна не подвергалась прямой критике, но она и не была принята. В настоящее время [š̌':], можно сказать, единодушно признается особой фонемой⁵, хотя мотивируется такое решение вопроса разными исследователями по-разному.

Л. В. Щерба основывается на противопоставлении мягкого долгого шипящего соответствующему твердому. В одной из последних, опубликованных посмертно, работ он писал: «Оба произношения — «шчь», «жжж», с одной стороны, и «шшьшь», «жжьжь», с другой, — надо считать вполне литературными, а потому и возникает вопрос о дополнении списка согласных фонем русского литературного языка двойным мягким «шшьшь» и двойным мягким «жжьжь». Это были бы фонемы, употребляемые не повсеместно и в сравнительно небольшом количестве слов, но тем не менее вполне выкристаллизовавшиеся в самостоятельные звуковые единицы: те, кто употребляют эти фонемы, ...различают, например, слова с *шёлком* и *щёлком*, как «шшолкѣм» и «шшьёлкѣм», г. е. противопоставляя двойное твердое *шш* двойному мягкому «шшьшь»...»⁶.

Р. И. Аванесов, посвятивший вопросу о долгих шипящих согласных в русском языке специальную статью, также рассматривает мягкие долгие шипящие в связи с другими долгими согласными, в частности — с долгим твердым шипящим, он сопоставляет, например, слова *шшт* и *шшт'*; однако он пользуется в своих рассуждениях критерием морфологической членимости. Поскольку все прочие долгие согласные встречаются только на стыке морфем (слова *масса*, *касса* и т. п. Р. И. Аванесов отбрасывает как иностранные заимствования, имеющие тенденцию к сокращению долгих в русском произношении), они бифонемны. Мягкие же долгие, отличающиеся тем, что они встречаются и внутри морфем — монофонемны. «Таким образом, — пишет он, — в отличие от долгих твердых шипящих, употребляющихся на стыке морфем и потому членимых и представляющих собой сочетания фонем, — долгие мягкие шипящие встречаются внутри морфемы, потому нечленимы и образуют отдельные фонемы»⁷.

А. Н. Гвоздев, признающий [š̌':] и [ž̌':] самостоятельными фонемами, аргументирует эту точку зрения неразложимостью их на два кратких, ввиду отсутствия кратких мягких шипящих фонем в русском языке. Сопоставляя [š̌':] и [ž̌':] с другими долгими согласными, которые он считает бифонемными, он пишет: «В другом положении находятся долгие мягкие шипящие *ш*, *ж*: рядом с ними отсутствуют краткие звуки того же качества, и потому они не допускают разложения на два зву-

⁴ И. А. Бодуэн-де-Куртене, Об отношении русского письма к русскому языку. стр. 101.

⁵ В написанной Л. В. Щербой и М. И. Матусевич главе по фонетике «Грамматика русского языка» АН (М., 1960) [š̌':] не включено в список фонем, но сделано это не потому, что этот согласный не признается особой фонемой, а только потому, что он не является обязательным для литературного произношения, в котором допустимо и [š̌].

⁶ Л. В. Щерба, Теория русского письма, Избранные работы по русскому языку. М., 1957, стр. 171.

⁷ Р. И. Аванесов, О долгих шипящих в русском языке. Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, вып. 6, 1948, стр. 25

ка. Они противопоставляются другим звукам только как целые величины»⁸.

Общим для всех приведенных высказываний является то, что в них мягкие долгие шипящие сопоставляются с твердыми, и что они в отличие от последних не признаются сочетаниями двух фонем. Остается совершенно непонятным, как противопоставление долгих мягких [š':, [ž':] долгим твердым [š:], [ž:] может служить доказательством монофонемности мягких, если бифонемность твердых не оспаривается. Нелогичность такого доказательства заставляет снова вернуться к вопросу о фонематической трактовке этих согласных. При этом следует заметить, что глухой и звонкий долгие палатализованные шипящие связаны между собой только формально фонетически. В системе русского языка и в русской речи они стоят совершенно особняком. Долгий звонкий палатализованный постепенно исчезает из литературного произношения и, что особенно важно, заменяется соответствующим непалатализованным ([drož':y, vož':y] вместо [drož':i, vož':i]), глухой же палатализованный никогда в литературном произношении твердым не заменяется и получает все большее распространение. Поэтому совместное рассмотрение вопроса об этих согласных не может помочь их фонематической трактовке; в дальнейшем в этой статье речь будет идти только о глухом долгом шипящем.

Обращаясь, таким образом, к [š':], нужно рассматривать его, как это и делал Бодуэн, в связи с [šč]. Во-первых, они строго соответствуют друг другу в различных вариантах произношения; во-вторых, [š':] несомненно восходит к [šč], так что вопрос, в сущности, состоит в том, чтобы определить, действительно ли в современном русском языке (или в одном из его вариантов) произошла монофтонгизация этого сочетания.

Фонологическая членимость или нечленимость тех или иных фонетических величин не может быть выявлена путем противопоставления их другим величинам.

Противопоставленность свидетельствует лишь о фонологическом различии соответствующих единиц. Так, из противопоставления «р» и «sk» или «р» и «st», например, в словах *пол* и *скот*, *пол* и *сток* и т. п.⁹ вытекает, что «р», «sk» и «st» фонологически различаются. Однако из того, что «р» фонологически неделимая единица, никто не делает вывода, что «sk» и «st» являются монофонемными в русском языке.

Для доказательства фонематической делимости или неделимости нужно пользоваться какими-то иными методами, кроме метода противопоставлений.

Бесспорность фонематического членения таких сочетаний, как «st», «р, sk» в русском языке (например, в словах *стол*, *спать*, *скот*) базируется, во-первых, на морфологической членимости их во многих других случаях (например, в словах *столкнуть*, *испачкать*, *расколоть* и т. п.), во-вторых, на фонетическом тождестве морфологически членимых и нечленимых сочетаний. Бифонемны в русском языке и сочетания согласных «ts, tš» (например, в словах *отсеять*, *подшить*), которые

⁸ А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, часть 1, М., 1961, стр. 17.

⁹ Подобный метод квазимонимов (выражаясь «по-модному»: «минимальных пар»), отражает deeply пройденный русской фонологией этап, поэтому здесь приводятся не квазимонимы, а слоглы, содержащие противопоставленные фонемы в одинаковых фонетических положениях.

всегда членятся морфологически и фонетически отличны от соответствующих морфологически никогда не членимых аффрикат «с» и «щ» (ср. с предыдущими примерами слова *нацелить, почить*; как нельзя [pa'it'patklatku], так нельзя и [patšytna lavgъx]).

При таком подходе легко обнаруживается, что между «щс» и другими сочетаниями согласных в русском языке нет принципиальной разницы. Бифонемность сочетания «щс» доказывается тем, что, во-первых, во многих случаях морфологическая граница проходит между «щ» и «с» (например, в словах *счистить, расчесать* и др.); во-вторых, морфологически членимое «щс» фонетически не отличается от морфологически нечленимого; в таких словах, как *исчислить, исчерпать*, с одной стороны, и *исчезнуть, ищейка*, с другой стороны, «щс» фонетически тождественно.

Критерий морфологической делимости может быть распространен и на долгие (или «двойные») согласные, которые принципиально не отличаются от сочетаний разных согласных. Л. В. Щерба писал о них: «Тот факт, что «двойные» согласные являются артикуляторно едиными, не меняет положения вещей, так как и такие группы согласных, как «ст, зд, шт, жд, бм, дн» и т. п. артикуляторно представляются едиными»¹⁰. И далее: «Мне кажется, что так как в целом ряде случаев долгие согласные со всей очевидностью понимаются как «двойные», то это понимание естественно распространяется и на те случаи, где морфологическая делимость неясна: ее всегда можно предположить в прошлом»¹¹.

Л. В. Щерба имел здесь в виду все долгие согласные русского языка, кроме мягких долгих шипящих. Однако его рассуждения, разумеется, могут быть распространены и на последние; в фонематической трактовке долгого [š':] можно идти теми же путями, которые выше были использованы при проверке бифонематичности «щс». Совершенно очевидно, что в варианте произношения [iš' : is' / it' : iš'ьrpat'] морфологическая граница проходит внутри долгого [š':] как она в другом варианте (([iš'ć'is' / it', iš'ć'ьrpat']) проходит внутри [š'ć']. Соответственно [š':], как утверждал Бодуэн, фонематически также делимо, как «щс». Это, казалось бы, не должно вызывать сомнений. Сложность заключается лишь в определении того, из каких именно фонем состоит [š':], поскольку краткого [š'], как особой фонемы, в русском языке не имеется¹². Именно это обстоятельство, конечно, и помешало Л. В. Щербе признать в [š':] бифонемное сочетание, что единственно и соответствует его общей концепции.

Когда дело идет о фонематической трактовке долгих согласных (равно как и сочетаний согласных), оказывается необходимым исследовать противопоставления их не только отдельным согласным (в том числе и соответствующим кратким), но и сочетаниям согласных.

Анализируя, например, долгое [s:] в русском языке, мы прежде всего убеждаемся в том, что оно противопоставлено краткому (*сон — ссора*). Далее, устанавливаем из слов *ссыпать, ссадить* и т. п., где [s:] фонетически тождественно [s:] в *ссора*, что [s:] бифонематично. Для того же, чтобы определить, какие две фонемы заключены в нем, мы должны проверить, каким сочетаниям оно противопоставляется. Оказывается,

¹⁰ Л. В. Щерба, Указ. соч., стр. 165, сноска.

¹¹ Там же, стр. 165.

¹² В том варианте литературного произношения, в котором имеется «щс», первый согласный представляет собой мягкое [š'], но фонематически это не что иное, как один из оттенков фонемы «š», мягкость которого обусловлена ассимиляцией последующему [ć']

что [s:] противопоставлено в русском языке всем возможным сочетаниям двух фонем (напр., «sp, st, sc, sf, sx»¹³ и т. п.), кроме сочетания «ss». Из этого мы с необходимостью заключаем, что [s:] = «ss», точно так же, как из того, что [s^o] противопоставлено всем согласным, кроме «s», мы заключаем, что [s^o] = «s».

Обращаясь к долгому мягкому [š':], мы находим, что оно противопоставляется в русском языке всем возможным сочетаниям согласных кроме «šč». Это заставляет признать, что по своей фонематической сущности [š':] и есть сочетание «šč» и что оно, следовательно, разлагается на две фонемы: «š» и «č».

Таким образом, система согласных фонем русского литературного языка одина; можно говорить лишь о двух вариантах произношения сочетания «šč». Одни произносят краткое мягкое [š'] плюс [č'], другие — долгое [š':], возникновение которого из [š'č'] отнюдь не является загадочным в фонетическом отношении. Так как аффриката «č» в русском языке всегда мягкая, т. е. заканчивается мягким [š'], то при развитии [š'č'] в [š':] произошла лишь утрата смычной фазы в аффрикате. Это оказалось возможным благодаря тому, что в русском языке нет фонемы «š'», а следовательно, и сочетания двух «š'», с которым совпало бы такое произношение сочетания «šč». В сочетании «sc», напротив, смычная фаза в аффрикате сохраняется, так как утрата ее привела бы к смешению фонологически противопоставленных сочетаний «sc» и «ss».

Как известно, Щерба и вслед за ним Трубецкой рекомендуют пользоваться при решении вопроса о монофонемности и бифонемности критерием длительности¹⁴. Согласно этому критерию, долгое мягкое [š':], если оно является одной фонемой, должно иметь в среднем существенно меньшую длительность, чем сочетание фонем.

Соответствующий эксперимент показал, что и с указанной точки зрения [š':] следует признать сочетанием фонем. Эксперимент состоял в следующем: были записаны краткие предложения, содержащие слова или сочетания слов, в которых [š':] и в аналогичных условиях сочетание «sc» находились бы внутри одной морфемы (например, *счастье, сцена*) и на стыке морфем (*расческа, расценка*). Оказалось, что длительность долгого [š':] и сочетания «sc» колеблется в общем в одинаковых пределах: однако в большинстве случаев длительность сочетания несколько выше длительности [š':], вместе с тем у некоторых дикторов встречается и обратная картина.

Так как относительная краткость [š':] по сравнению с сочетанием «sc» может объясняться артикуляционной однородностью первого в отличие от неоднородности второго, необходимо было сравнить длительность [š':] с длительностью других долгих согласных, и прежде всего твердого долгого [š:]. Для этого были записаны словосочетания, содержащие следующие слова: *сшит, бесшумный, рассада, масса, щит, расчетный* в произношении трех дикторов. Полученные данные показывают, что долгие [s:] и [š:], являющиеся по общему признанию бифонемными, имеют зачастую длительность не только не большую, но даже меньшую, чем [š':]. Из этого следует, что и длительность [š':], в дополнение к приведенным выше соображениям, заставляет считать этот согласный сочетанием двух фонем.

Наконец, нужно указать еще на один факт, свидетельствующий о

¹³ Противопоставление [s:] таким сочетаниям, как «ls, št» и т. п., также подрау мевается, но доказывать их было бы излишним педантизмом; достаточно ограничиться сочетаниями, фонетически наиболее близкими анализируемому долгому согласному

¹⁴ И. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 65—66

зесостоятельности различной фонематической трактовки [š'č'] и [š':]. Л. В. Щерба и другие, считающие, что такое различие имеется, основываются на наличии двух вариантов литературного произношения. В действительности же резкой границы между этими двумя вариантами, которые позволили бы вслед за Бодуэном¹⁵ говорить о двух диалектных группах, не существует; как показали кимографические записи, одно и то же лицо нередко произносит и долгое [š':] и сочетание «šč»

¹⁵ И. А. Бодуэн-де-Куртене, Указ. соч., стр. 117.

Ленинградский государственный
университет

ОБ ОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ В СЛОВСОЧЕТАНИЯХ С ОДНОРОДНЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Е. С. Скобликови

В русском языке существуют своеобразные конструкции, в которых при однородных определениях, выраженных ед. числом, определяемое слово употребляется во мн. ч. Например, «Ульяновская и Пензенская области», «областная и районная газеты», «оперный и драматический театры», «именительный и винительный надежи» и т. д. Такое оформление определяемого слова возможно тогда, когда определенное существительное реально обозначает два или несколько предметов или явлений в соответствии с количеством определений, каждое из которых характеризует отдельный предмет.

Об этих конструкциях говорят при рассмотрении вопросов согласования в словосочетаниях с однородными членами. Однако здесь нет согласования не только в грамматическом, но даже и в смысловом отношении.

Грамматическое понимание согласования предполагает уподобление формы подчиненного слова форме стержневого. В рассматриваемых конструкциях мы должны были бы ставить вопрос об уподоблении формы стержневого слова формам слов подчиненных — факт весьма необычный для подчинительных словосочетаний. К тому же грамматического уподобления стержневого слова подчиненным в данных конструкциях не происходит: нас интересуют формы числа, но именно в числе параллелизм между формами определений и определяемого слова отсутствует.

Мы могли бы говорить о смысловом согласовании, которое наблюдается, например, при употреблении мн. числа сказуемого при однородных подлежащих, каждое из которых стоит в ед. числе.

Но семантика однородных определений сама по себе не обязательно указывает на то, что каждое из них связано с отдельным предметом или явлением и что, следовательно, приходится говорить о реальной множественности этих предметов или явлений. Когда речь идет о малознакомых предметах или понятиях, не представляется возможным решить вопрос о форме определяемого слова, исходя из значения самих определений или, тем более, из наличия нескольких определений, как как несколько однородных определений с успехом могут характеризовать и один предмет. Например, человек, не знакомый со структурой полярных научно-исследовательских учреждений, затруднился бы

определить форму определяемого слова в сочетании «директор Арктического и Антарктического *институтов*», так как исходя из значения определений можно предполагать о существовании двух отдельных институтов — Арктического и Антарктического. Грамматический характер и смысловое содержание определений отнюдь не предостерегают нас в данном случае от употребления сочетания «директор Арктического и Антарктического *институтов*».

Таким образом, употребление определяемого существительного во мн. числе может быть установлено, только исходя из реальной множественности обозначаемых предметов или явлений.

Даже если мы, не задумываясь, можем констатировать множественность предметов в сочетаниях «Орловская и Курская *области* (область)», «между египетской и советской *делегациями* (делегацией)» и т. д., то это объясняется не лексическим значением определений, а смыслом всего сочетания, обозначающего хорошо известные нам предметы действительности. Характерно, что при тех же определениях, например *курский и орловский* (см. выше сочетание «Курская и Орловская *области*») совсем не так просто установить реальную множественность или единичность в отношении понятия «диалект» (*диалект, диалекты?*). Следовательно выбор формы определяемого слова не обуславливается лексическим значением определений. Между тем, в таких случаях потребность в точном соответствии формы определяемого существительного реальной множественности или единичности больше, нежели тогда, когда атрибутивное сочетание обозначает общеизвестные предметы или явления действительности и когда в связи с этим содержание словосочетания ясно и говорящему, и слушающему (автору и читателю), даже независимо от формы определяемого существительного. В конечном счете, установление смысла атрибутивного сочетания и формы определяемого слова связано с точностью наших знаний о соответствующих явлениях действительности. Не исключены, впрочем, и такие случаи, когда реальная множественность предметов или явлений подсказывается лексическим значением определений. Например, определения, выраженные порядковыми числительными, предполагают реальное существование нескольких предметов или явлений: «первый и второй *этажи*», «первого и второго *циклов*» и т. д.; ср. также сочетания с антонимическими определениями, типа: «господствующий и зависимый *член*» (грам.) и ряд других.

Характерно, что вопрос о выборе формы ед. или мн. числа для определяемого слова приходится решать по отношению не только к согласованным атрибутивным сочетаниям, но и к сочетаниям с несогласованным определениями. Формы числа у существительного при несогласованных определениях также устанавливаются на основе реальной единичности или множественности предметов или явлений. Ср., например, такие сочетания, как «*портреты* матери и отца» (два отдельных портрета) и «*портрет* матери и отца» (один общий портрет); «*делегации* Украины и Белоруссии» (две разные делегации) и «*делегация* Украины и Белоруссии» (одна общая делегация) и под.

При более отвлеченном значении существительных употребление той или иной формы определяется авторским восприятием соответствующих явлений — в их единстве или раздельности. Ср.: «*Тема защиты родины и боевого подвига* родилась вместе с историей народов» и «*Но за теми же братства и любви* скрываются еще иные подчиненные темы, без которых не звучали бы в полную меру и главные темы». (П. А. Павленко, *Писатель и жизнь*); «*Чувство любви и благодарности* подступало

к горлу» (Б. Горбатов, Алексей Гайдаш) и «Простое и образное изображение *высоких чувств долга, чести, дружбы, любви* сохранило и по сей день свое значение» (П. А. Павленко, Писатель и жизнь).

Таким образом, вопрос о «согласовании» в применении к рассматриваемым конструкциям приходится решать отрицательно. Об оформлении определяемого слова нельзя говорить даже как о «смысловом согласовании» с определениями.

* * *

*

До сих пор речь шла о том, с чем в принципе может быть связано употребление определяемого слова во множ. числе. Такая постановка вопроса еще не предусматривает выяснения языковых норм в оформлении определяемого существительного. Ниже будет сделана попытка более подробно, чем обычно, рассмотреть эти нормы.

В языковедческой литературе отмечается, что употребление множ. числа, при несомненной множественности разновидностей явлений, ограничивается грамматическими возможностями самого существительного: не все существительные располагают формами обоих чисел¹. В связи с этим выделяются обширные группы словосочетаний, в которых определяемое слово может стоять только в ед. числе.

Прежде всего это наблюдается тогда, когда определяемые существительные вообще не имеют форм множ. числа: «в педагогической и научной *прессе*», «древесная и кустарная *растительность*», «о толковании логической и грамматической *природы* сложного предложения», «кормовое и одежное *довольствие*», «русская и чешская *лексика*», «его и моя *юность*»; «взаимодействие теоретического и прикладного *языкознания*», «атомное и водородное *оружие*», «исторического и культурного *развития*», «моральное и эмоциональное *одичание*» и т. д.²

Аналогичную группу составляют сочетания с такими существительными, которые лишь в ограниченном круге специализированных значений могут иметь формы множ. числа; причем в тех значениях, в которых они употребляются в интересующих нас конструкциях, множ. числа эти существительные не образуют. См., например, такие сочетания, как: «в русской устной и письменной *речи*», «в краеведческой и туристской *работе*», «материальной и духовной *культуры*», «психической и общественной *жизни* человека», «в учебно-педагогической и научно-педагогической *литературе*», «между логико-грамматическим и морфологическим *описанием*» и т. д.

В тех случаях, когда существительные свободно употребляются во множ. числе, очевидно, имеет значение и то, может ли форма множ. числа существительного выражать не простую множественность, а множественность разновидностей предметов или явлений.

Например, формы множ. числа некоторых лингвистических терминов выражают как раз множественность разновидностей. Именно с этим значением употребляются такие формы множ. числа, как *языки*, *наклоны*, *падежи* и т. д. Естественно, что подобные существительные при

¹ См. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 7. М., 1956, стр. 453; Н. Н. Никольский, Учебное пособие по стилистике и литературной правке, вып. 2, М., 1956, стр. 24; А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, ч. 2, М., 1958, стр. 124 и др.

² Источниками материала, который мы используем, послужили произведения различных жанров современной литературы. При сокращении примеров до словосочетания автор и произведение не указываются.

однородных определениях, обозначающих разновидности соответствующих предметов, могут употребляться во множ. числе: «русский и украинский *языки*», «повелительное и сослагательное *наклонения*», «именительный и винительный *падежи*» и т. д.

Напротив, другие термины в формах множ. числа могут выражать лишь простую множественность однородных предметов, а не множественность разновидностей предметов. Таковы, например, формы *предложения, сказуемые, дополнения, прилагательные* и т. д. Совершенно точного языкового обозначения разновидностей этих категорий можно достигнуть лишь специальными лексическими средствами, употребляя слова *типы, разновидности, разряды, виды* и т. п.; «*типы предложений, разряды прилагательных, разновидности дополнений*» и т. д.³ В простой, непринужденной речи эти слова в атрибутивных сочетаниях обычно не употребляются (конструкции с ними вследствие громоздкости имеют книжный характер). За отсутствием у форм множ. числа способности обозначать разновидности предметов, существительное ставится в форме ед. числа. Ср. у В. В. Виноградова («Из истории изучения русского синтаксиса»): «в формах именного и глагольного *сказуемого*», «между простым и глагольным *сказуемым*», «о простом и сложном *предложении*», «в области изучения простого и сложного *предложения*» и т. д. При просмотре материалов нам не встретилось ни одной формы множ. числа слова *предложение* в этом употреблении; ср., с другой стороны: «о соотношении двучленного и одночленного *типов предложений*»; ср. также аналогичные примеры с существительными, которые в данном значении вообще не употребляются во множ. числе: «различий устного и разговорного *типов речи*», «в условиях сосуществования литературно обработанной и народно-разговорной (диалектной) *форм общенародного языка*» (ВЯ).

Когда форма множ. числа не выражает множественности разновидностей, употребление ее в рассматриваемых конструкциях неуместно. Например, из-за отсутствия у формы *анализы* значения «различные типы, приемы анализа» она не совсем приемлема в сочетании «логический и структурно-грамматический *анализы предложения*»; ср: «...должны быть предметом психологического и языковедческого *анализа*» (В. В. Виноградов, Указ. работа).

В некоторых сочетаниях явно преобладающее использование ед. числа может быть объяснено сравнительно малой употребительностью форм множ. числа существительных с данным значением. Например, в сочетаниях с существительными *род, число* обычно используются формы ед. числа: «женский и мужской *род*», «женского и мужского *рода*», «единственного и множественного *числа*» и т. д. Анализ обнаруживает ограниченное употребление этих терминов в формах множ. числа. Так, возможны сочетания «всех *родов*», «во всех *родах*», но в им.-вин. падежах форма множ. числа от этого существительного уже неупотребительна. Мы можем говорить о «формах обоих *чисел*», но трудно представить себе контекст, в котором были бы возможны прочие падежные формы множ. числа от этого термина.

Связь между оформлением определяемого существительного и возможностью употребить множ. число при данном значении существительного подтверждается следующим фактом частного характера. После революции для обозначения национальных разновидностей литературы

³ Заметим в этой связи, что в терминологическом смысле не совсем приемлемо сочетание *разные предложения* вместо *разные типы предложений* и тем более *разные сказуемые* вместо *разные типы сказуемого*.

угнетенных в прошлом народов начинает употребляться термин *национальные литературы* — с формой множ. числа существительного. Показательно, что только в этом значении форма множ. числа существительного *литература* используется в рассматриваемых атрибутивных сочетаниях: «казахская и узбекская *литературы*», «азербайджанская и армянская *литературы*» и т. д., но «русская и зарубежная *литература*».

Однако последовательно проведенного параллелизма между использованием форм множ. числа, обозначающих разновидности предметов или явлений, и употреблением в рассматриваемых конструкциях определяемого существительного во множ. числе не наблюдается. В ряде случаев та или иная форма определяемого слова закрепляется на основе традиции, привычного употребления, известной фразеологизации сочетания.

Возвращаясь к грамматическим терминам, отметим, что отнюдь не приходится говорить, например, о малой употребительности во множ. числе терминов *вид*, *время*. Очень часто встречаются сочетания «*времен-н-л* глагола», «глагольных *времен*», «о глагольных *временах*», «*виды* глагола», «учение о *видах*» и т. д. Тем не менее, в интересующих нас сочетаниях существительное *время* всегда ставится в ед. числе: «настоящее и будущее *время*», «прошедшего и настоящего *времени*» и т. д. Слово *вид* тоже чаще всего используется в ед. числе: «совершенного и несовершенного *вида*», «в совершенном и несовершенном *виде*» и т. д. (не исключено, правда, употребление сочетания «совершенного и несовершенного *видов*» при неупотребительности таких, как в «совершенном и несовершенном *видах*», «между совершенным и несовершенным *видами*» и т. д.). Эти факты могут быть объяснены только определенной традицией употребления. Ср. мед.: «для исследования начальной и глубокой *части* носовой полости»; физ.: «свет *квантфиолетовой* и *невидимой части* спектра».

Вообще же, когда у данного существительного возможны формы множ. числа, обозначающие разновидности чего-нибудь, для современного книжного стиля наиболее обычна постановка определяемого слова во множ. числе⁴. Исключение составляют только что рассмотренные случаи известной фразеологизации ед. числа в некоторых сочетаниях.

Тенденция к употреблению множ. числа, естественно, строже всего проводится и должна проводиться в тех случаях, когда при использовании ед. числа возможна опасность иного понимания. Как отмечалось выше, такая опасность существует тогда, когда речь идет о предметах или явлениях не общеизвестных и когда лексический состав атрибутивного сочетания не указывает с определенностью на реальное наличие одного или нескольких предметов или явлений. Например, для отражения реальной множественности форма множ. числа обязательна в таких сочетаниях, как: «строительный и машиностроительный *техникумы*», «рязанский и тульский *диалекты*», «*Институты* русского языка и языкознания АН СССР», «*князя* владимирский и суздальский», «*языки* словен и сербов» (ср.: *язык* сербов и хорватов») и т. д.

В многочисленных случаях, когда реальное существование двух или нескольких предметов ясно из лексического состава словосочетания, существительные, образующие формы множ. числа с соответствующими значениями, тоже употребляются преимущественно во множ. числе.

⁴ См. указ. выше работы А. М. Пешковского, Н. Н. Шкодельского, А. Н. Гвоздева и др.

Ср. в этой связи: а) сочетания с наименованиями географических и административных единиц и астрономическими названиями: «водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов»; «между Красным и Средиземным морями»; «Адриатическое и Эгейское моря»; «Канопский и Бильбитинский рукава Нила»; «в северном и южном полушариях»; «теплое и холодное течения»; «животноводов Бахсанского и Лескенского районов», «Ставропольского и Кольчугинского районов»; «в Звенигородском и Воскресенском уездах»; «Александровский и Тыловский округа»; «из Астраханской, Тульской, Пензенской областей»; «из Хабаровского, Ставропольского и Краснодарского краев», «в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях»; «в Казахской, Узбекской и Туркменской республиках»; «ее ледяной и метеоритный пояса»; «расположение первой и второй планет Вегис»; «гигантским третьему и четвертому, спутникам Юпитера»; «система из желтой, голубой и красной звезд» и т. д.;

б) сочетания с наименованиями правительственных органов, органов административного и хозяйственного управления: «английскому и американскому правительствам»; «взаимоотношения Советского и Индийского правительств»; «в Александровском и Марьевском сельсоветах»; «в Свердловский, Челябинский и Новосибирский совнархозы» и т. д.;

в) сочетания с названиями культурных учреждений: «городская и клубная библиотеки»; «в пятой и седьмой школах»; «в мужской и женской гимназиях»; «оперный и драматический театры» и под.;

г) сочетания с наименованиями воинских подразделений и соединений: «Бутырский и Тамбовский полки», «Литовский и Волинский полки», «английский и голландский флоты»; «из пятой и шестой рот»; «австрийская и немецкая армии» и под.;

д) сочетания с наименованиями конкретных лиц: «английский и голландский адмиралы»; «финский, греческий, иудейский, ассирийский, нубийский послы»; «польским и датским королями» (случаи обязательного употребления множественного числа); ср. «Мемфисская, Элефантинская... династии»;

е) сочетания с наименованиями конкретных предметов, хозяйственных учреждений: «обонятельный и тройничный нервы»; «красный и зеленый огни»; «пешеходный и железнодорожный мосты»; «в Псковской и Софийской летописях»; «красный и синий карандаши»; «по Казахской, Томской и Южно-Уральской железным дорогам» и под.;

ж) сочетания, обозначающие различные понятия, связанные с научным познанием и систематизацией предметов или явлений действительности: «соотношения книжного и народного начал», «взаимоотношения старославянской и русской стихий»; «между аналитическим и синтетическим способами»; «в древнеанглийский и среднеанглийский периоды»; «марксистской и буржуазной идеологий»; «туберкулезного и гнойного менингитов»; «в сознательной и подсознательной областях психики»; «школы первого и второго циклов»; «симпатической и парасимпатической систем» и т. д.

Однако не исключены во всех подобных случаях и формы ед. числа.

Прежде всего ед. число может сознательно или бессознательно использоваться для того, чтобы избежать заметного оттенка книжности, который придадут речи формы мн. числа. Интересно в этом отношении замечание А. М. Нешковского о заглавии его статьи «Объективная и нормативная точка зрения на язык»: «...мы сознательно и после дол-

гого обдумывания остановились на единственном числе, так как множественное казалось нам слишком книжным и мертвенным»⁵.

Стилистическое различие конструкций с формами ед. и множ. числа отчетливо выступает при сопоставлении лексически близких словосочетаний. Ср.: «в лексическом и грамматическом *отношениях*» и «в экономическом и культурном *отношении*», «об этимологической и синтаксической *форме*» и «понятия синтетической и описательной (аналитической, синтаксической) *форм* слова»; «Фонетические явления фракийского и иллирийского *языков*» (название статьи Б. И. Надзеля), «Работы В. К. Метьюса по русскому и старославянскому *языкам*» (название статьи Т. А. Булыгиной и Д. Н. Шмелева) и «Синтаксические отношения между словами и способы их выражения в русском и украинском *языке*» (название статьи Е. В. Кротевица); ср. также: «Украинский и русский *язык* он (К. А. Тренев) не только хорошо знал, а — а бы сказал — чувствовал, как музыкант» (П. А. Павленко, Писатель и жизнь); «Объективная и нормативная *точка зрения* на язык» и «подвергались характеристике... с интонационной и ритмической *точек зрения*». Формы ед. числа в сравниваемых примерах характеризуют более простую и непринужденную речь.

С этим связано их использование в устной разговорной речи: «второй и третий *этаж* отдали под квартиры»; «побывал на нашем и на соседнем *заводе*»; «у нас есть и драматический, и оперный *театр*», «там медицинский и педагогический *институт*»; «студенты у нас из Волгоградской и Астраханской *области*»; «приехали представители из Челябинского и Свердловского *совнархоза*»; «купили голубую и розовую *ленту*»; «взял большое и маленькое *яблоко*»; «просидел всю вчерашнюю и сегодняшнюю *ночь*»; «вымыла свою и сестрину *комнату*» и т. д. Конструкции с формами ед. числа явились, очевидно, результатом сокращения сочинительных словосочетаний: «второй (этаж) и третий *этаж*», «голубую (ленту) и розовую *ленту*» и т. д.

Именно известная непринужденность свойственна формам ед. числа и в книжных жанрах. См. приведенные выше примеры с параллельными формами ед. и множ. числа, а также следующие примеры с формами ед. числа: «У семантических синтагм имеется всегда господствующий и зависимый *член*» (В. В. Виноградов); «Узкий пояс автоматических заводов на границе между земледельческой и лесной *зоной* ослепительно засверкал на солнце куполами из «лунного» стекла» (И. Ефремов, Туманность Андромеды): «Эти древние структуры... стали поддаваться... химическому и лучевому *промыванию*...» (там же) и т. д. Употребление определяемого слова во множ. числе изменило бы стилистическую окраску этих предложений, придав им оттенок книжности и некоторой искусственности.

Но грамматически множ. число, конечно, более точно указывает на ограниченность рассматриваемых предметов или явлений друг от друга, на реальное наличие нескольких предметов или явлений.

Поэтому даже тогда, когда лексическое значение словосочетания не допускает двойного толкования, формы множ. числа являются предпочтительными, если в предложении проводится противопоставление разновидностей предметов или явлений и имеются лексические элементы, указывающие на противопоставленность, ограниченность предметов или явлений. Например, в предложениях со словами типа *разграничивать, сравнивать, дифференцировать, противопоставлять* и т. д.

⁵ Л. М. Пешковская, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 7, М. 1956, стр. 453.

при употреблении формы ед. числа создается известная неловкость: сравнивать, противопоставлять и т. п. можно лишь два или несколько предметов. Так, не совсем удачной представляется постановка определяемого существительного в ед. числе в сочетании: «стремление дифференцировать логическую и синтаксическую *точку зрения* на предложение». Ср. более уместное в таких случаях употребление множ. числа: «противопоставление и сопоставление «грамматического» и «логического» *начал*»; «скрещиваются историко-генетический, психологический и логический *принципы*»; «различия между грамматическим и лексическим *значениями*»; «общественная и личная *темы* развиваются... параллельно» и т. д.

В известной степени нормы употребления форм ед. или множ. числа связаны, по-видимому, и с некоторыми грамматическими условиями. Так, в отдельных примерах формы ед. числа можно объяснить положением определяемого слова перед определениями. В этом случае форма существительного, которая употребляется до перечисления определений, отражает связь только с ближайшим определением. См., «в аспекте синхронном и историческом»; «между *значением* лексическим и грамматическим»: «со *стороны* философской и исторической».

Тенденция к употреблению форм ед. числа наблюдается при наличии парных союзов типа *как-так*: «как в научном, так и в практическом *отношении*» (ср. «в лексическом и грамматическом *отношениях*»); «как в одну, так и в другую *категорию*»; «отвечает интересам как советского, так и американского *народа*» (ср. «в противоречии с интересами и советского и американского *народов*»).

Таким образом, если определяемое существительное может иметь формы множ. числа, выражающие множественность разностей чего-нибудь, то оно употребляется в современном литературном языке преимущественно во множ. числе (за исключением сочетаний, ставших в какой-то степени фразеологическими). Однако обязательными эти формы являются только в тех случаях, когда из лексического состава атрибутивного сочетания неясно, идет ли речь об одном или нескольких предметах или явлениях.

Если лексический состав атрибутивного сочетания сам по себе отчётливо указывает на реальное наличие нескольких предметов или явлений, то в простой, непринужденной речи возможна постановка определяемого слова и в ед. числе.

Мы полагаем, что конструкции с формами множ. числа являются конструкциями вторичного происхождения. Очевидно, сначала как результат пропуска одного из одинаковых существительных возникли сочетания с формами ед. числа типа: «красную [ленту] и синюю *ленту*», второй [этаж] и третий *этаж*» (см. выше). Впоследствии стремление обозначить реальную множественность предметов привело к появлению принципиально новых словосочетаний с формами множ. числа⁶. Интересно, что современные словосочетания типа «красную и синюю *ленту*» заметно отличаются от сочетаний типа «красную *ленту* и синюю»; в первых, благодаря соответствию обычному типу «рамочных» определенных конструкций, совсем или почти неощутима их первоначальная неполнота.

⁶ Существенно отметить, что рассматриваемые атрибутивные сочетания с формами множ. числа сущ. невозможны во многих других языках, например в немецком и французском.

О КОНСТРУКЦИИ ТИПА *ВЫЙТИ В ЛЮДИ* В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Р. Н. Попов

Формы винительного падежа множественного числа существительных мужского рода претерпели значительные изменения по мере развития языка с древнерусского периода до наших дней.

Падежная форма вин.-род., первоначально возникшая в системе ед. числа (ср. *за столъ* и *за мужъ* — до XV в., но *за столъ* и уже *за мужа* — с XV—XVI вв.; наречие *замужъ* сложилось до появления новой формы вин. падежа для одушевленных существительных), в дальнейшем получила свое распространение и в системе мн. числа. Так, в «Договорной грамоте Новгорода с Михайлом Тверским» от 1372 г. мы встречаем, например, наряду со старыми и новые формы: «...а великъ миръ имати на семь, аже братью нашу попущать без окупа новгородскихъ бояръ и новторскихъ бояръ, житыхъ людей и сирот новгородской волости».

Более позднее образование формы вин.-род. во мн. числе по сравнению с ед., по мнению Л. А. Булаховского, связано с тем, что и совпадение им. с вин. во мн. числе в ряде склонений — «явление значительно более позднее, чем в ед. (*волъ, рабъ, конь, гость* восходят уже к древнейшему времени, а *волы, рабы, кони, гости* как формы им.-вин. возникали на восточнославянской почве)»¹. О более позднем образовании новой формы вин.-род. для одушевленных существительных во мн. числе А. А. Шахматов пишет следующее: «История языка показывает, что первоначально категория одушевленности развивалась только в словах ед. числа муж. рода, распространяясь при этом от названий лиц на названия животных. Во множественное число эта категория проникла не скоро, а именно сначала в названия лиц (мужского, а потом женского рода) и уже позже в названия животных»².

Дифференциация падежных окончаний вин. и им. падежей вызывалась к жизни развитием категорий лица и одушевленности. Она устраняла определенную трудность для выражения субъектно-объектных отношений, а это смещение было возможно прежде всего в кругу существительных, обозначающих людей.

С XVII — XVIII вв. новая форма вин.-род. прочно утвердилась в

¹ Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, Киев, 1953, т. II, стр. 142, 143.

² А. А. Шахматов, Справочник русского языка, изд. 2, т. I, 1911, стр. 416.

системе падежных окончаний одушевленных существительных мн. числа, окончательно вытеснив старые формы вин.-им. Но, как это часто бывает в языке, ставшие архаичными формы вин.-им. не исчезли бесследно. Они сохранились у целого ряда личных существительных муж. рода в особой предложной конструкции вин. падежа при глаголах движения, назначения, приглашения и некоторых других, типа *выйти в люди, произвести в офицеры, позвать в гости*.

Какие же причины позволили сохраниться старинной падежной форме в конструкции типа *выйти в люди* при полной и последовательной замене ее во всех прочих (ср. *вижу людей, боюсь за гостей*)?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим лексико-грамматические особенности, присущие данной конструкции.

В составе этой конструкции встречаются хотя и различные, но лексически ограниченные группы глаголов. Чаще других употребляются глаголы движения, причем нередко в переносном значении. Эти глаголы могут быть в различных видо-временных формах и наклонениях: *сйти* (вышел, выйдет, вышел бы) *в люди*, *пойти* (пошел, пойдет, пошел бы) *в гости*. Менее многочисленны в этой конструкции другие группы глаголов: приглашения, назначения, избрания и др. Однако и они достаточно обширны для того, чтобы позволить отнести анализируемые словосочетания к устойчивым. Кроме того, глагольные компоненты этих конструкций допускают чрезвычайно широкую синонимику. Нередко, например, и в разговорно-бытовой речи, и в стилях художественной литературы на месте стилистически и экспрессивно нейтральных *выйти в люди*, *пойти в гости* употребляются глаголы с ярко выраженной эмоциональной характеристикой: *вылезти в люди*, *выползти в люди*, *выбиться в люди*, *податься в гости*, *закатиться в гости*, *махнуть в гости*, *залиться в гости*.

Несколько примеров из художественной литературы: «Может, господь бы дал, *в люди вышел я*, человек бы был» (Г. Успенский, Разоренье, речь персонажа), «Давай *пойдем к нему в гости*» (Б. Горбатов, Донбасс. Речь персонажа). «Ему захотелось поскорее *выскочить в люди*» (И. С. Тургенев, Рудин, речь автора). «Вся ее цель теперь его *вытащить в люди*» (Достоевский, Бесы, речь автора). «Как такой человек *выползает* вдруг *в люди*?» (Д. Григорович, Замшелые люди, речь персонажа). «Седякин там спит и видит — *закатиться в гости* в Маньчжурию» (К. Седых, Даурия, речь автора).

В рассматриваемой конструкции «глагол плюс предлог *в*, плюс вин.-им. личных существительных муж. рода во мн. числе» многочисленную группу образуют словосочетания существительных, обозначающих различные должности, профессии, звания, с глаголами назначения или какими-либо их образными эквивалентами. Так, наряду со словосочетаниями типа *произвести в офицеры, разжаловать в солдаты, избрать в депутаты* можно назвать и такие, как *забрить в солдаты, постричь в монахи* и подобные.

Примеры употребления их в художественной литературе: «В конце мая был официально объявлен приказ о том, что мы *произведены в офицеры*» (О. Форш, Одеты камнем, речь персонажа). «Штабротмистр Кирстен был два раза *разжалован в солдаты* за дела чести и два раза *выслуживался*» (Л. Толстой, Война и мир, речь автора). «И Алексей снова продиктовал — снять, *перевести в заместители*» (В. Кетлинская, Дни нашей жизни). «Леон возмущенно говорил: И вы их (либеральных буржуа. Р. П.) *прочтите в руководители* русской революции?» (М. Соколов, Искры).

По образцу словосочетаний типа *выйти в люди, пойти в гости* образованы более новые *выйти в академики* (в генералы, в адмиралы и т. п.), *пойти в моряки* (в летчики, в шахтеры, в строители и т. п.). Интересно отметить, что у этих новых словосочетаний в глагольных компонентах допускаются точно такие же синонимические замены, как и в «моделях», по которым они построены, а именно: *метить в генералы, лезть в адмиралы, махнуть в кандидаты* и др.

Несколько примеров из художественной литературы: «Уже, брат, комсомольцы, что тогда пришли во флот, *в адмиралы повыходили*» (А. Первенцев, *Честь смолоду*, речь персонажа). «Да ты что — заелся! И впрямь *в адмиралы лезешь*» (Б. Лавренев, *Разлом*, речь персонажа). «Полковник Скалозуб! И золотой мешок, и *метит в генералы!*» (Грибоедов, *Горе от ума*). «Но если мое опровергнут мнение, я тоже, пожалуйста, *махну в кандидаты!*» (Г. Эмин, фельетон, «Что лучше?», Комс. пр., 6.3.1955, речь автора).

К анализируемой конструкции относится немало словосочетаний существительных с глаголами *брать, взять, отдать*, а также с глаголами приглашения: *взять в свидетели, отдать в ученики, брать в помощники, пригласить в соавторы, звать в комбайнеры* и т. п.

На архаичность падежной формы существительных в словосочетаниях анализируемой нами конструкции типа *выйти в люди* в разное время обращали внимание многие ученые, но они не пытались объяснить ни причины ее сохранения в современном литературном русском языке, ни самой природы этой конструкции³.

Возникновение и упрочение данной конструкции, очевидно, следует отнести к XVI — XVII вв. в связи с наметившейся в языке тенденцией к освобождению от вторых падежей, в том числе и второго вин., и замене их либо другими падежами (в данном случае твор. предикативным), либо различными предложными конструкциями. По наблюдениям Т. П. Ломтева, в памятниках XVII в. при глаголах названия или назначения второй вин. падеж отмечается только в единичных случаях, вроде: «*Постави первого митрополита Киеву Леона, а Новугороду Иоакима*» (Устюжинский летописный свод), в то время как твор. падеж выдержанно употребляется на месте второго вин. падежа.

Кроме твор. падежа, на месте второго вин. распространялось также употребление предложных конструкций. В памятниках отмечено употребление таких конструкций, как «предлог *за* плюс вин. падеж» и «предлог *в* плюс вин. падеж»⁴. Причем в обеих этих конструкциях у личных существительных муж. рода мн. числа удерживается падежная форма вин., сходного с им.: «И сведе его с митрополии и *за приставы посади его*» (Первая Псковская летопись по Тихонравовскому списку). «Так же изъ боярских детей *выбирать въ слуги и въ столники* такихъ же младыхъ, что и царевичъ» (Гр. Котошихин, *О России в царствование Алексея Михайловича*). «Государь меня велел *в протопопы поставитъ* въ Юрьевец Подольский» (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное).

Основной причиной, позволившей сохраниться старинной падежной форме вин., сходного с им., у личных существительных в конструкции

³ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Синтаксис современного русского языка, изд. 2, СПб, 1912, стр. 268; Е. Ф. Будде, Очерк истории русского литературного языка, «Энциклопедия славянской филологии», СПб, 1912, вып. 12, стр. 96; Ф. И. Буслев, Историческая грамматика, изд. 6, М., 1959, стр. 217.

⁴ Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, изд. МГУ, 1956, стр. 219.

тина *выйти в люди* при полной замене ее в других словосочетаниях той же формой вин.-род. падежа, является то обстоятельство, что в данной конструкции у существительных «стирается» категория лица и одушевленности. Дело в том, что в словосочетаниях типа *выйти в люди, пойти в шахтеры* и подобных не столько выражаются лицо и одушевленность обозначаемых существительными понятий и даже не субъектно-объектные отношения между ними, сколько переход выражаемых ими лиц из одного состояния в другое (служебное, социальное, профессиональное). Наполняясь в данной конструкции новым содержанием и утрачивая прежнее, старая падежная форма вин.-им. начинает функционировать, таким образом, в своем новом качестве.

Конструкция типа *выйти в люди* прочно освоена современным литературным русским языком. О продуктивности словосочетаний, построенных по ее образцу, говорят, например, и такие факты, как употребление в ее составе вариантных падежных форм вин.-им.: *поступить в повара* и *поступить в повара*. Причем эти варианты принимают не только исконно русские, но и заимствованные слова: *пойти в шофера, устроиться в кондуктора, пролезть в директора*, наряду со старыми *в шоферы, в кондукторы, в директора*. Так, уже у Пушкина встречаем: «*Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора*» (К товарищам).

Несмотря на обилие в современном русском литературном языке словосочетаний, построенных по образцу конструкции типа *выйти в люди*, о них почти ничего не сообщается при характеристике значений и форм вин. падежа в учебных пособиях, предназначенных для высшей и средней школы.

Поскольку данная конструкция не является лишь достоянием истории языка, а, наоборот, служит живой и продуктивной «моделью», по которой продолжают образовываться все новые и новые словосочетания [ср. *пойти в астронавты* (космонавты), записаться в телезрители (радиолюбители)], — постольку такое «замалчивание» ее в учебной и научной литературе нам представляется «несправедливым».

О продуктивности рассматриваемых словосочетаний, очевидно, свидетельствует и тот факт, что предложно-падежные формы вин.-им. личных существительных могут сочетаться не только с глаголами движения, назначения, приглашения, избрания и другими, но и с производными от них существительными: *производство в офицеры, посвящение в рыцари*.

Несколько примеров из художественной литературы: «*День производства в офицеры приближался*» (О Форш, *Одеты камнем*, речь автора). «*Был официально объявлен приказ о нашем производстве в командиры*» (Б. Горбатов, *Донбасс*, речь персонажа). «*Избрание в депутаты налагает на нас большие обязанности*» (М. Соколов, *Искры*, речь персонажа).

О распространенности и частоте употребления анализируемых словосочетаний говорит и то, что их глагольные компоненты в речевой практике часто намеренно опускаются. Несколько примеров: «*А если в агрономы?* — начинал робко Андрей, но Виктор тотчас же возражал: *Давай лучше в водолазы!*» (Б. Горбатов, *Донбасс*). «*Значит, в шахтеры нас? В шахтеры?* — сообразил Андрей. — Только я *в забойщики!* — выкрикнул Виктор» (Там же).

«Освоенность» конструкции типа *выйти в люди* современным русским литературным языком подтверждается также возможностью расширения ее лексического состава согласованными и несогласованными определениями к именам существительным: *избрать в депутаты Верхов-*

ного Совета СССР, вышел в большие люди. Кроме того, именной и глагольный компоненты этой конструкции очень часто в предложении допускают перестановку, а иногда даже «разрываются» другими словами: «в люди бы я вышел», «в полковники вдруг выскочил».

Опираясь на лексические значения глагольных компонентов, мы намечаем несколько групп словосочетаний, построенных по образцу указанной выше конструкции: а) с глаголами движения и их образными эквивалентами — *выйти* (вылезть, выскочить) *в люди*, *пойти* (закатиться, залиться) *в гости*; б) с глаголами назначения и их образными эквивалентами — *назначить в помощники*, *определить в секретари*; в) с глаголами приглашения — *звать в сотрудники*, *пригласить в соавторы*; г) с глаголами избрания — *избрать в депутаты*, *выбрать в руководители*; д) с «игровыми» глаголами и их образными эквивалентами — *играть в короли*, *резаться в дураки*; е) с глаголами типа *брать, дать, взять* — *взять в свидетели*, *дать в наставники*.

Изменчивость и подвижность лексического состава рассматриваемой конструкции не позволяют признать ее безоговорочно фразеологической. Обилие словосочетаний типа *пойти в летчики* (в моряки, в шахтеры, в забойщики, в партизаны и т. п.), *выйти в начальники* (в инженеры, в генералы, в адмиралы, в академики и т. п.), *записаться в красноармейцы* (в добровольцы, в красногвардейцы) говорит о том, что мы имеем дело, хотя и с очень однородной по своей структуре, но чрезвычайно многочисленной группой словосочетаний.

Мы уже отмечали выше весьма разнообразные группы глаголов, употребляемые в составе данных словосочетаний. Еще более разнообразен круг существительных, употребляемых в данной конструкции. Здесь можно встретить буквально сотни одушевленных личных существительных, обозначающих различные профессии, должности, звания, степени и т. п. (ср. *пойти в моряки*, *перевести в заместители*, *произвести в офицеры*, *избрать в академики*).

Интересно отметить, что действующее лицо, обозначенное в именном компоненте тем или иным существительным, может мыслиться то активно: *пойти в шахтеры*, то пассивно: *производить в офицеры*, т. е. со значением «я стану шахтером» и «меня произведут в офицеры».

Конструкцию типа *выйти в люди* нельзя исключить из системы значений и форм, присущих вин. падежу существительных в современном литературном русском языке.

О СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ СОЧЕТАНИЙ ТИПА *ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ*

(на материале русского языка с некоторыми
сопоставлениями с болгарским языком)

Б. И. Блажев

В русском языке довольно часто употребляются конструкции типа *все возможное, все существенное, все живое* и т. п. Представляется целесообразным в качестве первоначальной основы анализа этих конструкций привести несколько групп иллюстративных примеров.

1. В роли второго компонента в сочетаниях данного типа могут выступать имена прилагательные: «Я писал необычную пьесу, состоящую сразу из многочисленных вариантов. *Все возможное и невозможное* в будущем разговоре Сережи и Феди я старался предусмотреть» (18 : 121)¹; «Как отзвук *всего безобразного*, донесся из-за двери голос тещи...» (18 : 433); «Но оглянулся, брат, и оторопь меня взяла: *все существенное* уже описано, взвешено, в гербариях лежит» (8 : 276).

2. Вторым компонентом сочетаний этого типа могут быть причастия: «Оттого ли, что вследствие затемнения *все отвлекающее* было удалено из поля зрения, ...глаз легко схватывал архитектурное единство столицы» (8 : 122); «Среди *всего написанного* Островским «Гроза» является, несомненно, лучшим произведением, вершиной его творчества» (6 : 168—169).

3. С конструкциями типа *все возможное* и *все отвлекающее* сближаются и сочетания, в которых в качестве второго компонента употребляются слова местоименного или полуместоименного характера *это, остальное, другое, прочее*: «Отметим только, что экспедиция с первых же шагов своей работы наткнулась на множество остатков разбитых кораблей. Но *все это* были деревянные обломки» (3 : 567); «Только это и есть дело, *все остальное* слова» (7 : 395); «А раз так, то рассматриваемый предмет, память, как и *все прочее* в классовом обществе, окрашивается социальной принадлежностью» (8 : 165).

Об общей синтаксической однотипности конструкций последней группы с конструкциями первого и второго типа свидетельствует сле-

¹ Библиографические данные об источниках иллюстративных примеров для краткости приводятся в конце статьи. В тексте названию источника соответствует цифра перед двоеточием. Страницы отмечаются цифрами после двоеточия.

дующий пример: «*Все это* было вроде педавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и *все довоенное*» (1 : 64—65).

Но для сочетаний типа *все это* характерны некоторые семантические и синтаксические особенности, которые отличают их от конструкций типа *все возможное* и *все отвлекающее*. Сочетание *все возможное* синонимично с предикативными конструкциями *все, что возможно* или *все, что является возможным*. Еще ярче осознается синонимичность с предикативными конструкциями в сочетаниях типа *все отвлекающее*, в которых в роли второго компонента выступает причастие (ср. *все отвлекающее* и *все, что отвлекает*; *все написанное* и *все, что написано*). В отличие от них конструкции типа *все это* не синонимичны с какими-либо предикативными конструкциями. Нет синонимических пар *все это* и *все, что это* или *все, что является этим*. Вместо *все прочее* нельзя также сказать *все, что прочее* или *все, что является прочим*. Такие предикативные сочетания вообще не употребляются. *Все остальное* далеко не всегда синонимично с предикативной конструкцией *все, что остается*: сравни недопустимость синонимической замены в следующих примерах: «И вдобавок ноги у него не были пропорциональны *всему остальному*» (3 : 140) — нельзя сказать: «Ноги у него не были пропорциональны *всему, что остается* или *всему, что оставалось*»; «Мне думается, что мы с вами, Петр Петрович, делаем то, что нужно. *Все остальное* от лукавого» (18 : 125); «Растертая в пальцах почка нашла горьким миндалем, придавая праздничность *всему остальному*, что томилось в сероватой дымке вокруг» (8 : 254).

Об отсутствии синонимичности сочетания *все остальное* с предикативной конструкцией *все, что остается* свидетельствует и следующая фраза из перевода повести Георгия Краславова «Дурман»: «А хорошей земли у них всего только пятнадцать декаров, *все остальное* — красная глина...» (4 : 44). Сочетанию *все остальное* в подлиннике соответствует слово *другого* («другое»). Конечно, иногда это сочетание может оказаться синонимичным с конструкцией *все, что остается* (ср. «Сегодня я беру только это, *все остальное* возьму завтра»), но обычно подобная синонимичность отсутствует, поскольку *остальное* получает прежде всего указательное, местоименное значение («другое»). Оттенок скрытой «предикативности» остается на втором плане или полностью устраняется.

С местоименным, указательным характером значения слов *это, другое, остальное* связана, по-видимому, возможность перестановки компонентов в сочетаниях типа *все это*: «Одна мысль занимает меня, мысль о Полине. Как *это все* случилось?» (12 : 140); «Неужели *это все* сделал я и мои товарищи?» (14 : 283); «Образовалась большая куча разнообразных вещей. Куда *это все* девать?» (15 : 430); «Чтоб не спорить скажем так. Теркин нашим был рабочим, *Остальное все* пустяк» (17 : 395).

Но для перестановки недостаточно одного только указательного оттенка в значении местоименного слова. Необходимо, чтобы оно было и достаточно субстантивированным и употреблялось в качестве самостоятельного местоимения-существительного. Если *это* и *остальное* настолько субстантивированы, что могут употребляться самостоятельно (ср. «*Это* сделаю я», «*Остальное* вас не касается»), то *прочее* подвергается некоторой субстантивации только в сочетании *все прочее*. Самостоятельно, со значением полностью субстантивированного слова оно не употребляется — нельзя, например, сказать «*Прочее* сделаю я»

со значением «*Остальное сделаю я*». В связи с этим невозможна и пере-
становка компонентов в сочетании *все прочее*.

В сочетаниях типа *все возможное* и *все отвлекающее* такая пере-
становка не наблюдается — не говорят «*Возможное все будет сделано*»
вместо «*Все возможное будет сделано*» или «*Отвлекающее все было*
устранено из поля зрения» вместо «*Все отвлекающее было устранено*
из поля зрения». Постановка компонентов типа *возможное* и *отвлекаю-*
щее на первом месте сделала бы их более субстантивированными и на-
рушила бы структурно-семантическую соотнесенность сочетаний типа
все возможное и *все отвлекающее* с предикативными конструкциями
все, что возможно (все, что является возможным) и *все, что отвлекает*.
В сочетаниях типа *все возможное* и *все отвлекающее* компоненты *воз-*
можное, отвлекающее и т. п. субстантивированы неполностью. Это мож-
но нагляднее показать, если сопоставить их с именами прилагательными,
которые полностью субстантивировались и перешли в разряд суще-
ствительных. Так, например, бывшее прилагательное *жаркое* характе-
ризуется полной субстантивированностью (ср. «Он съел *все жаркое*»),
а сочетание *все жаркое* по своей семантической и синтаксической струк-
туре резко отличается от конструкций типа *все возможное*. Конструкция
все жаркое однотипна, например, с сочетанием *все вещество*, а не с
рассматриваемыми конструкциями типа *все вещественное, все возмож-*
ное, и т. п., в которых налицо неполная субстантивированность второго
компонента. Следует отметить, что эта полусубстантивированность вто-
рого компонента в сочетаниях указанного типа не является следствием
какой-то неспособности к полной субстантивации соответствующих
прилагательных или причастий. Так, например, прилагательное *вре-*
менное может субстантивироваться полностью не только при употребле-
нии его без определяющих слов, но и в сочетании с определением;
сравни: «И, как ни странно, я вдруг понял, что в *этом временном* нам
придется жить долго-долго...» (18 : 346). На первый взгляд может по-
казаться, что употребленное здесь сочетание *это временное* и конст-
рукции *все временное* абсолютно однотипны по своей семантико-синтак-
сической структуре. Однако на самом деле это не так. В сочетании
в этом временном прилагательное *временное* полностью субстантивиро-
вано. Оно является определяемым и не является определением. В этой
конструкции нет и намек на скрытые, невыраженные «предикативные»
отношения между компонентами *это* и *временное*. А в сочетании *все*
временное, также как и во всех конструкциях типа *все возможное* и
все отвлекающее, дело обстоит иначе. Здесь налицо структурно-семан-
тическая соотнесенность с предикативными конструкциями. Второй
компонент субстантивирован неполностью. С одной стороны, он являет-
ся определяемым (к нему относится определительное местоимение *все*),
а, с другой стороны, выступает в роли определения, так как он в свою
очередь определяет местоимение *все*.

Здесь нужно остановиться более подробно на синтаксических
взаимоотношениях в сочетаниях типа *все возможное, все вещественное*
и т. п. Если сопоставить сочетания *все вещество* и *все вещественное*, то
можно заметить, что в первой конструкции (*все вещество*) определя-
емым является только второй компонент (*вещество*), а местоимение *все*
является только определением. В сочетании же *все вещественное* ме-
стоимение *все* сохраняет количественное значение, но семантико-син-
таксические отношения здесь имеют другой характер. Местоимение *все*
не только определяет полусубстантивированное прилагательное *вещест-*
венное, но и само является определяемым. В конструкции *все вещество*

местоимение *все* является местоимением-прилагательным, потому что оно и только оно является определением. В сочетании *все вещественное* местоимение *все* не только обозначает количество того признака, который выражен соответствующим полусубстантивированным прилагательным, и не только определяет синтаксически второй компонент (*вещественное*), но и само нуждается в раскрытии своего содержания в сочетании с определяющим словом, каким является второй компонент. Прилагательное *вещественное* как бы раскрывает содержание количественного значения местоимения *все*. Хотя конструкции *все вещественное*, *все существенное* и т. п. сами по себе не предикативны, они все-таки содержат оттенки тех смысловых взаимоотношений, которые имеются в соответствующих синонимических предикативных сочетаниях.

В конструкции *все вещественное* местоимение *все* не является абсолютно однозначным с местоимением *все* в сочетании *все вещество*. Оно обозначает не просто «все», а «все, что является таким-то и таким-то». На него накладывается оттенок полупредикативного раскрытия его содержания. Конечно, с точки зрения логических взаимоотношений, *все* не является субъектом, но в какой-то мере соответствует субъекту. *вещественное* не является предикатом, но оно в какой-то мере занимает место предиката. И невозможность перестановки компонентов в этих сочетаниях не случайна. Она связана со стремлением сохранить схему смысловых отношений, которые наблюдаются в предикативных конструкциях. Если допустить перестановку компонентов (ср. «*Новое все* будет принято во внимание»), то эта схема будет нарушена. Компонент *новое* окажется полностью субстантивированным, *все* получит обстоятельственный оттенок («в полном объеме») и синтаксически отойдет к сказуемому. *Новое все* уже не будет обозначать *все новое*.

В болгарском языке отмеченные семантико-синтаксические отношения выступают еще ярче, так как они находят и некоторое формальное выражение. Как известно, местоимение *всичкият* (*всичката*, *всичкото*) в единственном числе в роли определения к именам существительным употребляется только в членной форме: *всичкият пясък*, *всичката вода*, *всичкото вещество*. В нечленной форме в мужском и женском роде единственного числа оно вообще не употребляется — нельзя сказать *всичък пясък* или *всичка вода*. В роли определения к существительному не употребляется в членной форме и определительное местоимение *всичко* в среднем роде — сочетание *всичко вещество* вообще недопустимо. Но в сочетаниях типа *все вещественное* употребляется именно нечленная форма среднего рода: *всичко веществоно*, *всичко възможно*, *всичко съществено*, *всичко ново*, *всичко полезно* и т. п. Почему именно в среднем роде и именно в этих сочетаниях местоимение *всичкият* употребляется в нечленной форме? Можно утверждать, что на употреблении местоимения *всичко* в нечленной форме в сочетаниях типа *всичко веществоно*, *всичко възможно* и т. п. сказываются те формальные и семантические особенности, которые ему присущи в соответствующих синонимических предикативных конструкциях типа *всичко, което е веществоно*, *всичко, което е възможно*, в которых *всичко* употребляется также в нечленной форме.

За пределами конструкций типа *всичко веществоно* местоимение *всичко* в нечленной форме употребляется только как местоимение-существительное, например: «Той приготви *всичко*» («Он приготовил *все*»). Разумеется, в сочетаниях типа *всичко съществено*, *всичко необходимо* местоимение *всичко* не субстантивировано полностью, но оно все-таки субстантивировано, или, точнее, полусубстантивировано (ср. «Той при-

готови *всичко необходимо*»). Таким образом, формальное совпадение компонента *всичко* в сочетаниях типа *всичко необходимо, всичко вещественно* с местоимением-существительным *всичко* (ср. «Той приготви *всичко*» и «Той приготви *всичко необходимо*») не является случайным. Оно отражает полусубстантивированность компонента *всичко* в сочетаниях типа *всичко необходимо, всичко възможно, всичко вещественно*. Это в свою очередь свидетельствует о том, что определительное местоимение *всичко* не является простым определением к следующему за ним полусубстантивированному компоненту *необходимо, възможно, вещественно* и т. п. Оно в то же время само выступает в роли определяемого полусубстантивированного слова.

При анализе рассматриваемых сочетаний в русском языке было отмечено, что в сочетании *все вещество* местоимение *все* является определением и только определением, в то время как в сочетании *все вещественное* местоимение *все* выступает одновременно как в функции определения, так и в функции определяемого. В болгарском языке это различие проявляется гораздо ярче, поскольку оно получает и формальное выражение. Если бы *всичко* в сочетаниях типа *всичко вещественно* являлось только определением, оно подводилось бы под общее правило употребления определительного местоимения в единственном числе, т. е. оно должно было бы употребляться только в членной форме. Наравне с *всичкият пясък, всичката вода* и *всичкото вещество* надо было бы непременно говорить и *всичкото вещественно, всичкото полезно, всичкото възможно* и т. п. Но в сочетаниях типа *все вещественное* определительное местоимение *всичко* в болгарском языке употребляется именно в нечленной форме: *всичко вещественно, всичко полезно, всичко необходимо* и т. п. А это в какой-то мере свидетельствует о том, что компонент *всичко* в этих сочетаниях является не только определением, но и определяемым.

Вначале были отмечены те особенности сочетаний типа *все это*, которые отличают их от конструкций типа *все возможное* и *все отвлекающее* — отсутствие прямой синонимической соотнесенности с предикативными конструкциями и обратимостью компонентов. Но сочетания типа *все это* сближаются с конструкциями типа *все возможное* и *все отвлекающее* тем, что и в них оба компонента субстантивированы и взаимно атрибутивны. В болгарском языке это находит выражение в употреблении нечленной формы определительного местоимения: *всичко това, всичко друго, всичко останало*.

Несмотря на то, что в конструкциях типа *все это* отсутствует соотнесенность с предикативными сочетаниями, в них сохраняется аналогичная схема раскрытия смыслового содержания компонентов. Второй компонент определяется первым и в свою очередь как-то определяет его. Но атрибутивность второго компонента (*это, другое, остальное*) выражается прежде всего в том, что он ограничивает, конкретизирует обобщенное предметно-количественное значение местоимения *все*: *все это, все другое, все остальное*. Именно обобщенное предметно-количественное значение местоимения *все* и требует раскрытия, уточнения, конкретизации хотя бы в виде указания: *все это*. Если сопоставить *все это* с сочетаниями *все вещество* или *все мороженое*, то можно заметить, что в конструкциях последнего типа (где второй компонент выражен именем существительным, бывшим прилагательным или причастием, полностью перешедшим в разряд существительных) местоимение *все* не имеет такого обобщенного предметно-количественного значения. Правда, в сочетании *все это* местоимение *все* не достигает той степени

субстантивации и обобщенности количественного значения, которая наблюдается у местоимения-существительного *все*, употребляющегося самостоятельно (ср. «Он приготовил *все*»). Но оно сближается с местоимением-существительным *все* больше, чем с местоимением-прилагательным *все* в сочетании *все вещество*, так как оно в значительной степени субстантивировано (ср. *все, все это и все вещество*).

С конструкциями *все возможное* и *все отвлекающее* однотипны сочтения с притяжательными местоимениями *все свое, все наше* и т. п., ср.: «А как попробовали у нас отнять то, без чего мы своей жизни не мыслим, мы *все свое*, советское, стали пуще ценить» (10 : 246); «Это был обрусевший немец, презиравший *все наше, отечественное*» (12 : 353).

С сочетаниями типа *все возможное* и *все отвлекающее* по своей синтаксической структуре сближаются конструкции типа *что-нибудь интересное, что-нибудь другое, что-то непонятное, что-то свое, что-то такое, что-либо полезное, нечто странное, ничто человеческое, ничто другое*; сравни: «Да Леночка и сама не раз задавалась вопросом, почему содержанием своей книги Иван Матвеевич избрал не *что-нибудь красивое*, вроде яблони там или крыжовника, а обыкновенные деревья...» (8 : 253); «Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него *что-нибудь новенькое* приготовлено...» (18 : 437); «Какое слово сказать на прощание? До свидания, прощайте? Бросить *что-нибудь возмущенное* или молча отвернуться?» (18 : 27); «Смутный голос давно уже позывал Сашу на *что-нибудь такое*, не слишком опасное...» (8 : 500); «Но никто не отозвался на Полин зов — оттого ли, что не сразу до них дошло, о ком идет речь, или случилось *что-то не менее грозное*» (8 : 568); «Он хотел сказать *что-то другое*, но не получилось...» (8 : 274); «Вы помните, я вам показывал одну из его работ. Там *что-то такое* чувствовалось» (18 : 28); «О чем он думал в эти минуты? О *чем-то своем, важном, наболевшем*» (18 : 350); «Мне теперь приходится перерывать целые кипы журнальных статей, чтобы натолкнуться на *что-либо полезное*» (18 : 89); «Боль возвращала Марку частичное сознание, он отзывался на свое имя, даже приоткрывал глаза, но видел *нечто недоступное* Елене Ивановне...» (8 : 391); «Он взял было пепельницу — поставить на стол, но раздумал, *нечто другое* искал глазами вокруг и не нашел...» (8 : 469); «Мешало *многое другое*, Что пылче в памяти у всех» (16 : 8); «*Ничто человеческое* не чуждо искусству» (13 : 203); «Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и *ничто иное вредное* не случится» (9 : 92); «Я стал ловить себя на том, что часто думаю о Валентине Павловне. В этом не было *ничего необычного, ничего предосудительного*» (18 : 22). Синонимическая соотносительность с предикативными конструкциями отсутствует полностью в тех случаях, когда вторым компонентом является слово местоименного характера (ср. *что-нибудь другое, что-то такое, многое другое, ничто иное*). Более близки к сочетаниям типа *все возможное, все красивое, все отвлекающее* те конструкции, в которых в роли второго компонента употребляются имена прилагательные или причастия (ср. *что-нибудь красивое, что-то надоедающее, нечто странное*). Но и для них характерно отсутствие яркой и прямой синонимической соотносительности с какими-либо предикативными конструкциями (ср. неуотребительность таких предикативных сочетаний, как «что-нибудь, что красиво», «что-то, что надоедает», «нечто, что странно»). В этом убеждает хотя бы следующее

сопоставление с конструкциями типа *все возможное, все красивое* и т. д., которые прямо соотносятся с соответствующими предикативными сочетаниями (ср. *все красивое и все, что красиво* или *все, что является красивым*). На неупотребительности конструкций типа «что-то, что надоедает» сказывается, по-видимому, повторение морфемы *что* (ср. употребительность соответствующих конструкций в болгарском языке: «*нещо, което, дотяга*», «*нещо, което е красиво*» и т. п.). Нет сомнения, однако, что сочетания типа *что-нибудь красивое* и *что-то надоедающее* в общем однотипны с конструкциями *все красивое, все возможное, все отвлекающее* и т. п.

В зависимости от многочисленных лексических, грамматических и других своих особенностей компоненты рассматриваемых конструкций могут в определенных случаях отделяться друг от друга другими словами: «Когда король говорит, я заметил, что язык у него двигается, *все же остальное* хранит величавую неподвижность» (2 : 88); «...Но на худой конец *что-нибудь и похлеще* найдется» (8 : 473); «Но если приглядеться к их ежедневной деятельности, ...к их панической боязни *всего сколько-нибудь нового*, то можно с уверенностью сказать, что... образовался некий тип работника-консерватора...» (5); «— Эка, куда загнул, в общественные манометры записался! — сокрушенно осудил Чередилов и тут присел на *что-то своевременно подставленное* супругой, чтоб не слишком утомлялся в воскресный день» (8 : 423); «*Что-то было взрослое* в этом мальчишке, *сдержанное* не по возрасту» (18 : 153); «Была она — будущая жена, был он — будущий муж, и больше *ничего знать не хотели другого*» (18 : 407).

Второй компонент, или все сочетание в целом, довольно часто распространяется постпозитивными пояснениями: «Позабыв о своей усталости, о позднем часе, он безотвязно расспрашивал Ходжу Насреддина *обо всем касающемся принца...*» (15 : 465); «*Все скопившееся за эти дни* вырвалось наружу» (8 : 132); «Ноги его налились свинцом, и *нечто похожее на пасхальный звон* поплыло в ушах» (8 : 509); «К этому времени у советских армий уже импелось *все необходимое для мощной контратаки с переходом в наступление*» (8 : 668); «Защита добра предполагает борьбу со злом, а любовь ко *всему существующему без исключения* — это не только отказ от борьбы, а вообще отречение от всяких живых интересов и стремлений» (11 : 112).

Обособление второго компонента устраняет в нем оттенок субстантивированности, а в результате этого первый компонент становится полностью субстантивированным (ср. *все касающееся принца* и *все, касающееся принца*). Это приводит к разрушению семантико-синтаксической структуры соответствующего сочетания типа *все возможное, все необходимое* и т. п.

По сравнению с предикативными конструкциями типа *все, что возможно* или *все, что является возможным* соответствующие им непредикативные сочетания типа *все возможное* оказываются более краткими и в определенных случаях более удобными для передвижения и размещения в составе формируемого предложения. Это делает их настолько продуктивными, что в качестве их компонентов практически могут употребляться и такие полусубстантивированные прилагательные и причастия, которые за пределами этих сочетаний обычно или вообще не употребляются как субстантивированные слова; сравни, например, конструкцию *все лесное* у Л. Леонова: «Наверное, как *все лесное* в эту пору, спал старик в непролазных сугробах, и невероятным казалось, чтобы даже такая беда пробудила зимнюю спячку Калины» (8 : 90)

В заключение можно сделать следующие обобщения:

1. Семантико-синтаксическая структура сочетаний типа *все возможное, все вещественное* и т. п. сложнее и богаче, чем структура обычных атрибутивных конструкций типа *все вещество*.

2. В этих сочетаниях с точки зрения синтаксической не может быть только главным или только подчиненным ни первый, ни второй компонент. Оба они являются одновременно и определяемыми и определяющими.

3. Компоненты рассмотренных сочетаний субстантивированы не полностью. Это способствует проявлению их взаимной атрибутивности.

4. Несмотря на относительную семантико-синтаксическую расчлененность этих сочетаний, они выступают в роли одного единого члена предложения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Богомолов В. Иван., Рассказы 1958 года, М., Сов. пис., 1959.
2. Горький М., Статьи и памфлеты, Л., Мол. гвардия, 1948.
3. Зощенко М., Рассказы и повести, Л., Сов. пис., 1960.
4. Караславов Г., Дурман, Перев. с болг., М. И. Клягиной-Кондратьевой, М., Гослитиздат, 1958.
5. Катаев В., Ленинский дух новаторства, Правда, 10 ноября 1961 г.
6. Колокольцев Н. В., Литвинов В. В., Русская литература, М., Учпедгиз, 1948
7. Ленин В. И., Сочинения, Изд. 4-ое, М., Госполитиздат, 1948, т. 21.
8. Леонов Л., Русский лес, М., Гослитиздат, 1957.
9. Лесков Н. С. Рассказы, М.—Л., Детгиз, 1952.
10. Мальцев Е., От всего сердца, М., Гослитиздат, 1949.
11. Наумова Н., Проблема характера в «Войне и мире», РЛ, 1960, № 3
12. Новиков-Прибой А. С., Избранное, М., Гослитиздат, 1947.
13. Основы марксистско-ленинской эстетики, М., Госполитиздат, 1960.
14. Пермьяк Е., Кем быть, М., Мол. гвардия, 1956.
15. Соловьев Л., Повесть о Ходже Насреддине, М.—Л., Гослитиздат, 1960.
16. Твардовский А., За далью даль, М., Сов. пис., 1961.
17. Твардовский А., Стихотворения и поэмы в двух томах, М., Гослитиздат, 1957, т. 2.
18. Тендряков В., Повести, Моск. рабочий, 1961.

София

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТОИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГОВОРАХ

А. Н. Добромыслова

В северо-западных говорах русского языка (псковских, новгородских, олонечских, поморских) формы косвенных падежей местоимений *тот* и *весь*, содержавшие в прошлом *ѣ*, представляют в настоящее время вокализм *и* (*тых, тым, тих, тим, всих, всим*). Формы с мягким *т* наблюдаются преимущественно в поморских говорах; в других областях преобладают формы с твердым *т*¹.

Формы с мягким *т*, как и формы *всих, всим, всими*, в ряде работ связывались с воздействием старой формы именительного падежа множественного числа². Иное объяснение было предложено Л. Л. Васильгим: появление *и* в этих формах, как и в формах существительных типа *во снѣ, на сели*, вызвано обобщением окончаний мягкой разновидности в условиях неустойчивости *ѣ*³.

Формы типа *тых* в лингвистической литературе объясняются либо влиянием прилагательных⁴, либо воздействием местоимений мягкой разновидности⁵, либо, наконец, комбинированным действием этих (и, быть может, некоторых других) факторов⁶. Следует отметить, однако, что факты, касающиеся истории данного явления, в большинстве работ подробно не излагаются⁷, так что конкретные пути развития дан-

¹ Границы рассматриваемого явления указаны в работе Е. С. Скобликовой «О некоторых особенностях склонения местоимений в «Грамотах Великого Новгорода и Пскова», Уч. зап. Куйбышевского пединститута, 1959, вып. 26, стр. 158.

² См. И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб, 1889, стр. 124; А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах, СПб, 1903, стр. 107; А. А. Шахматов, Курс истории русского языка, СПб, 1910/11, стр. 482; Б. М. Ляпунов, Несколько слов о говорах Лукояновского уезда Нижегородской губернии, СПб. 1894, стр. 169.

³ Л. Л. Васильев, Язык «Беломорских былин», ИОРЯС, VII (1902), кн. 4, стр. 2—3.

⁴ Л. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, М., 1907, стр. 189; А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах, стр. 116; Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, Киев, 1953, т. 2, стр. 169; Е. С. Скобликова, Указ. работа, стр. 177 (а также 158, 165, 173).

⁵ П. С. Кузнецов, Русская диалектология, М., 1954, стр. 79.

⁶ П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., АН СССР, 1959, стр. 128—129.

⁷ Исключение в этом отношении представляет работа Е. С. Скобликовой. Здесь рассмотрен материал ряда памятников актовой письменности, относящихся преимущественно к XIV и XV векам.

ных форм и относительная хронология действия различных факторов остаются невыясненными.

Между тем привлечение более широкого круга памятников письменности, анализ морфологических и фонетических данных этих памятников, а также некоторые соображения лингвогеографического характера позволяют сделать некоторые выводы по этим вопросам.

В связи с историей форм именного склонения нам уже приходилось отмечать в новгородских памятниках XIV—XV вв. одно морфологическое новообразование, в равной мере характеризующее именное и местоименное склонение, а именно факт замены *ѣ* в составе падежных флексий посредством *и*⁸. Наиболее последовательно это явление отражено в двинских грамотах XV в. Здесь в формах дательного и местного падежей существительных твердой разновидности (*по старини, на голлови, на томъ сели*) окончание *-и* значительно преобладает над старым окончанием *-ѣ*⁹; единичными примерами представлены так называемые «формы на *-ы*», т. е. формы с восстановленной твердостью основы перед флексией *-и* (по *Лавкоты рѣки* Д 111¹⁰, в *тадбы* Д 85 и некоторые другие). В склонении местоимений *тот* и *весь* наблюдаются аналогичные соотношения между формами с *-и* (после мягкого согласного) и формами с *ѣ*; примеры написания *-ы* в формах местоимения *тот* (или *тыи, тои*)¹¹ относительно более многочисленны, чем в формах именного склонения. Приводим цифровые данные, характеризующие соотношение между формами различных типов в косвенных падежах местоимений *тот* и *весь* по двинским грамотам (указывается полное число слушаев):

	-ѣ-	-и-	-ы-
тот	9	28	15
весь	7	16	—

Формы местоимений твердой разновидности с *и* на месте *ѣ* и мягким согласным основы в ранний период, по-видимому, не были ограничены территорией двинских говоров. Об этом свидетельствуют написания, встречающиеся в ряде новгородских и псковских памятников, не смешивающих *ѣ* и *и*: *въверичь тихъ дѣля* НБ 105 (XII в.); *тими въверичами* НБ 335 (XII в.)¹²; *с тимъ* ГН 30 (1266—1272 г.); *надъ тимъ* Н 11 (1304—1305 г.); *тими сѣ личаще* Троицкий сборник XII в.; *с тимъ*

⁸ Ср. А. Н. Добромы слова, К истории форм дательного-местного на *-ы* в северновеликорусских говорах, ВМУ, 1959, № 3, стр. 96. Речь идет о морфологическом, а не фонетическом явлении, поскольку соответствующие факты взяты из памятников, не смешивающих *ѣ* и *и*.

⁹ Цифры даны в указанной выше статье, стр. 93. Примеры полностью приводятся в диссертации «К истории склонения в русском языке», М., 1961, стр. 307—313.

¹⁰ В статье применяются следующие обозначения: Д — двинские грамоты по изданию А. А. Шахматова; Н — новгородские грамоты по изданию Шахматова; НБ — новгородские берестяные грамоты; ГН — грамоты из сборника «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», М.—Л., 1949. Цифрой обозначается номер грамоты.

¹¹ Для обозначения местоимений, восходящих к древним *тъ* и *вьсь*, в статье условно употребляются современные формы *тот* и *весь*, что дает возможность абстрагироваться при изложении от различных временных модификаций форм именительного падежа мужского рода.

¹² Формы с *ѣ* от местоимения *тот* в берестяных грамотах не встретились. Имеется один случай с *е*: *коунъ техъ* в грамоте № 109 (XI в.), где на месте *ѣ* всюду пишется *е* (все примеры, впрочем, приходится на неударяемые слоги); ср. также *къ вьхемо шмо* в НБ 87 (XII в.). Из грамот XIV в. можно указать формы местоимения *весь*: (*от*) *вьсъхъ пашеэчьнь*, НБ 279, (*от*) *вьсхъ сирот*, НБ 370

15, 1 Пролог 1383 г. (псковский); там же *предъ всеми* 15, 4; тв. п. *всимв* 125, 2; дат. п. *всимв* 100, 1¹³; *тихъ* 36 Паисиевский сборник¹⁴, *надъ тими* 11²⁰. Поучения Серапиона Владимирского¹⁵; там же *инихъ* 12₂, *иних же* 12₂; *онима* Евангелие Ф. п. 1.9, 197 об.¹⁶; там же *надъ всеми* 197 об.; *онима* Евангелие Публ. библ. XIV в. Ф. п. 1, № 15, об.¹⁷; там же *единимъ* 73 об.₂; *онима* Ипатьевская лет. 65 об.; там же *всимв* 47 (дат. п.), *всимв* 50 (тв. ед.), *всихъ* 71, *всеми* 32 об., 35, 37; *всьими* 32 об.₁ и др.¹⁸.

В новгородских памятниках XIV в. случаи написания *и* в формах местоимения *тот* редки. В договорных грамотах Новгорода с князьями рядом со старыми формами (*тѣхъ*, *тѣмъ*, *тѣми*) употребляются формы с *т* твердым: *къ тымъ свободамъ* Н 6, Н 7 (1307—1308 г.), *ис тихъ сель* П 15 (1326—1327 г.), *къ тымъ сл [обо] дамъ* Н 8 (1371 г.). В ряде грамот последней трети XIV в. (Н 13, Н 17, ГН 44, ГН 45) отмечены только формы с *ы* (для косвенных падежей).

В новгородских грамотах XV в. формы с *т* твердым являются, по-видимому, нормой. Из берестяных грамот можно указать один случай: *на тых жь коневыхъ водахъ* НБ 249 (примеров с *ѣ* не встретилось). Исключительно новые формы (с *т* твердым) представляют новгородские и обонежские грамоты различного содержания: ГН 50, ГН 56, ГН 70 (договорные), ГН 96, ГН 122 (частная грамота, Новгород), ГН 286, 287, 296, 300, 326 (обонежские грамоты). В формах местоимения *весь* обычно пишется *и* (ГН 50, 57, 58, 70, 71, 96)¹⁹.

Формы с *ѣ* (без параллельных форм с *и* или *ы*) отмечены только в тех новгородских грамотах, язык которых свободен от новгородских диалектных черт. Таковы ГН 95, 99, 100, 115²⁰.

В Комиссионном списке 1-й Новгородской летописи встречаются как новые, так и старые формы местоимений *тот* и *весь*, например: *тымъ* 183 (дат. п.), *тых ми выдаите* 149, *тихъ приять* 135 об., *тѣх избиша* 148, *на тѣх* 137 и др.; *всих* 236 об., *по всимв* 231, *всеми* 136 об., 178, 178 об., *всьмъ воемъ* 237 и др. под. Встретилась форма с *ы* также от местоимения *самъ*: *самыхъ избиша* 147 (В Академическом и Толстовском списках читается *самѣхъ*), ср. такую же форму в Псковской 2-й

¹³ Примеры взяты из работы Т. Н. Кандауровой «К истории древнепсковского диалекта (О языке псковского Пролога 1383 г.)», Труды ИЯ АН СССР, т. VIII, стр. 217, 223.

¹⁴ См. Е. В. Матвеева, Паисиевский сборник XIV—XV вв., РФВ, т. 73, вып. 1—2, стр. 270.

¹⁵ Поучения по рукописи «Златая Чепь» конца XIV в. изданы в приложении к исследованию Е. В. Петухова «Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века», СПб, 1888. Цифры обозначают страницу и строку издания. В памятнике имеются написания, которые могут быть интерпретированы как отражение новгородских диалектных черт: *ѣ* на месте *и*: *лъствие (от) древа* 2₉₋₉, *не видѣм* (1 л. мн. ч.) 5; *завѣсть зумисжилася* 9₂, *в Латънь* 11₆; и в форме местного падежа: *в соньми* 11; ср. также написание *всь*, характерное для новгородских памятников: *на всь миръ* 117.

¹⁶ Б. А. Бандуров, Евангелие — апракос XIV в. Имп. Публ. библиотеки Ф. п. 1. 1) как памятник русского языка, РФВ, 1905, № 2 (т. 53, вып. 2), стр. 283.

¹⁷ В. В. Виноградов, Исследования в области фонетики северно-русского наречия, Пг, 1923, стр. 176.

¹⁸ В. В. Виноградов, Указ. работа, стр. 256—258.

¹⁹ Написания типа *всьмъ*, *всьхъ* в некоторых обонежских грамотах (ГН 297, 299, 300, 302, 303) при параллельных *тымъ*, *тихъ* могут объясняться смешением на письме *ѣ* и *и*.

²⁰ В этих грамотах отсутствует и такая яркая морфологическая черта новгородского говора, как родительный на *-ѣ*, ср. Л. Н. Добрымъ слова, К истории склонения в русском языке, М., 1961 (Диссертация), стр. 32—33.

летописи, 14²¹. В именительном падеже встретились написания с *ь* и с *и*: *самъ... сьдоши* Ком. сп. 145 об., *сами поидосте* 149²².

Учитывая процессы, происходившие в рассматриваемую эпоху в склонении существительных — развитие форм с окончанием *-и* в дательном и местном падежах твердой разновидности и последующую их замену формами на *-ы*, естественно предположить, что в склонении местоимения *тот*, а также, по-видимому, и некоторых других местоимений твердой разновидности, развитие шло таким же путем. В этом случае формы с мягким *т* (*тих* и т. д.) и формы с *т* твердым должны рассматриваться как две стадии одного процесса, подобно тому как формы *на води* и *на воды*. После того как в формах, содержащих *и*, была восстановлена фонематическая твердость основы (т. е. *тих* > *тых*), стало возможно воздействие со стороны прилагательных (или местоимений, ранее усвоивших членное склонение, например, *иных*)²³.

В пользу высказанной гипотезы свидетельствует и тот факт, что прямые падежи (т. е. именительный и винительный) местоимения *тот* получили членные формы поздно²⁴, а в ряде местоимений эти формы вообще не развивались (*вси-все, оны, одны, самы*). Существенно отметить также, что ударение диалектных форм с *-ы-* (*самьих, самьм*) отличается от ударения членных форм (*самых*).

Хронологически процесс влияния мягкой разновидности и восстановления фонематической твердости основы у местоимений прошел несколько раньше, чем у существительных. Выше приводились формы местоимений с *и* из памятников XII века. Форма Духовной Климента с *однымъ* позволяет предполагать, что формы с твердым согласным перед *и* (*ы*) могли употребляться уже в конце XIII века. На это указывает и употребление форм типа *тых* в договорных грамотах начала XIV века (Н 6, Н 7). Широкое развитие рассматриваемых форм засвидетельствовано памятниками последней трети XIV века; формы дательного-местного на *-ы* в письменности этого времени еще редки²⁵.

В говорах двинской земли развитие шло, видимо, медленнее, и формы с *и* в обеих категориях сохранялись дольше. Твердость основы у местоимения *тот* в этих говорах не была проведена последовательно;

²¹ Цитируем по ПСРЛ, т. V, СПб, 1851.

²² Следует отметить, впрочем, что колебания между *ь* и *и* в Комиссионном списке могут не иметь морфологического значения, поскольку здесь взаимная мена *ь* и *и* часто встречается и в корнях слов. Фонетическими явлениями, по-видимому, надо объяснять такие написания, как по *нъ*. Ком. сп. 166, с *нъми*, НБ 131 (здесь ярко выражена мена *ь* и *и*), *своьхъ*, НБ 366 (в грамоте много случаев написания *ь* на месте *и*).

²³ Членные формы этого местоимения встречаются уже в древней части Синодального списка 1-й Новгородской летописи, в то время как формы с *ы* или *и* от местоимения *тот* в этом памятнике полностью отсутствуют. Формы с *и* от *весь* появляются лишь на последних страницах Синодального списка, в записях 1333 и 1352 гг. (второстепенные почерки).

²⁴ В работе Е. С. Скобликовой, где специально рассмотрен вопрос о хронологических отношениях между членными формами прямых падежей и формами типа *тых*, подчеркивается, что «нет ни одного случая более раннего употребления форм *той* (*гъи*), *тая*, тсе по сравнению с формами *тых*, *тым*, *тыми*». «Напротив, если форма мужского рода *той* (*тъи*) начинает использоваться в грамотах одновременно с формами типа *тых*, то аналогичные формы женского и среднего рода (*тая* и *тое*) — гораздо позже, только в XV веке» (Е. С. Скобликова, Указ. работа, стр. 170). С выводами Е. С. Скобликовой согласуются и данные берестяных грамот. Здесь нами отмечены только нечленные формы женского и среднего рода: *то джьлось*, НБ 154 (XV в.), *ту празку*, НБ 131 (XIV в.) и др. Вин. мн. *тые*, который в работе Скобликовой датируется XV в., отмечен нами в Сильвестровском сборнике XIV века.

²⁵ Ср. А. П. Добрымелова, К истории форм дательного-местного на *-ы*, стр. 88

в поморских говорах до настоящего времени употребляются формы с *т* мягким.

Географические границы форм типа *тых, всих*, с одной стороны, и форм дательного-местного на *-ы-* с другой, в говорах северо-запада совпадают. Оба явления имеют место в псковских говорах. Восточная граница дательного-местного на *-ы* является в то же время границей рассматриваемых форм местоимений.

Таким образом, можно предполагать, что влияние местоимений мягкой разновидности, начавшееся в XII или XIII в., привело к образованию в новгородском говоре форм типа *тих, всих*. В то же время продолжали употребляться формы с *ѣ*. К концу XIII в. или началу XIV относится начало процесса обобщения твердой основы в формах, содержащих новое *и* (тот же процесс шел и в говорах, развивших *и* на месте *ѣ* фонетическим путем, ср. данные Богдановского Златоуста)²⁶.

Влияние прилагательных, ставшее возможным с появлением форм типа *тых*, вызвало появление форм *тые* (XIV в.), *тая, тую, тое* (XV в.). В псковских и новгородских говорах развитию форм с твердым *т*, возможно, способствовало общение с соседними белорусскими говорами²⁷. В двинских говорах данный процесс не имел поддержки соседних говоров и, возможно, поэтому оказался проведенным менее последовательно.

²⁶ Л. Л. Васильев, Богдановский Златоуст XVI века, ИОРЯС, X, 3 (1905), стр. 317.

²⁷ По западнорусским памятникам формы *тая, тую, тых* известны с конца XIII века. См. И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб, 1889, стр. 121.

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ

А. Н. Копылов

При определении исходных положений для конкретного исследования предлогов в первую очередь необходимо выделить вопрос об отнесении предлогов к определенному ряду объектов исследования. Обычно это зависит от того, какой из аспектов языка оказывается в центре внимания. По мнению одних лингвистов, предлоги должны изучаться как независимые, свободные морфемы, выражающие чисто грамматические отношения¹. Поэтому иногда предлагают рассматривать предлоги исключительно с точки зрения их роли в построении предложения². По мнению же большинства языковедов, предлоги должны изучаться как слова³.

Решение этого вопроса связано с общеизвестными трудностями определения таких единиц языка, как морфема и слово. Выдвигаемые в качестве основных признаков слова его выделимость, цельность и синтаксическая подвижность⁴ вполне характеризуют предлоги, поэтому они могут быть рассмотрены как слова. Однако специфика семантики предлогов исключает, как правило, возможность их изолированного употребления и делает крайне ограниченным их рассмотрение только с этой точки зрения.

Это противоречие может быть устранено путем применения метода разграничения языковых уровней. Под уровнем анализа языкового явления понимают обычно структуру, характеризующуюся: 1) совокупностью выделяемых на данном уровне единиц, 2) способностью выделяемой единицы вступать в комбинаторные отношения с другими единицами данного уровня, 3) совокупностью отношений, специфических для данного уровня, 4) соотносимостью единиц данного уровня с единицами высшего уровня языка и 5) соотносимостью единиц данного уровня с единицами других уровней языка⁵.

¹ Ш. Вандриес, *Язык*, русск. пер., М., 1937, стр. 116.

² И. И. Мещанинов, *Члены предложения и части речи*, М., 1945, стр. 296.

³ См., например, В. В. Виноградов, *Русский язык*, М., 1947, стр. 28-40, 677-689; V. Brøndal, *Théorie des prépositions*, Copenhague, 1950; C. de Boer, *Essai sur la syntaxe moderne de la préposition en français et en italien*, Paris, 1926 и др.

⁴ См., например, К. Тоггебу, *Qu'est-ce qu'un mot?* TGLC, vol. V, *Recherches structurales*, Copenhague, 1949; А. И. Смирницкий, *Лексикология английского языка*, М., 1956, стр. 27; В. М. Жирмунский, *О границах слова*, ВЯ, № 3, 1961.

⁵ См., например, L. Apostel, *Logique et langage considérées du point de vue de la précorrection des erreurs*, в книге L. Apostel, B. Mandelbrot, A. Morel, *Logique*,

Выделяя в числе уровней анализа по основной единице уровень морфемы, уровень слова (как части речи) и уровень предложения, можно рассмотреть предлоги на каждом из этих уровней. При этом взаимосвязанность и взаимозависимость уровней анализа, проявляющаяся в соотносимости единиц одного уровня с единицами других уровней, позволит изучить их с различных точек зрения, не исключая друг друга.

Разграничение уровней анализа особенно важно при изучении и сопоставлении функций предлога, проявляющихся в различных синтаксических структурах, так как возникает возможность точного определения взаимоотношений, складывающихся между основными единицами выделяемых уровней — словом и предложением — и единицами, производными от основных единиц — словосочетанием и членом предложения. Словосочетание определяется при таком подходе как синтаксическая единица уровня слова, образованная на основе сочетаемости слов⁶ — основных единиц этого уровня, а член предложения — как синтаксическая единица уровня предложения, образованная в результате членения предложения — основной единицы высшего уровня анализа.

Отнесение предлога к словам создает предпосылки для его рассмотрения с трех сторон: во-первых, со стороны его формы в узком смысле этого слова, определяемой его морфемным составом (эта сторона предлога непосредственно соотносится с соответствующим уровнем анализа языка), во-вторых, со стороны, обращенной к внеязыковой действительности⁷ и образующей значение, семантику предлога, и в-третьих, со стороны отношений предлога к другим языковым единицам (функциональная сторона).

Опыт построения общих теорий предлога показывает, что в основу его определения не может быть положена только одна из названных сторон. Чисто морфологическое определение предлогов как неизменяемых слов приводит к их отождествлению с другими разрядами неизменяемых слов, например, союзами, наречиями, междометиями. Последовательно семантическое определение предлогов, осуществленное В. Брендалем, также не дает удовлетворительного результата, так как приводит к отождествлению собственно языкового значения предлога с понятийным содержанием обозначаемого им отношения. Определение предлогов только на основе их функций затруднено, во-первых, наличием большого количества неоднородных языковых единиц, имеющих иногда функции предлога (например: *comme* «как», *plein de* «полный», *au centre de* «в центре» и др.) и во-вторых, многообразием функций предлогов.

Однако из невозможности дать предлогу одностороннее морфологическое, семантическое или функциональное определение не вытекает невозможность выделения одной из сторон предлога в качестве определяющей и исходной. При этом другие стороны занимают второстепенное, подчиненное положение и дают вспомогательные критерии при классификации. Чаще всего за основу принимается семантическая сторона предлогов (акад. В. В. Виноградов, В. Брендал). В исследовании предлогов по этому пути достигнуты значительные успехи. Однако

langage et théorie de l'information, Paris, 1957, стр. 145; а также N. Chomsky, Theory of Language Systems; Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, № 5, 1961.

⁶ Л. И. Илья, Типы словосочетаний в современном французском языке, автореф. докт. дис., М., 1960, стр. 6, 13-14.

⁷ О. С. Ахманова, О роли служебных слов в словосочетании, «Доклады и сообщения ИЯ АН СССР», 1952, № 2, стр. 124-125

остается ряд еще не решенных вопросов. Так, при определении семантики предлогов часто допускается субъективная ее оценка, либо привлекаются понятия, приемы и методы анализа, заимствованные из других наук, особенно из логики, как формальной, так и функциональной или логики отношений (В. Брендал). Это связано с тем, что предлоги неспособны к «отдельному номинативному употреблению»⁸, «не могут быть отдельными предметами мысли»⁹.

Избежать подобных недостатков можно, как кажется, путем изучения в первую очередь сторон предлога, данных в непосредственном наблюдении, а именно их формы и функции. Однако исходить из формы предлогов вряд ли возможно, так как хоть сколько-нибудь закономерных связей их морфологической структуры с другими сторонами не обнаруживается, если не считать обратно пропорциональных количественных зависимостей между семантическим объемом предлога и его структурной сложностью, которые требуют применения особых методов анализа, отличных от обычно используемых в лингвистике при описании качественных сторон явления¹⁰. Поэтому представляется целесообразным проводить описание предлогов на функциональной основе.

Так как функциональная сторона предлогов теснейшим образом связана с их семантической стороной (что приводит иногда либо к одностороннему функциональному определению предлогов¹¹, либо к отождествлению их функциональной и семантической сторон¹²), необходимо дать определение функции предлога и значения предлога.

Под функцией предлога понимается его отношение к тем языковым единицам, в связи с которыми он выступает в контексте. Внешним выражением функции предлога является, следовательно, его позиция. Среди преимуществ такого определения функции предлога выделяется следующее: его собственные функции строго отграничиваются от функций других языковых единиц, выступающих в предложных построениях различного типа.

Обнаруживаются две функции предлога, которые можно считать основными, элементарными: отношение к предыдущей языковой единице и отношение к последующей языковой единице. Так, например, в предложении... *il ne fit rien jamais qui pût passer pour de la familiarité* «...он никогда не сделал ничего, что могло бы сойти за фамильярность» обнаруживаются элементарные функции предлога *pour* в его отношении к *passer* и к *de la familiarité*.

Кроме основных функций предлога, обнаруживаются две производные функции: отношение предлога к словосочетанию, где он выполняет служебную роль средства связи между его членами, а также определяет в числе других средств его тип и структуру (в приведенном примере предлог *pour* оформляет словосочетание *passer pour de la familiarité*¹³) и отношение предлога к предложению, где он является формантом члена предложения (в приведенном примере предлог *pour* оформляет именную часть сказуемого *pût passer pour de la familiarité*)

⁸ В. В. Виноградов, Указ. соч., стр. 28.

⁹ О. С. Ахманова, Указ. соч., стр. 124.

¹⁰ Имеются в виду методы, используемые при статистическом описании языка. см., например, ст. R. Michéa, *Linguistique et mathématique*, в тб. F. Mossé, *Mélanges de linguistique et de philologie*, Paris, 1959; а также Г. Глиссон, Введение в дескриптивную лингвистику, русск. пер., М., 1959, стр. 355 и сл.

¹¹ Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, т. 1, вып. 5, стр. 186.

¹² В. В. Виноградов, Указ. соч., стр. 30.

¹³ Л. И. Ильин, Указ. соч., стр. 18, 19.

Функция предлога в словосочетании может быть выведена из двух элементарных функций предлога, так как в основе отношения предлога к главному члену словосочетания лежит его первая элементарная функция (отношение к предыдущей языковой единице), а отношение предлога к зависимому члену словосочетания производно от отношения предлога к последующей языковой единице. Но функция предлога в словосочетании не является простой суммой двух элементарных функций предлога, так как она осложнена здесь отношениями сочетаемости, складывающимися между членами словосочетания.

Обе элементарные функции предлога, а также его функция в словосочетании являются отношениями, в которые вступают слова, и характерны, следовательно, уровнем слова. Функция предлога в предложении связана с выделением качественно иной языковой единицы — предложения, а отношения, обнаруживаемые в этой единице, являются отношениями иного, высшего уровня языка. Однако, имея в виду связь между уровнем слова и уровнем предложения, эту функцию предлога нельзя рассматривать изолированно, так как с этой точки зрения она оказывается проекцией трех функций уровня слова, а также других сторон предлога как слова на уровень предложения.

Специфика каждой из трех функций предлога, обнаруживаемых на уровне слова, может быть выяснена путем изучения конструкций, в которых эти функции реализуются в чистом виде. Если формальным основанием для выделения синтаксической конструкции на уровне слова считать ограниченность сочетаемости ее компонентов, то легко отметить, что конструкции, в которых реализуется первая элементарная функция предлога (например, *voter pour*, «голосовать за») качественно отличны от конструкций, в которых реализуется вторая элементарная функция предлога (например, *dans un mois*, «через месяц»). В конструкциях первого типа ограниченность сочетаемости компонентов носит преимущественно лексический характер, предлог здесь функционально сближается с наречием¹⁴ (или, в позиции после существительного, с прилагательным) и утрачивает, следовательно, ряд качеств, характеризующих его как таковой. Эти признаки позволяют сблизить конструкции этого типа со словосочетаниями, определить их как словосочетания с предлогом в качестве зависимого члена.

В конструкциях второго типа, которые обычно называют предложными конструкциями или предложными сочетаниями, ограниченность сочетаемости компонентов обусловлена грамматически: следующая за предлогом языковая единица имеет вообще или приобретает в данной позиции субстантивное значение (например, *...je me trouvais éloigné de plus de 20 milles par rapport à hier* (Vombard) «...я находился более чем в 20 милях к югу по сравнению с вчерашним днем»). Таким образом, структура предложных сочетаний всегда остается грамматически стабильной, предлог здесь всегда является знаком отношения, в котором представлен второй, субстантивный компонент сочетания. Очевидно при этом, что частный вид отношения, обозначаемого предлогом (его лексическое значение), не существен при выделении и определении предложного сочетания как особой синтаксической единицы уровня слова.

Предложные сочетания входят, как правило, в состав третьего типа синтаксических единиц уровня слова, образуемых с участием пред-

¹⁴ П. П. Корыхалова, О некоторых особенностях развития префиксальной системы французского языка, Дисс., Л., ЛГУ, 1958

лога, — предложных словосочетаний. Здесь обе элементарные функции предлога реализуются одновременно, однако вторая элементарная функция предлога проявляется непосредственно, а первая — опосредствованно, лишь постольку, поскольку предлог функционирует в предложном сочетании. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать предлог в предложном словосочетании как средство связи между его членами¹⁵.

Схематически функции предлога в предложном словосочетании могут быть представлены формулой:

($A \leftarrow (P \rightarrow B)$), где А и В соответственно главный и зависимый члены словосочетания, P — предлог, \leftarrow и \rightarrow — знаки функций и (— граница синтаксической единицы).

Рассмотрение функций предлога на уровне слова (части речи) создает основу для определения значения предлога, так как предложное словосочетание является простейшим контекстом, в котором полностью проявляется как индивидуальное лексическое значение, так и общее грамматическое значение предлога.

Основной особенностью семантической стороны предлога, проявляющейся наиболее ярко у многозначных предлогов, является то, что она не дана в непосредственном наблюдении. Поэтому необходимо применение специальных методов, приемов обнаружения значения предлога. Таких приемов обычно предлагают два: 1. Значение предлога определяется в связи со значением компонента или компонентов синтаксической единицы, в составе которой предлог функционирует. Так определяется речевое (контекстуальное, синтагматическое) значение предлога. 2. Значение предлога определяется путем противопоставления одного предлога другому. Так обнаруживается языковое (парадигматическое) значение предлога, являющееся показателем его места в системе предлогов языка.

Как первый, так и второй приемы могут быть применены при исследовании только функционально однородных синтаксических единиц, включающих предлог. Несоблюдение этого правила приводит к возможности ошибочного отождествления значений предлога, в реальности не тождественных.

В настоящей статье не представляется возможным коснуться вопросов, связанных с языковым (парадигматическим) значением предлога, таких, как, например, вопрос о синонимии предлогов, специфике системы предлогов французского языка по сравнению с русским языком и другими языками и т. д., так как эти вопросы могут быть рассмотрены только после достаточно полного изучения речевого (синтагматического) значения предлога. Поэтому остановимся только на вопросе о речевом значении предлога.

С точки зрения значения предлога предложные словосочетания могут быть подразделены на две группы: словосочетания, в которых значение предлога определяется по его функции к зависимому члену словосочетания, говоря другими словами, в которых предложное сочетание является семантически полным без соотнесения с предшествующей языковой единицей, и словосочетания, в которых значение предлога не может быть определено только по функции к зависимому члену словосочетания, в которых значение предлога выявляется на основе его обеих элементарных функций. Ср., с одной стороны, *Vien, je passe*

¹⁵ Д. И. Плева, Указ. соч., стр. 16

pour aujourd'hui. Va. (Laffitte) «— Хорошо, на сегодня прощаю. Иди.», «...elles (les voitures)... coupèrent la place en brûlant les signaux *avec un coup de sirène* (Devaux)» «...они (машины)... пересекли площадь, проскочив мимо светофоров с воем сирены» и, с другой стороны, *L'aiguille de l'ampèremètre, éclairée au bout de la cigarette ne réagit pas* (Arnaud) «Стрелка амперметра, освещенная огнем сигареты, не отреагировала»; «...ils avaient vaincu Névérowskoi, et salué Napoléon *avec les canons conquis la veille sur les ennemis* (De Ségur)» «...они одержали победу над Неверовским и салютовали Наполеону из пушек, захваченных накануне у врага». Значение предлога в словосочетаниях первой группы можно условно назвать свободным в отличие от связанного значения в словосочетаниях второй группы.

Предложные сочетания как со свободным, так и со связанным значением предлога различаются потенциалом сочетаемости. С этой точки зрения выделяются, во-первых, предложные сочетания с пространственными, временными, причинными, комитативными, модальными, целевыми и некоторыми другими значениями предлога. Они характеризуются высоким потенциалом сочетаемости и могут функционировать в словосочетаниях, где в качестве главного члена могут выступать глаголы любой из трех лексических групп (переходные, непереходные, связка), а также слова других лексикограмматических классов (существительное, прилагательное, наречие, реже другие).

Значения предлогов в предложных сочетаниях этого типа можно назвать обстоятельственными и, имея в виду их функционирование (преимущественно, но не непременно) в предложении в качестве формантов обстоятельства. Выделяются, таким образом, предложные сочетания со свободным обстоятельственным значением предлога, например, *...on les retrouve à Tarascon...* (Daudet) «...их находят в Тарасконе»; *Tous les dimanches matin, il partait avec une casquette neuve...* (Daudet) «Утром по воскресеньям он выходил в новой фуражке»; *...créer est dans la nature de l'homme* (Duhamel) «...творить свойственно природе человека»; *Une alerte sur le Rigi* (Daudet) «Тревога на Риги»; *Elle marcha plus vite. Dans son vieux manteau bleu marine, bien léger pour la saison* (Aragon) «Она пошла быстрее. В своем старом голубом пальто, слишком легком для этого сезона»; *...debout dans le vent, deux Indiens... regardent le feu...* (Arnaud) «...стоя на ветру, два индейца.. смотрят на огонь» и предложные сочетания со связанным обстоятельственным значением предлога, например, *Antoine sauta de taxi* (Du Gard) «Антуан выпрыгнул из такси»; *...sa mère se rend à la prison* (Laffitte) «...его мать отправляется в тюрьму»; *D'enfant que j'étais au départ, je suis devenu homme au retour* (Balzac). «Из ребенка, которым я был при отъезде, я превратился в мужчину по возвращении»; *Il est de Romagne, un Romagnol* (Du Gard) «Он из Романии, романец»; *Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon* (Daudet) «Большой человек из Тараскона скучал в Тарасконе»; *loin de Tarascon* (Daudet) «...далеко от Тараскона».

Во-вторых, выделяются предложные сочетания, имеющие ограниченную сочетаемость с более или менее обширными лексическими группами глаголов, обычно объединяемых в подкласс переходных глаголов. Значение предлогов в предложных сочетаниях этого типа удобно называть объективным, потому что здесь предлог своей семантической стороной обозначает различного вида объектные отношения между членами словосочетания (такие, как, например, адресата, инструментальные и т. д.), оформляет (опять-таки преимущественно, но не всег-

да) косвенное дополнение. Предложные сочетания с таким значением предлога встречаются и в позиции после других частей речи, особенно существительного, но это возможно лишь при лексически ограниченной группе слов. Как и в предложных сочетаниях с обстоятельственным значением предлога, обнаруживаются предложные сочетания со связанным объектным значением предлога, например, *...je verrais toute ma vie le grand Tartarin s'approchant du paino d'un pas solennel.* (Daudet) «...я всегда буду видеть перед собой великого Тартарена, приближающегося к пианино торжественным шагом,...»; *...un vieux coquin de lièvre, échappé comme par miracle aux septembrisades tarasconnaises...* (Daudet) «...старый мошенник заяц, словно чудом спасшийся от тарасконского террора...»; *...ceux qui d'en bas tiraient sur les cordes s'écartèrent* (Arnaud) «...те, кто снизу тянул за веревки, отошли в сторону»; *Qui ne court après la fortune* (La Fontaine) «Кто не стремится к богатству!»; *Mais le triomphe définitif du français sur les dialectes ses voisins, ne fut pas acheté sans combat* (Brachet) «Но окончательная победа французского языка над соседними диалектами не обошлась без борьбы»; *Le film de l'étonnante expérience de Bologne* (L'Humanité) «Фильм об удивительном эксперименте в Болонье» и предложные сочетания со свободным объектным значением предлога, например. *A voix basse, elle ajoutait: «A vous, Tartarin», ...* (Daudet) «Шепотом она прибавляла: «Теперь вам, Тартарен»,...»; *Du cidre, de sa fabrication et de ses effets...* (Flaubert) «О сидре, его производстве и действии»; *Sur «Né du feu»* (France nouvelle) «О «Рожденном в огне». Следует, однако, заметить, что количество последних незначительно. По-видимому, это объясняется тем, что, как правило, семантические группы слов, распространяемых предложными сочетаниями этого типа, настолько мелки, что значение предлога остается почти идиоматичным¹⁶.

В-третьих, выделяются предложные сочетания, ограниченно сочетающиеся с существительными, а также с глаголами-связками: *un tel argument est de poids* (Arnaud) «это веский аргумент». Предлог здесь обозначает такие отношения, как, например, принадлежности: *le baobab de Tartarin* (Daudet) «баобаб Тартарена», количественные: *un flacon de rhum* (Daudet) «бутылка рома», уточнения: *la bonne ville de Tarascon* (Daudet) «добрый город Тараскон» и т. д. Эти значения предлога можно назвать атрибутивными, потому что, как правило, предлог с этим значением оформляет определение.

Различение свободных и связанных обстоятельственных, объектных и атрибутивных значений предлога позволяет однозначно и в одинаковых терминах определить семантическую сторону любого предлога, выделяемого как слово. Это создает основу для его характеристики на уровне предложения, так как здесь не обнаруживается никаких факторов, могущих как-либо повлиять на его семантическую сторону. Значение предлога в функции на уровне слова тождественно его значению в функции на уровне предложения.

¹⁶ На это обратил внимание А. М. Пешковский: «В сочетаниях *скупать, тосковать, сохнуть, страдать, болеть душой по ком* предлог тесно связан со слишком малым числом глаголов, чтобы выявить собственное значение» (Русский синтаксис в научном освещении, стр. 321).

ЧТО ГОВОРЯТ РУКОПИСИ И КНИГИ

(Об основном тексте «Демона»)

Т. А. Иванова

В нашу эпоху роста точных знаний повышаются требования точности, документальности и в области наук гуманитарных. В связи с достижениями советской науки о Лермонтове на новом ее этапе необходимо пересмотреть вопрос о тексте одного из центральных произведений поэта — о тексте «Демона». Вопрос этот не только текстологический. От его решения зависит дальнейшее изучение творчества писателя.

Наиболее совершенным, зрелым текстом поэмы «Демон» принято считать у нас первое карлсруйское издание 1856 г. и в основном тексте советских изданий печатать «Демона» с того самого списка, с которого печаталось это издание. Список по имени издателя называют «философовским». Принято думать, что текст «философовского» списка есть последняя редакция «Демона» и что эта последняя редакция относится к 1841 году, году смерти поэта.

Но так ли это?

Попытаемся ответить на этот вопрос на основе документального материала, обратимся к изданиям, рукописям, текстам. Свидетельство документов находится в резком противоречии с тем, что принято утверждать о законченности и совершенстве текста поэмы в «философовском» списке.

Прежде всего сравним идейное содержание и художественную форму поэмы «Демон» в «философовском» списке с ее идейно-художественным содержанием в списке лопухинском (с редакцией авторизованной копии, собственноручно датированной Лермонтовым 8 сентября 1838 года¹).

В этой редакции процесс создания образов героя и героини в поэме, над которой Лермонтов работал десять лет, приходит к стадии некоторой завершенности. Герой — мятежник, изгнанник, страдалец. Героиня — яркий, цельный живой характер. Взаимное влечение Демона и Тамары определяется близостью их душ. Гордая душа Тамары «заиятиана» «огненным дыханием» Демона, заражена его критикой и сомнениями. Она умирает, отвергнутая небом, и рай для нее закрыт. Полная раздумий о своей судьбе, Тамара плясала под звуки зурны,

¹ Хранится в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им М. Е. Салтыкова-Щедрина.

под вой метели она лежала в гробу со страшной улыбкой, в которой можно было уловить гордую вражду с небом.

Под звуки музыки, под впечатлением пляски Тамары пробудилась от «железного сна» душа Демона. Под вой метели мы видим его снова побежденным. Попытка освобождения от божьего проклятья, испепелившего его душу, не удалась. Бог оказался сильнее. Он отнял у него не только Тамару, но и надежду на возрождение.

У могилы Тамары мы встречаем побежденного Демона. Его трагический и прекрасный образ мелькает перед нами в последний раз в снежном вихре.

Таково действие поэмы в лопухинском списке. Несмотря на сохранившиеся и на этом этапе отдельные противоречия в образе героя, в данной редакции поэма представляет собой идейно-художественное целое. Все слагаемые подчинены единству замысла — пафосу бунта и революционного отрицания. Имеющиеся противоречия не отражаются на ходе действия.

Обратимся к тексту «философовского» списка. От лопухинского он отличается в первую очередь своей развязкой: прощенную богом героиню ангел несет в рай. Новая развязка изменила сюжет, внесла иную идею в произведение, а следовательно, внесла принципиальную разницу в поэму, о чем писал Белинский, говоря о «больших разнице»² двух имевшихся у него списков, отличавшихся разными развязками. В своем списке³ Белинский воспроизвел развязку лопухинской редакции и в конце тетради, среди других вариантов, привел развязку «философовского» списка.

В монологе Ангела, в новой развязке, поэт декларировал мысль своих идейных противников:

Но час суда теперь настал —
И благо божие решенье!

Новая развязка нарушила логику образов. Полный обаяния мятежник и страдалец Демон неожиданно превращается в конце в злобного «адского духа», страстная земная женщина Тамара — в полунесбесное существо, злой бог становится добрым и справедливым.

Включение в текст поэмы клятвы Демона еще более усиливало противоречивость образов. Демон, готовый к примирению с богом, и Демон — злобный «адский дух» финала несовместимы. Это как бы два героя разных произведений. Необходимы были промежуточные звенья, опорные пункты, этапы подобного превращения. В поэме «философовского» списка таких моментов развития образа нет. Там нет даже диалога о боге, в котором Демон слегка богохульствует, несмотря на свое обещание исправиться. И этого благонравного раскаявшегося Демона справедливый бог, простивший Тамару, почему-то низвергает в ад.

Механическое присоединение в «философовском» списке к монологу Демона лопухинской редакции новых строк — клятвы Демона нарушило элементарную логику: Демон, только что заявлявший о своем отречении от «гордых дум», тут же, без всякого перехода, обещает открыть Тамаре «пучину гордого познания».

Аналогичные случаи несогласованности текста легко обнаружить и в других строфах поэмы «философовского» списка. Обратимся к XI и XII ст. части II. В тексте лопухинской редакции сказано, что в момент

² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М., 1956, стр. 85

³ Список Белинского хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

торжества Демона «Мучительный, но слабый крик» Тамары возмутил ночное молчанье. И в то же время сторож, проходя под окном кельи, слышит «Чуть внятный крик и слабый стон».

В «философовском» списке в поэме появляются черты мелодраматизма. Теперь молчание ночи нарушает не «слабый», а «ужасный» крик героини, и совершенно непонятно, как может сторож, услышав хоть и минутный, но «ужасный» крик, раздавшийся из окна кельи монахини, спокойно продолжать обход монастыря.

Художественное несовершенство поэмы в «философовском» списке усугубляется появлением новых слабых строф и исключением прекрасных по форме, глубоко психологических, на которых строился сюжет лопухинской редакции. В «философовском» списке исчезают строки, свидетельствующие о том, что Демон выполняет свое обещание открыть Тамаре «пучину гордого познания», строки рисующие картину пробуждения в ней интеллекта:

Но Демон огненным дыханьем
Тамары душу запяtnал,
И божий мир своим блистаньем
Восторга в ней не пробуждал.
Страсть безотчетная как тенью
Жизнь ослепила перед ней;
И стало все предлог мученью...⁴

Душевное состояние героини изображается теперь совершенно иначе:

Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится е м у...⁵

Более упрощенному содержанию здесь соответствует и более упрощенная форма, с элементарным ритмом, просто гладкие и легкие стихи.

Сюжет из сложного психологического и философского плана переходит в иной, становится примитивнее, приближается к трафаретному, любовному.

Отмечу два очень слабые монолога Тамары в «философовском» списке. Один — перед клятвой Демона. При переписке поэмы Белинский несколько строк из этого монолога исключил [Нет! дай мне клятву, роковую..... И сжалишься, конечно ты!]. Он привел эти строки среди вариантов с пометкой: «было выпущено за бессмысленностью».

Монолог Тамары, которым начинается вторая часть поэмы, настолько художественно несовершенен, что Висковатов усомнился, мог ли он быть «сполна» написан Лермонтовым.

Этот монолог в «философовском» списке и первом карлсруйском издании читается так:

Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимую мечтой;
Я гибну, сжался надо мной!⁶

⁴ М. Ю. Лермонтов, Собр. соч. в 4-х тт., т. II, М., 1958, стр. 472. В дальнейшем цитирую по этому изданию.

⁵ Там же, стр. 95.

⁶ Там же, стр. 92.

Не говоря уже о скудости содержания, здесь есть совершенно неудачные стихи:

Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!

Искренней реалистической интонацией отличается вариант того же монолога в лопухинском списке:

Не буду я ничьей женою,
Скажи моим ты женихам;
Супруг мой взят сырой землею.
Другому сердца не отдам.

В этом варианте имеются поразительные по глубине психологического содержания строки, рисующие смятенность души героини, взволнованной «неотразимой мечтой»:

В тиши ночной меня тревожит
Голпа печальных, странных снов:
Молится днем душа не может:
Мысль далеко от звука слов!⁷

При сопоставлении двух вариантов монолога создается впечатление, что глубокий по содержанию и совершенный по форме вариант лопухинской редакции является более зрелым, чем вариант «философского» списка. Впечатление, создающееся при сравнительном анализе текста, подтверждается свидетельствами документов: об этом говорят примечания в заграничных изданиях поэмы.

Вариант лопухинской редакции печатался во всех заграничных изданиях «Демона» XIX в., не исключая второго карлсруйского. Во втором карлсруйском издании 1857 г. к монологу Тамары сделано такое подстрочное примечание: «После первых четырех стихов [Отец, отец! оставь угрозы, /Свою Тамару не брани; /Я плачу, — видишь эти слезы, —] /Уже не первые они!/ написаны были следующие»⁸, и вслед за тем приведен вариант первого карлсруйского издания⁹. Указание, что вариант «философского» списка ранний, имеется и в лейпцигском издании Гергарда. Там дана еще более выразительная формулировка. Про эти строки, имеющиеся в «философском» списке, сказано так: «Они заменены как напечатано в тексте»¹⁰, а в основном тексте напечатан вариант лопухинской редакции.

Попутно отметим, что монолог этот в более раннем варианте «философского» списка редко печатался в русских дореволюционных изданиях. Начиная с 1926 г., когда был принят для основного текста «Демона» текст первого карлсруйского издания, ранний вариант монолога, вслед за первым карлсруйским, стал печататься и у нас.

Можно привести другие примечания второго карлсруйского, а так же лейпцигского издания Каспровича, свидетельствующие о том, что первое карлсруйское печаталось по контаминированному списку, что список Философова содержит в себе стихи разновременных редакций, иногда более ранние, чем редакция лопухинского списка 8 сентября 1838 года. Об этом говорит примечание, сделанное во втором карлсруй-

⁷ Там же, стр. 470.

⁸ Это примечание, очень важное для исследователя, отсутствует в шеститомном собр. соч. Лермонтова, М.—Л., 1954—1957, где ему надлежало быть на стр. 374, т. IV в разделе «Вариантов», среди «Разночтеннй карлсруйского издания 1857 г.», и где вместо него редактор А. Н. Михайлова дает пояснение, сделанное на основе собственной гипотезы.

⁹ «Демон». Восточная повесть, сочиненная М. Ю. Лермонтовым». Карлсруэ, 1857, стр. 23.

¹⁰ Стихотворения Лермонтова. Лейпциг, 1861, т. II, стр. 19

ском¹¹ к слову «схимницы» в строке «Лампада схимницы младой». В подстрочном примечании сказано: «Прежде: грешницы» (вариант «философского» списка). В лейпцигском издании Каспровича к строке «И своенравия мечты?», вслед за которой следуют в основном тексте строки лопухинской редакции, сделано примечание: «Вместо этой строфы была сначала написана следующая»¹² и затем приведен вариант карлсруйских изданий.

За последние годы в наших книжных хранилищах появились очень редкие, ранее неизвестные нам заграничные издания «Демона» XIX века. Большое количество изданий «Демона», выходящих за границей помимо карлсруйских, дает возможность переосмыслить роль карлсруйских изданий в истории печатания «Демона».

Заграничные издания «Демона» были мало известны в дореволюционном лермонтоведении. Их опыт не мог быть достаточно учтен и в середине двадцатых годов нашего времени, в тот момент, когда происходил выбор текста «Демона» для советских изданий. Эти издания выпали из поля зрения исследователей. Еще в середине тридцатых годов считалось, что было только тринадцать лейпцигских изданий Каспровича, из которых лишь 1, 3 и 4 были проверены *de visu*¹³. Теперь в Ленинской библиотеке есть три лейпцигских издания Каспровича: 5, 7 и 18. Издание 18 приобретено библиотекой только в 1952 году. В литературе о «Демоне» о нем здесь упоминается впервые. Таким образом, в настоящее время нам стало известно, что лейпцигское издание Лермонтова «Демон и запрещенные стихотворения» повторялось, начиная с 1876 г., без изменения не менее восемнадцати раз.

Представляет большой интерес, что в лейпцигских изданиях Каспровича и Гергарда имеются того же типа примечания, восстанавливающие ранний слой рукописи, с которой производился набор, как и в обоих карлсруйских. Здесь мы встречаемся с той же знакомой нам по карлсруйским изданиям формулировкой «прежде было». Этот факт свидетельствует о том, что среди любителей-переписчиков существовал обычай при переписке с попадавшего им в руки чернового автографа восстанавливать ранний слой рукописи и что при последующей переписке, уже другими любителями, все эти поправки тщательно воспроизводились. Списки, с которых печатались карлсруйские издания, именно в этом отношении ничем не отличались от тех, с которых печатались лейпцигские, хотя поэмы в лейпцигском издании Каспровича (у издателя было не менее трех списков, что видно из примечаний) значительно отличается от поэмы в обоих карлсруйских, она ближе к лопухинской редакции и имеет ту же развязку. Текст поэмы в лейпцигском издании Каспровича почти совпадает с текстом берлинского издания Шнейдера.

Берлинские издания Ф. Шнейдера выходили одновременно с карлсруйскими в 1856 и 1857 годах. Какое появилось в 1856 году раньше — берлинское или карлсруйское, — неизвестно. Есть только косвенное указание, что раньше берлинское. Получив экземпляр первого карлсруйского, директор Публичной библиотеки барон М. А. Корф благодарит в письме от 31 декабря 1856 г. А. И. Философова и говорит, что берлинское у него уже есть¹⁴.

¹¹ Там же, стр. 26.

¹² «Демон» и запрещенные стихотворения М. Ю. Лермонтова», Лейпциг, стр. 97. прим. 39.

¹³ К. Д. Александров и Н. А. Кузьмина, Библиография текстов Лермонтова, М., 1936, стр. 134.

¹⁴ «Лит. наследство», № 45-46, М., 1948, стр. 20.

До последнего времени не было известно третье берлинское издание 1858 года. Оно приобретено Ленинской библиотечкой только в 1950 г., и здесь мы его впервые вводим в науку о Лермонтове. На обороте переплета экземпляра отдела редких книг Ленинской библиотеки имеется надпись бывшего владельца: «Это издание даже неизвестно библиографам». И действительно, третье берлинское издание 1858 г. упоминалось в нашей печати только один раз в библиографическом справочнике «Русская подпольная литература» вып. I, составленном М. М. Клевенским, Е. Н. Кушевой и О. П. Марковой, М., 1935, стр. 72, № 312, со ссылкой на каталог Штура¹⁵. Оно не зарегистрировано ни в одном из иностранных каталогов, где имеются справки о первом и втором берлинских изданиях. (Характерно, что ни в одном из этих каталогов нет упоминания о карлсруйских изданиях «Демона», хотя приведены многие издания, выходявшие позднее в России.)

Знакомство с лейпцигскими изданиями снимает приоритет карлсруйских изданий «Демона», как изданий, печатавшихся с рукописей, восходивших непосредственно к автографу. Изучение берлинских изданий дает возможность наблюдать, как меняется издание при получении новых списков.

Берлинский издатель поместил на втором и третьем изданиях такую надпись: «Первое издание «Демона» не обошлось без ошибок и пропусков всякого рода. Причину этого нужно искать отчасти в несовершенстве рукописи, которую мы тогда имели под руками, а также в неопытности наборщика. С тех пор мы успели приобрести еще одну рукопись «Демона», и кроме того нам присланы неизвестными особами три экземпляра первого издания с поправками и замечками. Это побудило нас сделать новое [в изд. 1857 — второе] издание «Демона», исправленное и дополненное, тем более что первое уже не существует в продаже. Читатели найдут в конце страниц разности второй рукописи с нашим первым изданием и целые главы [в изд. 1857 — две главы], помещенные в конце этого нового издания. Ф. Шнейдер»¹⁶.

И действительно, все явные ошибки в тексте, — ошибки переписчика, опечатки, — исправляются Шнейдером с каждым новым выходом в свет «Демона». В третьем издании таких ошибок остается очень немного. Во втором издании появляются подстрочные примечания с разносчитениями и в конце книги варианты. Число разносчитений и вариантов увеличивается в третьем издании. Точно так же увеличивается число разносчитений и во втором карлсруйском издании после получения издателем нового списка.

Но между поведением берлинского и карлсруйского издателя существует большая разница. Исправляя явные ошибки и приводя разносчитения и варианты, берлинский издатель не меняет текста поэмы, по-видимому, более доверяя своему списку, чем издатель в Карлсруэ, который исправляет текст первого издания по вновь полученной рукописи и, таким образом, значительно меняет текст поэмы при втором издании. Точно так же позднее поступил Ефремов, исправивший текст своего первого издания по списку Квиста, показавшемуся издателю более заслуживающим доверия.

При наблюдении над печатанием «Демона» за границей становится ясным, что существовала определенная традиция печатания «Демона»

¹⁵ Список русских книг, печатанных вне России, Штур, русский книжный магазин, Берлин, 1875, стр. 17.

¹⁶ «Демон» поэма М. Ю. Лермонтова», Изд. 3-е (исправленное и дополненное), Берлин, 1858. «От издателя»

с неавторитетных списков. Тут и надписи на изданиях, в которых издатель объясняется с читателем, дает ему сведения об источнике текста. Так поступали издатели одновременно выходявшей поэмы в Берлине и Карлсруэ. Тут и многочисленные разночтения, приводимые в изданиях. Не желая брать на себя ответственность за текст, в котором он не вполне уверен, издатель не только воспроизводит все разночтения, отмеченные в его рукописи-оригинале, с которой он печатает поэму, но и приводит разночтения других известных ему списков. (Так же поступали издатели «Демона» в России.) И, наконец, в некоторых случаях, когда издатель особенно не доверяет своей рукописи, он, получив новый список, который кажется ему более достоверным, при переиздании меняет текст. Таковы общие черты традиции печатания «Демона» при отсутствии авторитетной рукописи. Печатание «Демона» в Карлсруэ всецело входит в ту же традицию. Поведение издателя «Демона» в Карлсруэ в 1856 и 1857 гг. принципиально ничем не отличается от поведения других издателей, печатавших в то время «Демона» на русском языке за границей.

Принято считать, что в первом карлсруйском издании мало ошибок. А между тем только там, и нигде больше, было напечатано «зовут к молитвам мужчины» — вместо муэдзины. Можно привести и другие примеры. Подобные ошибки в советских изданиях исправлены. Но есть и такие, которые из первого карлсруйского перешли в советские и прочно укоренились там. Только в одном первом карлсруйском, по-видимому, при переписке с грязной рукописи, на каком-то этапе выпали четыре строки из монолога Демона, который читается так:

Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы,
Я враг небес, я зло природы.
И, видишь, — я у ног твоих!

А между тем, во всех русских дореволюционных изданиях и во всех заграничных, не исключая второго карлсруйского, это место (при небольших разночтениях) читается так:

Я тот, чей взор надежду губит.
Едва надежда расцветет,
Я тот, кого никто не любит
И все живущее клянет;
Ничто пространство мне и годы.
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы.
Я враг небес, я зло природы, —
И, видишь, я у ног твоих¹⁷.

Испорчены и отдельные строки. Всюду читается так:

Отрекся я от старой мести.
Отрекся я от гордых дум...

В первом карлсруйском слова в этих строках переставлены:

Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум...¹⁸

Это нарушает ритм, дает возможность при чтении исказить ударение. Чтобы восстановить ритм, читают иногда так: «Я отрекся от старой мести, Я отрекся от гордых дум»...¹⁹.

¹⁷ М. Ю. Лермонтов, Собр. соч., т. II, стр. 98 и 475. В редакции 8 сентября 1838 г. строка «Я царь познания и свободы» отсутствует.

¹⁸ Там же, стр. 103.

¹⁹ См. С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1961, стр. 408

В «философовском» списке имеются случаи неправильного согласования.

Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя, —

читаем в XVI строфе, части II во всех советских изданиях, где так печатается вслед за первым карлсруйским. Ни в одном из заграничных изданий, кроме первого карлсруйского, ни в русских дореволюционных изданиях мы этого не встретим.

Наблюдение над заграничными изданиями «Демона» приводит нас к следующим выводам: «философовский» список, с которого печатались карлсруйские издания, список контаминированный, содержащий в себе разновременные редакции, иногда более ранние, чем редакция лопухинского списка 8 сентября 1838 г.; печатание «Демона» в Карлсруэ входит в общую традицию печатания «Демона» с неавторитетных списков.

Теперь обратимся к рукописи, с которой печаталось первое карлсруйское издание. Рукопись была найдена А. Н. Михайловой в архиве Философова. Находка эта, как совершенно правильно отметил Д. А. Гиреев, имела очень большое значение: найденная рукопись засвидетельствовала, что карлсруйские издания печатались не с автографа и не с авторизованной копии, так как рукопись Философова оказалась ни тем, ни другим²⁰.

На списке Философова имеются две даты. Одна из них — дата списка 13 сентября 1841 г., свидетельствующая о том, что это список помертный, сделанный через два месяца после гибели Лермонтова. Перенесенная на карлсруйские издания эта дата была известна до находки рукописи и ничего нового не прибавила. Но вторая дата, на издания не перенесенная, имеет громадное значение для уточнения творческого пути Лермонтова.

На титульном листе списка Философова читаем: «Демон. Восточная повесть, сочиненная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 4 декабря 1838 года...».

Дата на списке Философова — 4 декабря 1838 г. — дает возможность установить время прекращения работы Лермонтова над «Демоном». Совершенно очевидно, что все новые строфы, которые отсутствуют в авторизованной копии 8 сентября 1838 г. и имеют место в списке Философова, были созданы Лермонтовым до 4 декабря 1838 г. В других списках (за исключением списка Висковатова) никаких иных строф не встречается. Вывод: после декабря 1838 года Лермонтов над «Демоном» не работал. Этот вывод находится в соответствии с фактами творческой биографии поэта. Начиная с января 1839 г., он становится постоянным сотрудником «Отечественных записок», где почти из номера в номер печатаются его лирические стихотворения, где публикуются повести «Бэла», «Фаталист», «Тамань». Лермонтов работает в это время над «Героем нашего времени», законченным к зиме 1840 г., пишет поэму «Мцыри», оконченную в августе 1839 г. и «Сказку для детей» (1839–1840), в которой говорит о своем увлечении романтическим Демоном, как о пройденном этапе.

Где же источник заблуждений, связанных с печатанием Демона возвеличения карлсруйских изданий и списка Философова, а также не правильного определения времени прекращения работы Лермонтова

²⁰ Д. А. Гиреев, Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». Творческая история и текстологический анализ, Северо-Осетинское книжное изд., 1958

над «Демоном», датировки поэмы 1841 годом, — т. е. по сути дела искажения творческого пути поэта?

Ответ на этот вопрос находим в комментариях к «Демону» в наших научных изданиях Лермонтова, где вся аргументация в пользу данного выбора текста поэмы основывается на статьях П. К. Мартыанова в его книгах «Дела и люди века» (т. II, СПб, 1893 и т. III, СПб, 1896)²¹.

В своих статьях Мартыанов передает рассказы родственника Лермонтова Д. А. Столыпина о рукописях «Демона» и о карлсруйских изданиях, — рассказы больного, с ослабевшей памятью семидесятипятилетнего человека, за год до смерти описывавшего то, что было полстолетия назад, со всеми мельчайшими подробностями, как будто все это было вчера. Рассказы Столыпина о наиболее достоверном источнике текста «Демона» доверия заслуживать не могут, в этом вопросе он неоднократно сам себе противоречил. А кроме того, рассказы эти передает человек, каждое слово которого должно быть подвергнуто строгой проверке.

Цель, с которой расспрашивал Столыпина Мартыанов и писал свои статьи, раскрыта в указанной выше книге Д. А. Гиреева. Я остановлюсь на личности Мартыанова. Журналист Эзоп-Кактус (один из псевдонимов Мартыанова) — сотрудник казенно-патриотических журналов, мракобес и графоман. Приведем образец его графоманских опытов, посвященный Аракчееву:

Девизом взявши «Преданность без лести»,
Не чужд был доблести и чести,
Служил отчеству, по мере сил и знаний,
Он как солдат, достигший высших званий.²²

Отставной полковник Мартыанов, подносивший свои книги Александру III и получавший «монаршую благодарность»²³, начал также свою военную службу солдатом и в эпоху реформ 60-х годов очень на этом играл, называя себя «поэт-солдат».

Аракчеев — его любимый герой. В своих статьях Мартыанов неоднократно восхваляет его «добродетели», наряду с добродетелями своего другого героя, Николая I, о мужестве которого при «усмирении бунта 1825 года», рыцарстве, доброте, заботах о солдатах, рассказывает он в тех же книгах, что и о Лермонтове. Лермонтов привлек его внимание в тот период, когда поэт был допущен в ряды классиков и было разрешено поставить ему памятник. Мартыанов начал собирать материалы к биографии поэта и принял деятельное участие в его фальсификации в духе официального патриотизма. Бунтарство Лермонтова Мартыанов объясняет так: «невзрачный и некрасивый» «захудалый дворянин» «с довольно тощим кошельком», чтобы обратить на себя внимание делал то, «что возбуждает шум и производит столпотворение». («Дела и люди века» т. II, стр. 51—52). Он сообщал о симпатии к Лермонтову Николая I (II, 30). Стремлением снять с царя и придворной аристократии вину в травле и гибели поэта объясняются нападки Мартыанова на Васильчикова, которого он совершенно справедливо изображает как соучастника дуэли. Но его выступления против Васильчикова были

²¹ Наиболее полная аргументация приведена в Полн. собр. соч. М. Ю. Лермонтова в 5-ти тт., Редакция текста и комментарий Б. М. Эйхенбаума, изд. «Academia», т. III, М. Л., 1935, стр. 629—635.

²² П. К. Мартыанов, Цвет нашей интеллигенции, Словарь-альбом русских деятелей XIX века, СПб, 1893, стр. 15.

²³ См. «Дела и люди века», т. III, от автора

вызваны прежде всего желанием обелить Николая I, о нелюбви которого к Лермонтову писал Васильчиков (II, 30).

О том, что представляют собой статьи Мартыянова о рукописях Демона и карлсруйских изданиях можно судить уже потому, что в самом начале первой из них на двух страницах пять грубейших искажений фактов, хорошо известных нам по другим источникам²⁴. А между первой статьей (1892) и второй (1896) большая разница в передаче рассказов Столыпина. Дело объясняется просто. За это время были опубликованы материалы о новых поступлениях Публичной библиотеки, среди которых оказалось письмо карлсруйского священника И. И. Базарова Висковатову, где сообщались сведения, неизвестные Столыпину и противоречащие тому, о чем он рассказывал Мартыянову. Поэтому в 1896 г. Мартыянов по-новому препарирует рассказ Столыпина, который уже умер, и можно теперь писать о нем все, что угодно.

Характерно, что вслед за статьей о Демоне «Новые сведения о М. Ю. Лермонтове» в т. II «Дела и люди века» следует непосредственно статья об Омэр де Гелль, где Мартыянов грубо оскорбляет (как и во многих других случаях) культурного, высокообразованного, преданного делу создания биографии Лермонтова Павла Александровича Висковатова за то, что тот мало уделил внимания такому замечательному событию в жизни поэта, как его роман с Омэр де Гелль, и посмел подвергнуть критике литературную мистификацию Павла Петровича Вяземского²⁵. Мистификацией являются по сути дела и статьи Мартыянова о рукописях «Демона». Трудно представить себе, как мог Эзон-Кактус стать авторитетным источником для советских ученых.

На основе статей Мартыянова вошли в научный оборот следующие утверждения, искажающие не только историю печатания «Демона», но и творческий путь поэта:

1) Первое карлсруйское издание, первопечатный текст «Демона» — законченный, совершенный текст поэмы.

2) Лермонтов собирался печатать «Демона».

3) Все издания в России печатались по карлсруйским.

4) Лермонтов закончил работу над «Демоном» в 1841 г.

Других источников, кроме Мартыянова все эти утверждения не имеют.

На основании исследования документального материала, приходится признать, что единственным наиболее законченным и вполне лермонтовским текстом поэмы «Демон» является редакция 8 сентября 1838 г., заключенная в авторизованной копии Лопухиной. Никакой другой «редакции», в полном смысле этого слова, не существует.

От дальнейшей работы Лермонтова над «Демоном» сохранились лишь отдельные отрывки. Лермонтовское происхождение некоторых из них доказывается как высотой мастерства, так и почерком Лермонтова — больше так написать не мог никто, а также и постоянным повторением их в многочисленных списках разного времени и разного происхождения. В каком состоянии остался архив «Демона», живо рисует из слов Бодешедта, которому Лермонтов подарил черновики поэмы: «Отсутствовала внутренняя связь», разные варианты, целые страницы написаны «неясно», «с помарками»²⁶. Эти разные варианты попадали в руки любителей, которые восстанавливали процесс работы.

²⁴ «Дела и люди века», т. II, стр. 124—125.

²⁵ Новое об Омэр де Гелль, Сообщения Л. Кавлана и П. Попова, Лит. наследство, М., 1948, № 45/46.

²⁶ M. Lermontoff's Poetischer Nachlass, Berlin, 1852, т. II, стр. 351.

Мы видели, что формулировки «зачеркнуто», «раньше было» имеются во многих изданиях, печатавшихся с разных списков. Самая компоновка лопухинской редакции с этими новыми набросками, бесспорно лермонтовскими (да и другими сомнительными), делалась, по-видимому, любителями-переписчиками. Трудно допустить, чтобы из-под руки такого мастера композиции и архитектоники, как Лермонтов, могла выйти поэма вроде тех, что печатались в карлсруйских изданиях, а затем и в многочисленных русских. Критика Висковатова здесь совершенно справедлива.

В России, при строгости цензуры, возможно было печатать поэму только с новой развязкой, с «благополучным» концом, с прощением героини и с привнесением под занавес идеи о благодати и мудрости providенья. Так она и печаталась обычно. За границей, вне цензуры, она печаталась не менее 21 раза (три берлинских издания 1856—1858 гг. и не менее 18 лейпцигских Каспровича) с прежней развязкой лопухинской редакции, но с новым эпилогом и с клятвой Демона, что также увеличивало ее противоречивость по сравнению с лопухинским списком, но не в той же мере, так как логика образов при этом не нарушалась изменением развязки сюжета, хотя идея произведения все же несколько затемнялась. В лопухинском списке она выражена наиболее отчетливо, и только здесь, и нигде больше, поэма представляет собой идейно-художественное единство.

Если даже допустить возможность, что различные комбинации лопухинской редакции с новыми строфами делались самим поэтом, то эти комбинации можно рассматривать только как искания, как начальные, незавершенные опыты, своего рода эксперименты, начало какого-то нового пути. В этом случае два основных варианта списков, нашедшие отражение в двух основных типах изданий «Демона» (карлсруйские и позднейшие подцензурные издания в России, с одной стороны, и издания неподцензурные заграничные, берлинские Шнейдера и лейпцигские Каспровича — с другой), можно рассматривать только как первоначальные редакции. При всех условиях единственной, наиболее зрелой и законченной, притом вполне достоверной редакцией поэмы является редакция 8 сентября 1838 г., авторизованная копия, подаренная Лермонтовым В. А. Лопухиной. Это единственно бесспорный документ творческой работы поэта. Дальше начинается область домыслов.

Вопрос о тексте «Демона» необходимо пересмотреть к 150-летию со дня рождения Лермонтова.

От правильного решения этой проблемы зависят два важнейших вопроса изучения Лермонтова, без разрешения которых нельзя создать научную биографию поэта: вопрос об идейной концепции поэмы «Демон» и о периодизации творчества Лермонтова в целом.

Москва

БЭЛА И ПЕСНЯ КАЗБИЧА

Б. С. Виноградов

На Военно-Грузинской дороге «странствующий офицер», а вернее сказать — сосланный на Кавказ молодой русский писатель, повстречался со штабс-капитаном Максимом Максимычем. Так начинается роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Максим Максимыч рассказал новому знакомому историю горянки Бэлы. Для штабс-капитана эти воспоминания навсегда остались наиболее яркой и трепетной, радостной и грустной, волнующей душу страницей собственной жизни. Лермонтов, «заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем...»¹. «Бедный старик» единственный раз стал поэтом. Поэтические источники лирического звучания рассказа — «настрой» души Максима Максимыча и отношение к людям и событиям «странствующего офицера», записавшего воспоминания старого кавказца.

О «скелете содержания» рассказа Максима Максимыча В. Г. Белинский сказал: «...тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно, до пошлости, истерто»². «Скелет содержания» напоминал эпигонские романтические писания о Кавказе с убийствами, резней, похищением женщин³. Взяв такой «традиционный» каркас, Лермонтов вылепил произведение искусства, рассматривать которое надо так, — разъясняет Белинский, — чтобы «видны были и характеры действующих лиц и сохранена была внутренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит...»⁴.

Рассказывает Максим Максимыч — простой и не очень простой человек. «Это тип чисто русский», — определил Белинский. А Лермонтов о кавказце, близком к Максиму Максимычу, сказал: «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское»⁵. Действие рассказа происходит на Кавказе, на Кумыкской плоскости, среди малоизвестного в то время русскому читателю дагестанского народа — кумыков⁶. Верность дейст

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., АН СССР, М., 1954, т. IV, стр. 207.

² Там же, стр. 218.

³ В подобных сюжетах Белинский тоже находил отражение действительно им, однако видел их односторонность, а значит искажение правды жизни (См.: В. Г. Белинский, Повести и рассказы П. Каменского, Полн. собр. соч., т. II, стр. 482).

⁴ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 218.

⁵ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. VI, АН СССР, М.-Л., 1957, стр. 348.

⁶ По свидетельству Максима Максимыча, крепость, в которой он служил, находилась около Каменного Брода П. Андришков разъяснил, что имеется в виду укрепле

вительности требовала обращения к местному колориту. И он проявляется в описании быта и природы, в речи персонажей (особенно Казбича), в «скелете содержания». Мы остановимся только на одном традиционном восточном мотиве, создающем колорит места, и покажем его связь с образом Бэлы и внутренней правдой повествования.

Рассматривая рассказы Куприна «Изумруд» и «Суламифь», В. Воровский отметил, что первое произведение «прямо восторженный гимн красивой, изящной, молодой лошади», а второе — «такой же гимн женской красоте и молодости». И пояснил: «Лошадь и женщина — это сопоставление, несколько восточного характера»⁷.

При этом можно было бы вспомнить Древнюю Грецию, поэта Анакреонта. Однако и на Ближнем Востоке издавна бытовало такое сопоставление. Существовало оно и среди кавказских народов. Конь в жизни кавказского джигита играл огромную роль. Без коня не было джигита. Горцы — прекрасные наездники, превосходные знатоки и страстные любители лошадей. Они до тонкости разбирались в качестве скакуна, искренне восхищались и гордились его красотой. Конь — лучший друг в смертельной схватке с врагом, боевой товарищ и даже помощник в личных делах: нужен быстрый конь, чтобы похитить невесту»⁸. Горский фольклор знает легендарных коней альпов (атльпов), коней, оплакивающих своих хозяев, владеющих человеческой речью. Не было ничего обидного для красавицы — горянки, если в песнях или сказаниях красоту лошади сравнивали с красотой девушки или наоборот.

Так, совсем в духе Востока высказывается Максим Максимыч, вспоминая Карагёза: «Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы...»⁹. Ведь и кличка коня — «Карагёз» значит «черный глаз».

Воспоминания Максима Максимыча поэтично строятся на сопоставлении Бэлы и Карагёза. Казбич влюблен в Бэлу. Азамат не может жить без красавца Карагёза. Он предлагает Казбичу за коня свою сестру Бэлу. Казбич предпочитает иметь Карагёза. Песня, пропетая им, красноречиво говорит об этом. Печорин воспользовался моментом и помог Азамату похитить Карагёза, за что получил от него украденную братом Бэлу. Потеряв любимого коня, Казбич похищает Бэлу, а потом убивает ее.

Только ли для восточного орнамента понадобилась Лермонтову широко распространенная на Востоке параллель?

Казбич, отказываясь от обмена Карагёза на Бэлу, поет:

Много красавиц в ауле у нас.
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля,
Но веселей молодецкая воля.

Что ж, с этим можно соглашаться или нет. Как говорят, насильно мил не будешь. Следующие строки вносят новый смысл:

ине Таш-Кичу на реке Аксае (Ираклий Андроников, Лермонтов в Грузии в 1837 году, «Заря Востока», Тбилиси, 1958, стр. 170). Семья Бэлы жила в ауле, расположенном «в верстах шести» от укрепления. На таком расстоянии аула не было, а в семи с половиной верстах стоял аул Баташ-Юрт, князь которого — окумычившийся выходец из Кабарды. Исследование показало, что быт семьи Бэлы — кумыкский.

⁷ В. В. В о р о в с к и й, Литературно-критические статьи, ГИХЛ, М., 1956, стр. 275.

⁸ Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Тифлис, вып. XIV, отд. I, 1892, стр. 174.

⁹ М. Ю. Л е р м о н т о в, Соч. в шести тт., т. VI, стр. 211

Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет¹⁰.

Песня вспомнила установления шариата: имам может иметь девять законных жен, а каждый мусульманин — четыре жены. Однако для нас важно то, что в песне не сопоставляется, а противопоставляется лошадь и женщина. Конь не изменит, не обманет, от вихря в степи не отстанет. А красавица? Вывод делается легко и отнюдь не в пользу женщины.

До сих пор оставалось не выясненным место и значение песни Казбича в повести. О песне вспоминали, когда отмечали поэтические способности «странствующего офицера»¹¹, указывали на ее близость к черкесской песне в «Измаил-Бее»¹²; обращали внимание на ее фольклорный характер и доказывали подлинную народность ее¹³. При этом забывали, что сознание трудовых горских масс в прошлом было противоречиво и не всегда правильно отражало истинные интересы народа. Взгляд на женщину искажали социально чуждая идеология и религиозный кодекс. Патриархально-феодалная мораль унижала женщину, доводила ее до положения бессловесной рабы, ставила ниже животного. Пословицы говорили: «Не жалеи ни жену, ни лошадь»; «Жена должна работать больше ишака, потому что она кушает чистый хлеб, а ишак солому»¹⁴. Бесстыдно искажая истину, мусульманин говорил: «От участия кобылы в скачках имя не прославится, от работы женщины дом не богатеет». А почти все хозяйство горца держалось на женщине.

Современный исследователь дагестанского фольклора А. Назаревич так характеризует отношение трудового народа Дагестана к женщине, отразившееся в устном творчестве: «В народной дагестанской сказке женщина рисуется мудрой советчицей героя. В эпосе она выступает защитницей родной земли. Народная лирическая песня Дагестана полна чувства нежности, горячей любви. Пословицы трудового народа осуждают мораль феодалов и в ответ на унижающие женщину дозволения шариата говорят: «Волку дозволено и на двух жениться» (авар.). Трудовая пословица утверждает: «Красива не красивая, а любимая» (кумык.)¹⁵. Добавим: «Смерть жены — обрушение крыши» (чеч.)¹⁶.

Характеристику дагестанского фольклора можно с успехом распространить на устное творчество других кавказских народов. А разве не озарена женщина ярким светом любви и уважения в нартских сказаниях? А в азербайджанской сказке «Ашик Кериб», творчески переработанной Лермонтовым?

Великие поэты, средневекового Ближнего и Среднего Востока Фирдоуси, Омар Хайям, Низами и др. подымали голоса против установлений шариата. А вот коротенькая песня даргинского певца Батырая, а

¹⁰ Там же, стр. 214.

¹¹ См., напр.: Виктор Шкловский, Заметки о прозе русских классиков, изд. второе, испр. и доп. Сов. пис., М., 1955, стр. 172.

¹² См., напр.: С. А. Андреев-Кривич, Лермонтов. Вопросы творчества и биографии, АН СССР, М., 1954, стр. 76; М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени (Сер. «Литературные памятники»), АН СССР, М., 1962, стр. 223.

¹³ См.: С. А. Андреев-Кривич, Указ. соч., стр. 76.

¹⁴ Эфенди Каписев, Записные книжки, Сов. пис., М., 1956, стр. 53.

¹⁵ А. Назаревич, Отображенное по крупицам из дагестанской коллекции пословиц и поговорок, Дагестанск. кн. изд-во, Махачкала, 1958, стр. 35.

¹⁶ А. Мациев, Пословицы чеченского народа, Известия Чечено-Ингушского ИИИИ истории, языка и литературы, т. II, 1959, стр. 59.

может быть и не его, так как «с именем Батырая связано у даргинцев все самое яркое и красочное в их поэзии. Пусть песня создана другим безымянным автором, все равно «это Батырай», говорят даргинцы, если она им по душе»¹⁷.

Даргинцы поют:

В предрассветный дождь весной
На порог не выходи:
Могут псы тебя принять
За красавицу лису.
В бурю полночи глухой
На крыльцо не выходи:
Может вор тебя принять
За красавца скакуна¹⁸.

Чтобы понять смысл песни, надо знать, что Батырай в другой лирической миниатюре сравнил легкомысленную, неверную возлюбленную с «краснобедрой лисой», легко доступной всякому, «кто охотником слышет». Значит, смысл первой строфы такой: если ты появишься рано утром одна вне дома, тебя сочтут распутницей, и ты подвергнешься суровому общественному наказанию¹⁹. Иносказательно звучит и вторая строфа: выходя ночью да еще в бурю, остерегайся. Тебя могут украсть в паложницы, как воруют красивых лошадей. А известно, что на Кавказе в прошлом воровство коней считалось молодечеством.

Итак, перед нами не столько признание красоты девушки, сколько грустное размышление, тревога за любимую, окруженную опасностями. Песня полна печальных раздумий над положением женщины в обществе, где властвуют адаты.

В другой песне Батырая находим следующие строки:

Я б хотел иметь коня,
С сердцем схожего твоим,
Чтоб в султанском чепраке
Конь у стойла ждал меня²⁰.

О женской верности поется здесь.

Народная кумыкская песня обращается к девушке со словами: «Не как старая гончая собака, лишившаяся славы, а как прославленная молодая лошадь ты будешь неоценима, когда тебе настанет пятнадцать лет» (подстрочный перевод)²¹.

Каков же взгляд на женщину Казбича? «Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса»²². Казбич обстоятельно обдумал ответ, взвесил все за и против и решил, что лучше всего выразит его мысли песня, в которой женщина унижена, оскорблена подозрением в измене и обмане. В этом не было ничего удивительного. Так учили адаты, так требовал ислам. Для Казбича они — непреклонный закон.

Лермонтов назвал песню Казбича старинной. Подобные понятия относительны. Собирателем кабардинского фольклора Евгений Баранов

¹⁷ Эффенди Капиев. Резьба по камню, Молодая гвардия, М., 1958, стр. 93.

¹⁸ Там же, стр. 19.

¹⁹ В чеченской девичьей песне, записанной Л. Н. Толстым во время пребывания его на Кавказе, имеются слова: «Я, убежав, ушла бы в открытое поле, люди — распутницы след искать люди пошли» — если бы потом не говорили» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 46, стр. 369).

²⁰ Эффенди Капиев, Резьба по камню, стр. 21.

²¹ Сборник материалов по описанию местностей и племен Кавказа, Тифлис, вып. XVII, 1893, отд. III, стр. 5.

²² М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести т. т., т. VI, стр. 214.

опубликовал легенду «Женская верность», в которой приводится такой разговор: «Да, предки наши заслуживают похвалы. Но чем мы можем похвалиться? Кто из нас скажет, что он верит своему коню и своей жене? Кто поклянется, что ни конь, ни жена никогда не изменят ему? — Переглянулись джигиты между собой: странный вопрос предложил им князь. Разве он ребенок, что не знает того, что коню, как товарищу, еще можно верить, но разве же можно верить жене?..»²³.

Значит в старину верили женам и коням, а потом перестали верить женам, да и вера в «дружбу» и постоянство коня тоже поколебалась. Расшатываются старинные устои, портятся нравы... Однако перед нами только зачин легенды, а дальнейшее изложение ее утверждает нравственную чистоту, верность и преданность жены и крепость товарищества. Подлый торговец намеревался оклеветать красавицу Хадыжу и принесть ложные доказательства ее супружеской неверности. Муж ее Али-Мирза держал пари: если измена жены будет доказана, друзья должны убить его. Но джигиты не торопились убивать Али-Мирзу. Вскоре все разъяснилось, и торговец был наказан. Легенда прославила верность женщины в любви. Именно в этом отношении она близка лермонтовской повести «Бэла».

Обратимся теперь к выяснению места и значения песни Казбича в рассказе Максима Максимыча. Унижавшие женщину подозрения, прозвучавшие в песне, адресованы непосредственно Бэле. Ее имел в виду Казбич, пропев свою песню Азамату. Между тем, весь ход повествования, образ самой Бэлы решительно восстают против мнения, выраженного в песне. Золото не могло и не смогло бы купить Бэлу. Ее можно украсть, убить, но нельзя заставить насильно полюбить.

Белинский сказал о ней: «Да, это была одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся нескоро, а отдавшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни самим себе...»²⁴.

Впервые Бэла встретилась с Печориным на свадьбе старшей сестры. Адаты строжайше запрещают девушке вести разговоры с чужим мужчиной, а тем более русским офицером. Иное дело свадебная обрядность, освященная традицией.

Максим Максимыч рассказывает о танце: «Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором»²⁵. «Что попало» надо понимать как импровизацию.

В кратком описании нетрудно узнать песню-игру, называемую сарын, очень популярную на кумыкской свадьбе.

Вот как выглядит сарын в описании этнографа П. Головинского: «Сарын — самая веселая из кумыкских игр. Сущность ее заключается в следующем: составляются две группы — мужчины и женщины. Из первой кто-нибудь говорит нараспев, и мужчины все хором повторяют последние слова куплета; из женской группы также выступает женщина или девушка и начинает декламировать ответ мужчине, а прочие женщины, ударяя в медный таз, подтягивают ей. Завязывается спор:

²³ Евг. Баранов, Женская верность, Кабардинская легенда, Кавказская библиотека, Владикавказ, 1900, стр. 6.

²⁴ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 214.

²⁵ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести томах, VI, стр. 210.

кто-кого перетанцует и переговорит, на вопросы следуют ответы, на комплименты отвечают комплиментами...»²⁶.

Нечто «вроде комплимента» пропела Бэла Печорину, как бы продолжая веселую игру и втягивая в нее русского офицера. На кумыкских свадьбах исполнялись четверостишия часто эротического содержания. «Обыкновенно они состоят из двух частей, в которых выражается сравнение двух явлений»²⁷. «Комплимент» Бэлы тоже построен на сравнении и, хотя не имеет явно любовного содержания, в какой-то мере намекает на чувства девушки, говорит о ее внимании к русскому. Бэла, не выходя из традиционных границ свадебной обрядности, ловко нарушает их. Печорин включился в игру: поднялся и ответил девушке. Состоялось первое знакомство. Потому-то на Бэлу из темного угла комнаты смотрели глаза ревновавшего Казбича, «неподвижные, огненные».

Девушка пропела Печорину: «Стройны... наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними: только не расти, не цвести ему в нашем саду»²⁸.

Многое сказала умница Бэла в коротком экспромте: сумела обратить на себя внимание, намекнула на свои чувства и как бы предугадала трагический исход любви. Песенка говорила: не должна ты любить «чужого» мужчину, нет ему места в нашей жизни, не будет и тебе.

До сих пор учебники по русской литературе для школ и вузов, методические пособия для учителей-словесников, статьи в педагогических изданиях, рассматривают образ Бэлы в свете суждений Белинского, высказанных им в статье о «Герое нашего времени» (1840)²⁹.

В пору написания статьи о романе Лермонтова Белинский, еще не отрешившийся окончательно от идеалистических воззрений, считал, что природа женщины, одинаково поражающая нас в «дикой черкешенке» и в «образованной женщине высшего тона», проявляется во всеохватывающем ее пламенном чувстве любви, и в этом — личное и общественное призвание женщины.

Прошли годы, и гениальный критик, утвердившийся на позициях материализма и революционного демократизма, резко изменил свое мнение. В рецензии на книгу Е. А. Ган (Зенеиды Р-вой) он выступил против «жалкого и ничтожного» воспитания женщин, против «корана общественного мнения», которое ввергает их в «нравственное рабство». Женщине ничего не остается делать как только в любви искать все блага жизни, и почти всегда горько и страшно разочаровываться. «Изменила мужчине надежда на что-нибудь, — сколько у него выходов из горя, сколько дорог на поприще жизни, которые могут вести его к той или другой цели! Изменила женщине любовь, — ей ничего уже не остается в жизни, и она должна пасть, погибнуть под бременем постигнутого ее бедствия, или умереть душою для остального времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь»³⁰.

В приведенных словах как бы просвечивается и судьба Бэлы. Только положение ее еще тяжелее. Ей надо бороться за любовь, запре-

²⁶ П. А. Головинский, Кумыки. Их игры, песни и обычаи, Сборник сведений о Терской области, Владикавказ, вып. 1, 1878, стр. 292.

²⁷ Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Тифлис, вып. XVII, 1893, отд. III, стр. 32.

²⁸ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., с. VI, стр. 211.

²⁹ Сошлемся на одну из последних статей: Б. В. Нейман, Женские образы в романе Лермонтова «Герой нашего времени», Лит. в шк., № 1, 1961, стр. 65—66.

³⁰ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 667.

ценную религией и общественным мнением, основанным на коране и аятах.

Любовь Бэлы поставила горское общество, воспитавшее ее, во враждебное отношение к ней. В любви Бэла нашла свое единственное счастье. Погибла Бэла, потому что умела быть верной в любви.

И все-таки пафос ее образа не только в сердечном чувстве...

Раскроем прозаическое произведение «Кыз-Брун» И. Радожицкого — этнографа, ботаника и писателя:

«...Зюльми не понимала, что с нею делают, для чего губят? Не понимала, как попался Канамат. Веря однако предопределению судьбы, она почитала все предстоящее наказанием от неба за ее истинную страсть к Канамату, которой не могла истребить в себе, будучи женою ненавистного ей человека, и, проливая слезы раскаяния, ожидала своей участи с кротостию и терпением»³¹.

Заметим, что муж приговорил Зюльми к смерти, приревновав ее к Канамату, а женщина позволяла себя только мысленно любить его.

И. Радожицкий приводит свою героиню от «неистребимой страсти» к религиозной кротости и смирению. Раба мужа и аллаха покорились и осудила свою любовь. Так понимал автор характер горянки.

А. Бестужев-Марлинский в рассказе «Красное покрывало» обратился к распространенной в романтической литературе теме любви персонажей различных национальных и социальных миров. Горянка любила русского офицера и навсегда потеряла его: он был убит. Автор обращается к своей героине: «...гордое чувство любви возвысило тебя над толпой единоплеменников, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже в том, что они называют любовью». И дальше: «Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни, и на своих крыльях умчал в новую прекрасную жизнь умственную, но стрела смерти пронзила его в поднебесье — и тебе не дышать более воздухом этого поднебесья, — не прирости снова к земле!»³².

В духе романтизма здесь противопоставлены друг другу две замкнутые в себе культуры: горская и русская, «растительная» и «умственная». Между ними автор не обнаруживает внутренних связей. Возвысившийся с помощью внешней силы до умственной жизни остается беспомощным, теряет под собой почву и погибает, как только начинает полагаться на собственные силы («Красное покрывало»).

У Лермонтова другое понимание характера горской женщины. В романтической поэме «Измаил-Бей» поэт создал образ Зары — литературной предшественницы Бэлы.

Указанная поэма имеет широкую и сложную идейно-художественную концепцию. Мы ограничимся рассмотрением образа Зары. В поэме сталкиваются противоположные взгляды на женщину. Один из них представлен в черкесской песне с лейтмотивом, близким к песне Каз-бича:

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля, —
Но еще милее воля!

³¹ И. Радожицкий, Кыз Брун, 1827, стр. 470.

³² Марлинский, Красное покрывало, Сказы из походной жизни, Второе издание, собр. соч., 1847, СПб, т. I, стр. 117—118.

Не женись, молодец,
 Слушайся меня:
 На те деньги, молодец,
 Ты купи коня!
 Кто жениться захотел,
 Тот худой избрал удел,
 С русским в бой он не поскачет:
 Отчего? — жена заплачет!
 Не женись, молодец,
 Слушайся меня:
 На те деньги, молодец,
 Ты купи коня!
 Не изменит добрый конь:
 С ним — и в воду и в огонь;
 Он как вихрь в степи широкой,
 С ним — все близко, что далеко.
 Не женись, молодец,
 Слушайся меня:
 На те деньги, молодец,
 Ты купи коня!³³

Песня овейна поэзией молодечества и вполне соответствует психологии горца-джигита. Горцу «должны быть чужды такие вождедения, как устройство домашнего очага, семейное благополучие, супружеские и родительские нежности и ласки. Его домашний очаг — бранное поле, его семья — друзья-дружинники, любить и ласкать он может и должен своего коня, свое оружие... Для такого воина акт вступления в брак равносильно акту отречения от своего призвания, измены своему знамени...», — разъясняет этнограф народов Кавказа прошлого столетия Н. Семенов³⁴.

Во второй строфе песни звучит признание слабости женщины, которая слезами своими может остановить мужчину. Черкесская песня обращена к холостому молодцу с увещеванием (не женись, а купи коня), подкрепляемому серьезными аргументами: женатому человеку трудно оставить семью и отправиться в бой. Песня требует всего себя отдать воинскому долгу, отказаться от любви к женщине.

Измаил-Бей разделял эти мысли:

Но не решусь судьбы мятежной
 Я разделить с душою нежной;
 Свободный, раб иль властелин,
 Пускай погибну я один³⁵.

В полемику с черкесской песней вступает песня Селима (переодетой Зары). Лермонтов подчеркивает, что в данном случае мы имеем не импровизацию, а народную песню, которую поют девушки, «на битву друга отпуская», что песня эта — благословение матерей: «Ее певала мать родная Над колыбелию моей...».

В песне Селима (Зары) девушка — верная подруга молодого джигита. Провожая его в бой, она вдохновляет и заклинает юношу быть верным в любви:

Всегда награжден,
 Кто любит до гроба,
 Ни зависть, ни злоба
 Ему не закон;
 Пускай его смерть и погубит;
 Один не погибнет, кто любит!

³³ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. III, стр. 182—183.

³⁴ Н. Семенов, Туземцы Северо-Восточного Кавказа, 1895, С116, стр. 261.

³⁵ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. III, стр. 176—177.

Слова песни звучат как заклинание, как проклятие изменившему в любви:

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароят! ³⁶

Измаил-Бей понял смысл песни, он пришел в бешенство от намека. Образ Зары, преданного друга и верной в любви женщины, смело-го соратника на поле боя и нежного товарища в беде, опровергает суровый и несправедливый по отношению к женщине дидактизм черкесской песни. Песня Селима оказалась «пророческой». Измаил-Бей, изменивший в любви, погиб «без славы» и остался не предан земле...

Пламенная любовь горянки, страстность восточной женщины — традиционная романтическая тема. Лермонтов не ограничился ею. Поэт средствами романтического искусства нарисовал образ гордой и мужественной женщины, борющейся за любовь и высокое уважение к себе:

...По мне отчизна только там,
где любят нас, где верят нам!

Это был бунт против отношения к женщине, закрепленного религией и традицией.

От Зары — прямой путь к Бэле, героине реалистического романа.

Как мы уже говорили, не только в любви к Печорину раскрывается образ Бэлы. Она полюбила Печорина, и перед ней встали сложные вопросы. Обнажая тайные уголки внутреннего мира Бэлы, Лермонтов исследует не только чувства, но и пробуждающийся интеллект девушки.

Вслушаемся в разговор Печорина с Бэлой после ее похищения. Мы сказали — вслушаемся. Это не совсем правильно. Бэла молчала, но мы на протяжении всей беседы Печорина видим чувства и мысли Бэлы.

«— Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. — *Она вздрогнула едва приметно и покачала головой*» ³⁷.

Возвращение домой не сулило ничего хорошего. Да она и не любила никого, кроме Печорина.

«— Или, продолжал он: — я тебе совершенно ненавистен?

Она вздохнула».

Девушка призналась в своем чувстве.

«— Или твоя вера запрещает полюбить меня? — *она побледнела и молчала*».

Бэла потрясена вопросом, прозвучавшим в устах Печорина. Этот вопрос мучил ее, заставлял страдать и метаться. Ведь «не цвести, не расти» русскому в их саду. Где же найти выход из создавшегося положения?

«— Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — *Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто поражен-*

³⁶ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. III, стр. 209—210.

³⁷ Здесь и в дальнейшем курсивом пишется В. Р.

ная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться»³⁸.

В глазах ее отблеск пытливой мысли, острое желание разобраться в обстоятельствах, попытка осмыслить свои чувства и поступки. Бэла не просто хорошенькая куколка, сгорающая в пламени любви...

Марлинский увидел в горянках корыстолюбие даже в любви. Богатые подарки не подействовали на Бэлу. Максим Максимыч сказал: «У них свои правила; они иначе воспитаны». И верно. Кумыкская народная песня говорит: «Да будут прокляты глупые девицы, у которых ум короток, волосы длинные; которые любят богатого юношу за богатство его и, выйдя за богатого, одеваются в шелковые платья»³⁹.

В эпизоде решительного объяснения с Печориным перед Бэлой возник родной ее сердцу идеал мужчины. Печорин «оделся по-черкесски, вооружился и вышел к ней». Во дворе его ожидала оседланная лошадь. Печорин вошел, как входит батыр, собравшийся на смелый подвиг. Печорин не льстил, не обманывал. Правду о любви выразил кратко, энергично. Бэла получала полную свободу. В песне поется: «Батыр не прибегает к лести, которою приобретает расположение людей». Печорин обратился к Бэле: «...прощай, я еду — куда? почему я знаю! А вась, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». Песня продолжает: «Батыр и в темную ночь и на худой лошади достигает того, чего никогда не достигнуть трусу. Батыр не бежит от опасности, а спешит ей навстречу»⁴⁰. Печорин решительно спешил навстречу смерти. Бэла получала полную свободу и могла распоряжаться собой, как хочет. С этого часа она уже не поневоле оставалась в крепости, а по своему желанию. Гордость, великодушие, смелость, искренность (в данный момент Печорин был безмерно искренен) покорили девушку: «она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею»⁴¹.

Шариат строго запрещал брак с русским. Умирая, Бэла не осуждает свою любовь, как героиня Радожицкого.

С деспотических позиций шариата она — страшная преступница и великая грешница, которой нет прощенья. Ей не место в раю. Бэла этого не признала, не обвинила себя в «преступной страсти», а решила сердечное чувство свое к русскому пронести в загробную жизнь. Бэла печалилась о том, что ее душа на том свете не встретится с душой Печорина и, следуя мусульманским представлениям о рае, сожалела о том, что иная женщина будет в раю подругой Григория Александровича. На предложение переменить веру она после долгого раздумья ответила отказом. Какое наивное смешение традиционных религиозных понятий с новым взглядом на жизнь?! Ведь это же решительное неприятие канонов шариата, «вольное» его толкование.

Но может быть Лермонтов хотел показать, что, полюбив русского, Бэла изменила своему народу? Нет. Горячая любовь к Печорину не потушила, не исказила преданности и любви к родному краю, своему народу. Перед смертью она «говорила несвязные речи об отце, о брате: ей хотелось в горы, домой». «Любовь заполняет весь внутренний мир Бэлы, не оставляя места для других привязанностей, поэтому она легко

³⁸ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. VI, стр. 220.

³⁹ Подстрочный перевод, см.: Камилъ Султанов, Поэты Дагестана, Махачкала, Дагестанск. кн. изд-во, 1959, стр. 11.

⁴⁰ Подстрочный перевод см. там же, стр. 10.

⁴¹ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. VI, стр. 221—222.

переносит известия о смерти отца...»⁴². Так ли это? Бэла не сразу сказала о смерти отца, она затаила боль глубоко в сердце. Увидев Казбича верхом на отцовской лошади, Бэла задрожала, как лист, и глаза ее засверкали; умирая, она вспомнила отца. Максиму Максимычу показалось, что Бэла легко забыла старого князя, потому что она не вспомнила об отце. Нам думается, что дело здесь в своеобразных отношениях родителей и детей в кумыкских (да и вообще в горских) семьях. Кумыкский этнограф М. Алибеков сообщает, что маленьких детей не приносят в комнату, где живет отец. Дочерей своих отцы никогда не видели. Воспитывали и растили девушек их матери в женской половине дома. Один отец, увидев свою дочь, спросил: «Чья это дочь?»⁴³.

Конечно, это — крайний случай. Холодное, безразличное отношение отца к детям не значило, что он не любил их. У каждого народа свои взгляды, свои обычаи.

Мог ли появиться в горской среде того времени человек, не принимающий окружающей действительности, ищущий новых путей в жизни? Имел ли Лермонтов реальные основания для создания образа горянки, задумавшейся над «проклятыми» вопросами?

В этом отношении поэт прежде всего продолжил и развил пушкинскую традицию: Тазит выступил против жестоких законов кровничества. В трагической коллизии между *отцом* и *сыном* Белинский увидел конфликт между ретроградным *обществом* и передовой *личностью*. Рядом с Тазитом стояла, разделяя его судьбу изгнанника, «она — любовница его...», т. е. любимая и любящая женщина.

Бэла, нарушив догмы шариата, не колеблется в признании своей правоты. За это она убита Казбичем... Бэла умирает непобежденной. Она — ранний вестник пробуждавшегося народного сознания горцев. Кумыкский этнограф 60-х годов прошлого века Пржецлавский отметил: «Большая часть родителей с готовностью выдает дочерей за русских офицеров, лишь бы только ими с точностью был исполнен свадебный обряд. Женщины эти пользуются в народе таким уважением, какого заслуживают их мужья, хотя он и не мусульманин»⁴⁴.

Национальная обособленность, рознь и вражда постепенно сдавали свои позиции не только среди кумыков. Это подметил великий русский поэт, создавая обаятельный образ Бэлы...

Героиня Лермонтова не простодушная и примитивная дикарка, не абстрактный «естественный» человек, а сложный и многогранный образ.

Любовь ее к Печорину закончилась трагически не только для нее самой, но и для Печорина: он потерял всякий интерес к жизни. Умерла любовь к Бэле, и Печорин утратил смысл существования. Он поведал Максиму Максимычу: «...мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!..»⁴⁵.

А как же с восточным противопоставлением женщины и лошади?

На слезные просьбы Азамата обменять Карагёза на сестру Казбич рассерженно крикнул:

⁴² Б. В. Нейман, Женские образы в романе Лермонтова «Герой нашего времени», Лит. в шк., № 1, 1961, стр. 65.

⁴³ М. Алибеков, Адабы кумыков, Махачкала, 1927, стр. 31.

⁴⁴ П. Пржецлавский, Права и обычаи в Дагестане, «Военный сборник», XII, 1860, стр. 289—290.

⁴⁵ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести т., т. VI, стр. 232.

«Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни»⁴⁶.

Казбич верил Карагёзу. А что же случилось? Мальчишка Азамат стал подлинным хозяином Карагёза, умчался на нем в горы, как ветер. Напрасно ждал Казбич возвращения своего коня. Карагёз, которого Казбич ставил выше любимой девушки, «обманул».

Песня Казбича с его центральным мотивом восточного противопоставления женщины и лошади введены автором в роман не только для выражения местного колорита. Песня Казбича — важнейший компонент идейно-художественной структуры произведения.

⁴⁶ М. Ю. Лермонтов, Соч. в шести тт., т. VI, стр. 215.

ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ И КЛЕМАН МАРО

(О двух переводах из Петрарки)

А. Д. Михайлов

Вопрос об отношении поэтов «Плеяды», и в частности ее теоретика и крупнейшего представителя Жоашена Дю Белле (1522—1560), к творчеству Клемана Маро (1496—1544) далеко выходит за рамки узкой историко-литературной проблемы. По сути дела, это вопрос о соотношении двух важнейших этапов французского Возрождения, представителями которых в области поэзии были Маро и Дю Белле. Маро представляет собой ранний Ренессанс, Дю Белле — более зрелый его этап, называемый иногда Высоким Возрождением.

Творчество Маро и Дю Белле развивалось в совершенно различных исторических условиях, и это различие эпох не могло не отразиться в произведениях поэтов. «Плеяда» выступила на литературной арене в сложный и ответственный для французской культуры момент. И исторической ее заслугой является то, что в годы повсеместного наступления реакции, в годы усиливающегося влияния мистических учений и идеалистической философии, в годы, когда все большее распространение получала далекая от национальной почвы искусственная поэзия подражателей Петрарки, она продолжила гуманистические и реалистические традиции раннего французского Возрождения. Жизнерадостный, оптимистический дух, материалистическое восприятие мира, гуманистический пафос открывания нового в природе и в самом человеке, не только искреннее восхищение неумирающими памятниками античной культуры, но и стремление узнать их и понять во всей их глубине, осознание своего патриотического долга — все это роднит поэтов «Плеяды» с великими представителями раннего французского Возрождения — с Рабле, с Деперье, с Клеманом Маро.

Не «Плеяда», а гуманистам и поэтам раннего французского Возрождения принадлежит честь открытия и приобщения своей страны к сокровищам итальянской культуры, в частности, честь популяризации творчества Петрарки, который сравнительно рано стал известен во Франции¹. Петрарка долгие годы оставался непререкаемым авторите-

¹ Из многочисленных работ, посвященных этому вопросу, укажем капитальное исследование И. П. Голенищева-Кутузова (E. Golénistcheff Koutouzoff, *L'histoire de Griseldis en France au XIV et au XV siècle*, Paris, Droz, 1933) и обширную, обильно насыщенную фактическим материалом статью Ф. Симоне (F. Simone, *Note sulla fortuna del Petrarca in Francia nella prima metà del Cinquecento* — *Giornale Storico della Lit. Italiana*, 1950, N. 1, 1951, N 1—2).

том в области поэзии не только у себя на родине, но и во всей Европе, в том числе и во Франции. Увлекался Петраркой и переводил его и Клеман Маро; для поэтов «Плеяды» Петрарка, наряду с античными авторами, был предметом восхищения, изучения и подражания.

Однако «петраркизм» Маро и «петраркизм» «Плеяды» — явления, столь отличные друг от друга, что на это нельзя было не обратить внимания. Французский исследователь Альбер Пофиле в одной из своих статей² сопоставил два сонета Маро и Ронсара, восходящие к одному и тому же сонету Петрарки. А. Пофиле пришел к следующему выводу: «Маро изо всех сил старается перевести Петрарку; Ронсар хочет сделать своими дух и элегантность петрарковской формы. Один хотел бы преподнести нам самого Петрарку, другой, петраркизируя, желает все же оставаться Ронсаром»³.

Выводы А. Пофила можно было бы проиллюстрировать, сопоставив этот перевод Клемана Маро из Петрарки с одним из сонетов «Оливь» Жоашена Дю Белле (сонет № 48, в издании 1550 года — № 55).

История возникновения переводов Маро и Дю Белле такова.

Перевод Маро был впервые напечатан в 1544 году. Тогда еще не существовало на французском языке полного или хотя бы значительной части текста петрарковского «Канцоньере». Правда, Жорж де Ля Форж еще в 1514 году перевел шесть «Триумфов» Петрарки. Но сонеты и канцонь итальянского поэта стали появляться значительно позднее. Кроме перевода Маро, который перевел шесть сонетов и одну канцону, укажем на переведенные Жаком Пелетье еще 12 сонетов Петрарки. Пелетье включил свои переводы в изданный им сборник своих стихотворений (1547), куда, между прочим, вошли несколько ранних поэтических опытов будущих членов «Плеяды». Наконец, в 1548 году Васкен Фильель опубликовал под названием «Лаура из Авиньона» перевод 196 сонетов и 24 канцон Петрарки.

Интересующий нас сонет Дю Белле увидел свет в 1549 году. Первый поэтический сборник Дю Белле был весьма тесно связан с опубликованным одновременно с ним трактатом «Защита и прославление французского языка». Основные положения манифеста новой школы родились на основе живой поэтической практики Ронсара, Дю Белле, Баифа и других членов будущей «Плеяды». Именно наличие за плечами Дю Белле некоторого творческого опыта придало его трактату убедительность и весомость положений. С другой стороны, выпуская свой первый сборник одновременно с «Защитой», Дю Белле собрал в нем те свои стихи, которые не шли в разрез с его собственными теоретическими положениями. Ведь отход от некоторых предписаний «Защиты» наметился уже во втором, расширенном издании «Оливь» 1550 года.

«Плеяда», как известно, самым решительным образом осудила переводы, противопоставив им подражание античным и итальянским авторам, как единственное средство обогащения поэтического языка. Дю Белле писал в «Защите и прославлении французского языка»: «Тем не менее, эта столь похвальная работа переводчиков не кажется мне единственным и достаточным средством, чтобы поднять наш народный язык до уровня других, более прославленных языков» (Кн. I, гл. V). Прежде всего Дю Белле не советовал переводить поэтов, ибо особенности их произведений «так же могут быть переданы в переводе, как

² A. P a u p h i l e t, Sur des vers de Pétrarque. Mélanges... offerts à Henri Hauvette. Paris, Les Presses Françaises, 1934, p. 113—121.

³ Op. cit., p. 121.

если бы художник захотел воспроизвести душу, изображая тело и следуя натуре» (Кн. I, гл. VI).

Таковы были теоретические позиции Дю Белле. Насколько они отразились в его переводе, а точнее подражании, видно из приводимых ниже стихов Петрарки, Клемана Маро и Дю Белле.

Дю Белле и Маро в качестве образца выбирали 128-ой сонет итальянского поэта:

O passi sparsi, o pensier vaghi e pronti,
O tenace memoria, o fero ardore,
O possente desire, o debil core,
O occhi miei, occhi non già, ma fonti;

O fronde onor delle famose fronti,
O sola insegna al gemino valore;
O faticosa vita, o dolce errore,
Che mi fate ir cercando piagge e monti;

O bel viso, ov' Amor insieme pose
Gli sproni e'l fren ond' e' mi punge e volve
Com' a lui piace, e calcitrar non vale;

O anime gentili ed amorse,
S' alcuna ha 'l mondo, e voi nude ombre e polve;
Deh restate a veder qual è 'l mio male.

Клеман Маро переложил этот сонет следующим образом:

O pas espars, ô pensées soudaines,
O aspre ardeur, ô memoire tenante!
O coeur debile, ô volonté puissante,
O vous mes yeulx; non plus yeulx, mais fontaines!

O branche, honneur des vainqueurs capitaines,
O seule enseigne aux poetes duysante;
O douce erreur qui soubz vie cuisante
Me faict aller cherchant et montz et plaines!

O beau visage où amour met la bride
Et l'esperon dont il me point et guide
Comme il luy plaist, et deffense y est vaine!

O gentilz cueurs et ames amoureuses,
S'il en fut onc, et vous umbres paoureuses,
Arrestez vous pour veoir quelle est ma peine!⁴

Перевод, или точнее говоря, подражание этому сонету Петрарки мы находим в «Оливе» Дю Белле:

O faible esprit, chargé de tant de peines,
Que ne veulx-tu soubz la terre descendre?
O coeur ardent, que n'es-tu mis en cendre?
O tristes yeulx, que n'estes-vous fontaines?

O bien douteux! ô peines trop certaines!
O doux sçavoir, trop amer à comprendre!
O Dieu qui fais que tant j'ose entreprendre,
Pourquoy rends-tu mes entreprises vaines?

O jeune archer, archer qui n'as point d'yeulx,
Pourquoy si droict as-tu pris ta visée?
O vil flambeau, qui embrases les Dieux,

⁴ Marot, Oeuvres complètes, Paris, Garnier, 1938, t. II, p. 147

Pourquoy as-tu ma froideur attisée?
O face d'ange! O coeur de pierre dure!
Regarde au moins le torment que j'endure⁵.

В отличие от Маро, Дю Белле берет у Петрарки лишь основную мысль его сонета, свободно варьируя и видоизменяя ее, создавая свою образную систему. Если у Петрарки (а вслед за ним и у Маро, а также отчасти у Ронсара) весь сонет разворачивается как непрерывное перечисление и лишь в последнем стихе наступает «развязка», то Дю Белле строит свое стихотворение совсем иначе. У Петрарки, у Маро и в какой-то мере у Ронсара нет четкой границы между каждым катреном и каждым терцетом, нет, тем более, противопоставления катренов терцетам. Иначе у Дю Белле. Отказавшись от целого ряда образов петрарковского сонета (об этом ниже), Дю Белле усиливает оставшиеся непрерывно повторяющимися вопросами, обращениями, восклицаниями, то есть Дю Белле отказался от нарастающего напряжения петрарковского сонета. Замкнутость и обособленность составных частей стихотворения создает особую прерывистость его ритма; сонет не произносится уже «одним дыханием», уравновешенность частей в нем более ощутима. Это придает ему известную плавность и замедленность.

В первом катрене Маро точно следует Петрарке, повторяя все его образы. Он лишь иногда меняет их местами, но эти перестановки не выходят за рамки одной стихотворной строки. Синтаксическое деление на полустихия (за исключением последней строки катрена, цезурованной менее четко) соблюдается Клеманом Маро весьма последовательно.

У Дю Белле строение катрена совсем иное. Он отказывается и от «неуверенных шагов», и от «цепкой памяти», и от «сильного желания». «Слабое сердце» и «обжигающий пламень» превращаются у него в «горящее сердце», а «смутные блуждающие мысли» становятся «слабым разумом». Эта перестройка всей образной системы катрена отразилась и на его ритмико-синтаксической композиции. Вместо стонov и жалоб появляется горький недоуменный вопрос; цезуры посреди стихотворных строк уже не так обусловлены синтаксисом и смыслом, как у Петрарки и Маро. В ритмической организации катрена Дю Белле достигает большего разнообразия, чем Маро: первая фраза охватывает две стрски, тогда как две следующие укладываются в одну строку каждая. Но не это все-таки главное. Дю Белле полностью меняет смысл, заключенный в стихах Петрарки (и Маро), и его сонет оказывается не переводом и даже не подражанием, а откликом, своеобразным ответом, воспоминанием о сонете итальянца.

Во втором катрене Клеман Маро несколько более отходит от итальянского оригинала, чем в первом. Так, вместо довольно общего «прославленного чела» появляются более конкретные «полководцы», и вместо «двойной доблести» — «поэты». В третьем стихе катрена Маро сливает воедино два образа Петрарки. Однако изменения не касаются главного. Мы наблюдаем здесь обычную трансформацию при достаточно точном переводе.

Дю Белле во втором катрене еще дальше отходит от петрарковского сонета. Воспользовавшись слегка намеченными у Петрарки в третьем стихе контрастными сопоставлениями («тягостная жизнь» — «сладкое заблуждение»; Маро, между прочим, этого оттенка не передал), он развивает этот прием и строит с его помощью первые два стиха катрена. Заключенная в стихах Дю Белле мысль о тщетности чело-

веческих усилий и особенно его обращение к богу совсем отсутствует у Петрарки и у Маро. Можно предположить, что речь идет об античном боге любви Амуре (так оно и есть у Петрарки и Клемана Маро), но акцент, сделанный Дю Белле не на любовных переживаниях, а на страданиях, неудачах, потерях в жизни вообще, заставляет почувствовать здесь и отзвук христианских мотивов, как раз в эти годы получивших весьма большой удельный вес во французской поэзии.

В терцетах Маро довольно точно перелагает Петрарку. Лишь кое-где образы последнего претерпевают весьма легкую трансформацию. Дю Белле в терцетах отходит от итальянского образца еще дальше (точно так же поступает и Ронсар). Дю Белле отказывается от повторенного Клеманом Маро петрарковского образа, обузданного любовью (или Амуром?) человека, заменяя весь этот пассаж обращением к слепому лучнику, точно попадающему в цель. Прием контраста повторен и в следующих двух стихах терцетов Дю Белле (пламя, зажигающее холодность поэта). Лишь последняя, заключительная строка стихотворения более или менее точно следует Петрарке (но так же поступают не только Маро, но и Ронсар).

Добившись большей, чем у Маро, обособленности и замкнутости катренов, Дю Белле, напротив, сливает воедино терцеты. Спаянные между собой, они более ощутимо противостоят катренам, придавая всему стихотворению уравновешенность и завершенность.

Все это говорит о несомненно возросшем, по сравнению с Маро⁶, мастерстве сонета. Маро делал лишь первые опыты, поэтому он мог удовлетвориться простым переводом Петрарки. Дю Белле, не отвергая опыта Маро, пошел дальше по намеченному им пути.

Таким образом, при всем различии Дю Белле и Маро в их подходе к петрарковскому наследию, между этими двумя поэтами существует несомненная преемственная связь⁷; раннее французское Возрождение не было отделено от зрелого Ренессанса непроходимой стеной, что может также быть подтверждено всем дальнейшим творчеством Дю Белле, в частности его книгой «Сельские игры» (1558), в которой не без основания усматривают «поворот к Маро» — поворот к реалистическим, народным основам раннего французского Ренессанса.

⁶ Ср. Marot, op. cit., t. I, p. 103; t. II, p. 58, 61, 75, 146—149. Все сонеты Маро написаны десятисложниками с одинаковым расположением рифм (исключением является первый сонет: abba acca dde fe).

⁷ К такому же выводу, правда, на ином поэтическом материале приходит и Ю. Б. Виппер в своей статье «Дю Белле и пути развития французской поэзии» (см. НДВШ. «Филологические науки», 1960, № 3, стр. 16).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

W. K. Matthews, Russian Historical Grammar.
—University of London, The Athlone Press,
1960. XIV + 362 стр.

(«London East European Series» Group II)

Г. И. Белозерцев

«Историческая грамматика русского языка» В. К. Метьюса, покойного профессора русского языка и литературы Лондонского университета, вышла из печати два года спустя после смерти автора¹. Для советских историков русского языка эта книга может представлять интерес прежде всего в учебно-методическом плане, поскольку именно таким целям она должна служить по замыслу автора, не претендующего на новизну освещения излагаемых вопросов. Знакомство с этим во многом оригинальным пособием² может быть полезно также в связи с продолжающимися в нашей стране поисками наиболее приемлемого типарузовского руководства по исторической грамматике русского языка. Следует помнить, однако, что книга Метьюса адресована в первую очередь читателю, для которого изучаемый язык не является родным.

Прежде всего не может не удивить широта круга вопросов, затрагиваемых автором, при сравнительно небольшом объеме книги, структурно подразделяющейся на три части.

Первая часть тематически разнородна. Во-первых, в нее входит развернутое «Введение» (стр. 1—12), представляющее собою краткий очерк истории языковедческой мысли от эпохи античности до наших дней и определяющее место лингвистики в системе наук. Давние научные интересы автора, немало работавшего в области индоевропеистики, нашли свое отражение также в обширном разделе «Языковая предстория» (стр. 13—52), который содержит сведения по фонетике, морфологии, синтаксису и лексике индоевропейского и общеславянского языков. Во-вторых, это собственно восточнославянская часть, которую

¹ Перечень основных работ Метьюса по русскому языку см. в обзоре их, написанном Т. В. Булыгиной и Д. Н. Шмелевым, ВЯ, 1956, № 4, стр. 115—118. Дополнить его можно следующими работами: The Structure and Development of Russian, Cambridge, 1953; The Phonetic Basis of Pleophony in East Slavonic, «Slavonic and East European review», v. XXXVI, № 86, London, 1957.

² См. последовательный и довольно детальный разбор грамматики Метьюса Н. С. Кузнецовым (ВЯ, 1962, № 1, стр. 118—126). Мы остановимся лишь на отдельных сторонах этой книги, в меньшей степени затронутых в указанной рецензии.

начинает сжатый и очень содержательный исторический очерк (стр. 53—66) от эпохи распада общеславянского единства до наших дней. Здесь не место говорить подробно об исторической концепции автора, хотя с его трактовкой многих моментов отечественной истории нельзя согласиться.

Характеристика собственно древнерусского языка открывается синхронным описанием его системы на уровне XII века (стр. 94—147). В соответствии с расширенным пониманием предмета исторической грамматики («...в некотором смысле синонимично истории языка» — стр. 11) древнерусский язык раскрывается у Метьюса в различных его аспектах — фонологии (включая ударение), морфологии (включая словообразование), синтаксисе, лексике и стиле. Эволюции каждого из этих аспектов в диахроническом плане посвящен особый раздел во второй части книги.

Учебному назначению книги отвечает третья часть, включающая в качестве приложений краткую хрестоматию текстов вплоть до XX века, очерк об изучении истории русского языка в России и хорошо подобранную библиографию основных трудов по истории русского языка, расклассифицированную и кратко аннотированную. Значительно облегчают пользование книгой тщательно составленные отсылочные указатели — индекс упоминаемых русских слов (стр. 335—351) и общий индекс, включающий лингвистические понятия, топонимические и ономастические наименования, этнические и исторические категории, фамилии цитируемых авторов и др. (стр. 352—362).

План книги — очень четкий и ясный, строго последовательна композиция, что позволяет легко установить связь между соответствующими синхронными и диахроническими разделами. Книга Метьюса, при всей ограниченности ее листаж и перегруженности в некоторых разделах (Введение. Индоевропейский язык) материалами, не связанными непосредственно с основной темой, все-таки охватывает все основные исторические процессы русского языка благодаря исключительному лаконизму изложения. Все эти качества являются несомненным достоинством данного пособия.

Рецензируемая историческая грамматика отличается рядом специфических особенностей от других пособий подобного типа.

Используя уже хорошо известные в литературе факты и материалы, автор видит свою основную цель в том, чтобы представить их в исторической перспективе — от первых спорадических проявлений в ранних памятниках до окончательного утверждения их в языке или исчезновения. При этом сравнительно-исторические параллели по другим славянским языкам почти не приводятся, если не считать разделов об индоевропейском и общеславянском языках. Даже сопоставления со старославянским языком, особенно в фонологической и морфологической частях, очень нерегулярны. Диалектные явления затрагиваются лишь постольку, поскольку они зафиксированы памятниками письма. Вопрос о книжном или живом характере форм ставится довольно редко. Историческое объяснение, анализ языковых процессов за редкими исключениями отсутствуют. Это нельзя считать положительным качеством учебного пособия. Обычно сообщается лишь о центральной линии развития каждого явления, а многочисленные колебания, «исключения» остаются вне поля зрения автора.

Отмеченные моменты в совокупности создают впечатление неполноты освещения, а местами чрезмерной упрощенности, фактографичности. У студента же неизбежно должны возникнуть вопросы о при-

чиности изменений, ответов на которые в рецензируемой книге он не найдет. Если даже автор сознательно предполагал только ввести читателя в круг затронутых проблем, в остальном полагаясь на самостоятельную проработку специальной литературы, то и в этом случае следовало хотя бы ориентировать читателя относительно представленных в ней разнородных мнений.

В этом отношении приятным исключением является глава об алфавитах (стр. 67—84), где, не утрачивая лаконичности изложения, автор вводит читателя в круг актуальных научных споров, касаясь полярных точек зрения на вопросы происхождения и взаимоотношения кириллицы и глаголицы, хотя более развернуты взгляды, видимо, разделяемые автором.

Заслуживает упоминания высказанное здесь соображение относительно прочтения надписи на корчаге из Гнездовского кургана (стр. 75). Метьюс решительно отвергает чтение, предлагаемое в известной статье Д. А. Авдусина и М. Н. Тихомирова (*гороухца*), так же, как и толкование П. Я. Черных (*гороушна*), указывая на допускаемую им произвольность в перестановке знаков при раскрытии лигатуры. Предлагается, правда, лишь в качестве неаргументированной догадки, интерпретация этой надписи как уменьшительного древнерусского собственного имени на *-ша* (*гороуниша*)³. Вызывает удивление при этом фактическая неточность относительно истории этой находки, известной, по словам Метьюса, с 1870 года (дата начала первых раскопок в районе Гнездова — 1874 год) и лишь недавно подвергнутой попыткам дешифровки. На самом деле корчага с надписью обнаружена Д. А. Авдушиным при раскопках Гнездовского могильника в 1949 году⁴.

Целевая установка книги — перспективный показ фактов с XI по XX век — обуславливает особо существенную роль хронологических моментов. К сожалению, автор ничего не говорит об известной условности хронологии письменных фиксаций языковых процессов (степень изученности древних памятников; некоторая «случайность» отражения явлений живого языка в книжных памятниках).

Приемы раскрытия исторической перспективы языковых процессов видоизменяются в различных частях книги в зависимости от характера самого материала. Так, картина фонологических изменений (так же, как и развития стилей) слагается из фрагментарных описаний наиболее характерных, с точки зрения автора, явлений применительно к каждому веку. Достоинство подобного подхода, преследующего чисто мнемонические цели, в том, что он позволяет увидеть черты, характерные для каждого столетия (конечно, при необходимых поправках на условность хронологии), и в этом отношении отвечает справочным целям. Однако ценность его сильно снижается из-за отсутствия цельной кар-

³ В этой связи уместно напомнить о гипотезе, выдвинутой Р. Якобсоном в его статье *Vestiges of the earliest Russian vernacular «Words»*, *Journal of the linguistic circle of New York*, vol. VIII, №4, 1952, стр. 350—355; См. также *Slavic word*, № 1, стр. 46—51. В загадочной лигатуре, расположенной между знаками *ou* и *a* и обуславливающей различные варианты прочтения, Якобсон склонен видеть букву *N* с диакритическим знаком йотации перед *a*, прикрепленным к правой мачте *N* (*гороунја*). Это позволяет интерпретировать данное слово, подобно надписям на болгарских и русских пряслицах, как форму им. пад. ед. ч. жен. р. притяжательного прилагательного от мужского собственного имени *Горунь*, зарегистрированного в славянской ономастике (F. Miklosich, *Die Bildung der Slavischen Personen- und Ortsnamen*, Heidelberg, 1927, стр. 9, 50), и рассматривать его как определение к опущенному существительному *кърчага*.

⁴ Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров, Древнейшая русская надпись, *Вестник АН СССР*, 1950, № 4, стр. 71, 74.

типы развития каждого явления и необходимости многократного возвращения к аналогичным вопросам (ср., напр., параграфы, посвященные соотношению *ѣ* и *е*, на стр. 155, 158, 159, 162, 165, 169; об утрате или прояснении редуцированных *ѣ* и *ь* — на стр. 155—156, 158, 160, 162, 165; о смягчении задненебных согласных в сочетаниях *кѣ*, *гѣ*, *хѣ* — на стр. 156, 158, 159—160, 163).

Видимо, эти причины, как и специфика самого материала, заставили автора в диахронической главе о морфологических изменениях (как и синтаксических) исходить не из хронологической градации по векам, а из морфологических категорий (стр. 188—217). Этот раздел книги может удивить прежде всего минимумом информации о наиболее сложных по своему содержанию категориях, в частности глагольных. Объясняется это тем, что, в отличие от большинства отечественных пособий по исторической грамматике, в морфологии Метьюса эти категории раскрываются главным образом в их чисто формальных моментах. Семантическая же характеристика видов, перфекта, плюсквамперфекта и даже аориста и имперфекта сосредоточена преимущественно в разделе о синтаксических изменениях.

В морфологических разделах внимание автора сосредоточивается исключительно на формах словоизменения, мало внимания уделяется формированию на протяжении исторического периода состава таких частей речи, как числительные, наречия. И хотя в плане его книги такое освещение предусмотрено (см. соответствующие параграфы на стр. 200—201, 214—215), круг упоминаемых здесь слов крайне узок. Что касается числительных как особой части речи, оказывается не раскрытым соотношение так называемых узловых и алгоритмических чисел, даже не упомянуты характерные для древнерусского языка лексические названия более высоких десятичных разрядов, не раскрыт механизм комбинирования названий на различных числовых уровнях⁵.

Остановимся на некоторых конкретных положениях этих разделов, представляющихся спорными или неточными. Мы не касаемся таких вызывающих сомнения вопросов, как определение фонетического качества *ѣ* в древнерусском языке, оценка звука *ы* для XII в. как уже сложившегося варианта фонемы *и*, упрощений в описании «аканья», поскольку о них достаточно подробно говорится в указанной рецензии П. С. Кузнецова. Отметим лишь чрезмерную категоричность предлагаемых суждений, тем более непростительную в учебном пособии. В частности, неоднократно говоря о фонетическом тождестве *е* и *ѣ* в древнерусском языке, автор излагает этот вывод, являющийся результатом самостоятельных его наблюдений, как единственно существующую в науке точку зрения, хотя большая часть исследователей в этом вопросе с ним расходится.

Трудно принять предлагаемую трактовку уже первых случаев замены в памятниках XIII века *х* на *ф* и обратно как специфическое изменение в системе согласных (стр. 160). Все приводимые факты такой замены (*Амфилофий*, *въ колохонѣ*, *просхура*) свидетельствуют прежде всего лишь о чужеродности, неустойчивости *ф* как особой фонемы, о фактах смешения ее в заимствованных словах. Вопрос о становлении *ф* как самостоятельной фонемы на пародной языковой основе в связи с падением редуцированных затронут очень бегло (стр. 97).

⁵ Ср. П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка. Морфология, МГУ, 1953, стр. 170—185. См. также автореф. канд. дисс. Л. П. Дрошиковой. Из истории имен числительных в русском языке, М., 1959.

При описании судьбы редуцированных *ѣ, ъ* автора интересуют прежде всего хронологические моменты их изменений. Специфика же позиционной обусловленности этих изменений совершенно не принимается во внимание. Поэтому на стр. 159, где говорится об умножении в памятниках XIII века примеров, иллюстрирующих прояснение *ѣ, ъ* в *о, е* в слабой позиции, наряду с примерами редуцированных в артикуляционно сложных группах согласных (*стекло < стькло*, срв. *скло*), оказываются также сочетания плавного с редуцированным (*тревога, броня, блоха*), особые соответствия которым в украинском и белорусском языке засвидетельствованы уже в древних памятниках XIII — XIV вв., и даже примеры, где редуцированный находился в сильной позиции (*пестръ < пьстръ*).

Целый ряд существенных фонетических изменений вообще не нашел отражения в книге Метьюса. Почему-то не сообщается об особой судьбе редуцированных *ы, и* (<*ѣ, ъ*) перед *ј*, хотя прежде всего с этими процессами связано становление окончаний членных форм прилагательных мужского рода в именит. падеже единств. числа. Не отмечены и изменения «исконных» *ы, и* перед *и* (*мыйу, шийа*), специфичные для каждого из восточнославянских языков.

Целый ряд замечаний вызывают формы, приводимые в качестве основных для системы древнерусского языка XII в. Неправомерно включение в парадигму склонения существительных *ѣ-, јѣ-* основ формы творит. падежа единств. числа с окончанием *-омь, -емь*, характерным для старославянского языка (стр. 104). Соответствовавшие им в древнерусском языке формы *-ѣмь, -ьмь*, рассматриваемые Метьюсом лишь в качестве вариантов первых, последовательно представлены по памятникам и подтверждаются позднейшими рефлексам в украинском языке (отсутствие перехода *о, е* в *і* в закрытом слоге). Срв. приводимые П. Дурново показательные статистические данные по соотношению подобных форм в памятниках XI в., писанных на Руси, в частности, евангельских текстах русского извода⁶.

В парадигме склонения существительных с основой на согласный приводится в качестве основной форма *матере* для именит. падежа множеств. числа, противопоставляемая форме *матери* винит. падежа множеств. числа (стр. 113).

Аналогичным образом указывается на факт совпадения формы родит. падежа единств. числа существительных женск. рода генетический *ѣ-* основ с формой именит. падежа множеств. числа (*църкѣве* — стр. 114, примеч. 1). Между тем, как для старославянского, так и для древнерусского языка в именит. падеже множеств. числа шире представлены формы на *-и* (*матери, църкѣви*), совпадающие, как и в других гинах склонений существительных женск. рода, с формой винит. падежа множеств. числа. На более редкую форму с *-е* в именит. падеже множеств. числа (*матере* и т. п.), зарегистрированную, в частности, в Лаврентьевской летописи, А. А. Шахматов указывал как на неясную по происхождению и, вероятно, более позднюю⁷.

Неясен также письменный источник приводимой формы звательного падежа единств. числа для существительных с основой на соглас-

⁶ «...В обоих почерках Остромирова евангелия написания с *-ѣмь* составляют 96% всех случаев употребления формы *instr. sg.* от основ на *-о* и на *-и*, а в обоих почерках Архангельского евангелия — все 100%...» — Н. Дурново, Славянское правописание XI—XII вв., «Slavia», Roční XII, Seš. 1—2, Praha, 1933, стр. 64.

⁷ А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка. Учпедгиз, М., 1957, стр. 113.

ный *н-* (*камени* — стр. 113), отличной от формы именит. падежа единств. числа.

Местами не выдерживается последовательность при сообщении морфологических форм. Так, в склонении с основой на *i-* (*путь, кость*) варианты соответствия *и//ь* в окончании отмечены почему-то лишь для форм именит. падежа множеств. числа (*путье/путье*) и родительн. падежа множеств. числа (*путии/путьи*).

Не представляется оправданным также приведение в одной парадигме для XII века форм с *-ь* для единств. и двойствен. числа (*костью, путью*) и почему-то предпочитаемые им формы с *-й-* из *ь* перед *ј* для множеств. числа (*путье*) (стр. 112). Другой пример отсутствия строгой последовательности дает сопоставление возможных вариантов форм I лица множеств. числа для вспомогательного глагола *есмъ, есмы, есмо, есме* (стр. 128, примеч. 1), с одной стороны, и указание лишь одного варианта *-мо* для остальных глаголов — с другой (стр. 122, примеч. 1). А это может, в свою очередь, вызвать представление об отсутствии в памятниках форм типа *несемь, несеме*⁸.

Вызывает возражение включение формы *я* местоимения I лица единств. числа в качестве главной для системы древнерусского языка XII в. Хотя эта форма фиксируется наряду с *язъ* уже грамотой кн. Мстислава ок. 1130 г., однако безусловно преобладающей для литературного языка даже жанров, наиболее близких к живому языку, вплоть до XVI века оказывается форма *язъ*, как это убедительно показано в наблюдениях М. А. Прево⁹. Между тем форма *язъ* вообще не названа Метьюсом даже в комментариях к местоимению.

С методической стороны не может быть принят также порядок рассмотрения склонения указательных местоимений *и, я, е* (автор называет их личными) вслед за членными формами прилагательных, так как для внутреннего анализа и понимания структуры последних желательно предварительное знакомство с первыми. Заметим, что Метьюс, упоминая об использовании местоимений *и, я, е* в соединении с частицей *же* в качестве относительных, вообще не говорит об отсутствии их самостоятельного функционирования в письменный период в форме именит. падежа.

Нетрудно заметить, что стремление автора не вдаваться в анализ существа языковых процессов, ограничиться указаниями лишь основных фактов временами ведет к упрощению, особенно очевидному при описании сложных глагольных категорий. В частности, Метьюс не разграничивает собственно видовых значений (*Aspekt*) и более древних различий в способе протекания действия (*Aktionsart*). О формировании средств выражения видов говорится слишком общо, без указания относительной хронологии этих явлений. К тому же в этих частях текст нестрит неточностями. Так, на стр. 125—126 недифференцированно перечисляются средства выражения собственно видовых противопоставлений и линейных и моторно-кратных глаголов движения. В частности, как показатель противопоставления видов приводится коррелируемая пара глаголов *везти* — *возити* (чтобы избежать возможного для зарубежного читателя смешения приводимого здесь инфинитива с инфинитивом семантически иного глагола *вести* — *веду*, предпочтительнее было бы дать вариант без ассимиляции по глухости, хотя он и реже встре-

⁸ Ср. А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, изд. 3-е, М., 1903, стр. 159.

⁹ См. автореферат канд. дисс. М. А. Прево, История форм личных и возвратного местоимений в русском языке, М., 1952, стр. 6.

чается в памятниках). Что касается противопоставления по совершенности-несовершенности, то подобным глаголам оно несвойственно и в современном русском языке. Там же говорится о корневом чередовании *e/o* (*нести* — *нести*) и другом чередовании *ѣ/a* как средства оформления видов (Aspekts) без указания на суффиксальный характер последнего в отличие от первого (пример *летѣти* — *летати*). К тому же при всестороннем учете фактов в подобном противопоставлении следовало отметить также факторы другого рода, а именно наличие суффиксального противопоставления для первой пары (*везти* — *возити*) и обычно фиксируемого чередования *e/ѣ* в корне для второй пары (*летѣти* — *лѣтати*). Вероятно, последний момент Метьюс не принимает во внимание из-за отождествления звуков *ѣ* и *e*.

Автор проявляет известный скептицизм относительно самой возможности существования имперфекта в живой речи в XIII веке (стр. 205). Основанием для него, как и для других исследователей, разделяющих эту точку зрения, служит редкое использование имперфекта в ранних грамотах и юридических документах (стр. 205). Как нам представляется, более последовательны в этом вопросе исследователи, учитывающие жанровую и стилистическую специфику этих документов. В частности, П. С. Кузнецов указывает, что эти памятники по своему содержанию не могут широко представить форм имперфекта¹⁰. Подобных же взглядов придерживается в своей недавней работе о формах прошедшего времени в древнерусском языке К. Схонефельд¹¹, полемизирующий с выводами Н. Дурново и А. В. Исаченко, опиравшихся в своих исследованиях главным образом на указанные категории памятников. Наконец, большая по сравнению с имперфектом частотность аориста в церковно-литургических памятниках, о которой говорит Метьюс, не может сама по себе свидетельствовать о разрушении имперфекта, так как преобладание аориста обуславливается семантической спецификой его как основной повествовательной формы прошедшего времени.

Одним из наиболее ранних свидетельств вытеснения аориста формой перфекта Метьюс считает надпись на Тмутараканском камне 1068 г., где, по его мнению, в отличие от Мстиславовой грамоты, употребление перфекта семантически не оправдано (стр. 236). Вероятно, подобный вывод является все-таки итогом недостаточно четкого противопоставления значений аористных и перфектных форм в книге Метьюса. Содержание упомянутой надписи дает все основания считать значение формы *мѣрилъ* типичным для перфекта (отнесенное к настоящему, т. е. времени сочинения надписи, состоянию, достигнутое в результате прошлого действия).

Слишком односторонней для XII века представляется оценка формы *буду* как «единственной формы будущего времени, отличной от настоящего времени» (стр. 123, примеч. 1). Подобная трактовка, игнорирующая момент видовой характеристики, ставит образование *буду* особняком по отношению к системе форм, присущих древнерусскому языку. Между тем, говоря о месте этой формы для XII века, было бы правильнее указать на особенности взаимодействия грамматического (временного и видового) значения основы *буду*, с одной стороны, и

¹⁰ П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, АН СССР, М., 1959, стр. 195.

¹¹ С. H. van Schooneveld, A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system, 's-Gravenhage, 1959, стр. 2, 4-5.

реального значения глагола *быти* в качестве *verbum existentiae*, как сделано это в недавней работе о будущем времени Г. Кржижковой¹².

Форма *бѣхъ* квалифицируется в книге Метьюса в качестве старославянского по происхождению варианта к древнерусской форме имперфекта *бяхъ*. Автор указывает на смешение этих форм в памятниках как чисто формальное (стр. 124, примеч. 2). Что касается собственно семантической стороны формы *бѣхъ* по сравнению с *бяхъ*, представляются интересными, хотя и требующими дополнительной проверки, выводы К. Схонефельда, специально исследовавшего значения форм глагола *быти* в древнерусском языке. Возражая против отождествления значений *бѣхъ* и *бяхъ*, он в конечном счете признает первую форму типичным по значению и функционированию аористом несовершенного вида¹³.

Обращает на себя внимание тот факт, что из поля зрения автора нередко ускользают детали, весьма существенные с точки зрения истории языка. Так, например, в разделах о полногласных сочетаниях нет даже упоминания о первоначальном качестве второго гласного элемента этих сочетаний в восточнославянских языках (ср. отсутствие перехода его в *i* в закрытых слогах в украинском языке); не объясняется природа смягчения протетического *н-* в указательных местоимениях (*на него* и т. п.), хотя говорится о разложении первообразных предлогов *кѣнѣ*, *вѣнѣ*, *сѣнѣ*. Неоднократно возвращаясь к форме супина и отмечая его целевое значение, автор тем не менее не упоминает об употреблении его именно при глаголах движения (так наз. достигательное значение). При этом, говоря об утверждении *-чь* в форме супина от глаголов с основой на задненебный, Метьюс неудачно иллюстрирует это положение семантически не мотивированным образованием формы супина от модального глагола *мочи* (стр. 124. Предпочтительнее, скажем, *жечь*). Следует сказать, что автор и в других случаях бывает не всегда требователен в отборе иллюстрированного материала. Так, выдвигая уже подвергнутое критике в рецензии П. С. Кузнецова положение об отвердении окончания *-ть* в 3 лице настоящего времени глаголов как средстве избежать омофонии с формой инфинитива, утратившего конечное *-и* безударное, автор приводит в подтверждение инфинитив *любить* < *любити* (стр. 204), не замечая, что этот глагол не может быть показательным для явления омофонии, которой в нем противодействовало различие места ударения в инфинитиве и в форме 3-го лица.

Серьезные погрешности встречаются иногда в словообразовательных разделах. На стр. 128 образование имени от глагола демонстрируется соотнесением производящего и производного *послушьнѣ* < *слухати*. Недоумение вызывает выбор в качестве производящего именно глагола *слухати*, один единственный раз отмеченного в «Материалах...» Срезневского в грамоте 1349 г., тогда как и в старославянском, и в древнерусском языке широко представлен глагол *послушати* и семанти-

¹² Helena Křížková, Vývoj opisného rutura v jazyčích slovanských, zvláště v ruštině, Praha, 1960, стр. 179, 187.

¹³ С. Н. van Schooneveld, Указ. соч., стр. 69, 85. См. также его статью The aspect system of the Old Church Slavonic and Old Russian *verbum finitum* *byti*, «Word», t. VII, № 2, 1951 стр. 69–103. Ср. противоположное мнение А. Досталд, который считает возможным говорить о *бѣхъ* как аористе лишь по происхождению, а не с точки зрения семантической или функциональной. Studie o vidovém systému v staroslovenštině, Praha, 1954, стр. 150.

чески связанное с ним существительное *послухъ* в значении «новиновене, послушание»¹⁴.

Там же образование глагола от имени иллюстрируется примером *укрѣпѣти* < *крѣплькъ*. Реальные словообразовательные связи здесь должны быть представлены в ином виде: *крѣпѣкъ* — *крѣпѣти* — *укрѣпѣти* (переходный глагол), с которым уже и соотносится как суффиксальное образование непереходный глагол *укрѣпѣти*.

Предпринятая в книге Метьюса попытка дать синтетическую картину становления русского языка на протяжении около девяти веков, безусловно, представляет интерес. Однако решение поставленной задачи в целом нельзя признать удачным, поскольку расширение хронологических рамок в значительной степени достигается за счет упрощения и схематизма в описании явлений. Местами же это повело к непропорциональности освещения в равной мере существенных, но хронологически разновременных процессов. Меньшая осведомленность читателя о языковых фактах древности, естественно, потребовала от автора сконцентрировать внимание на этом периоде в ущерб глубине раскрытия не менее важных процессов позднего периода. Вытекающие отсюда неоправданные искажения в изображении перспективы развития языка наиболее очевидны в разделах, посвященных стилистическим и лексическим явлениям. С интересом читается раздел о стилях древнерусского языка на уровне XII века (стр. 141—147), особенно о практике первых славянских переводов с греческого языка и последующих изменениях ее, причем положения автора иллюстрируются конкретными, хотя и несколько формальными, сопоставлениями текстов, о становлении литургического стиля и административного (делового) как его полярной стилистической крайности. Этим вопросам уделяется внимание и в главе о развитии стилей вплоть до XX века (стр. 265—282). Но если стилям XII—XV веков отведено в книге в целом около 15 страниц, то характеристике стилистического многообразия русского языка от эпохи Петра I до наших дней уделено менее 6 страниц (из них полторы XIX—XX вв.). Энергичное проникновение в древнерусскую литературу живого языка в XVII веке в основном сводится к недифференцированному перечню стилистически неоднородных произведений. Мало способствуют прояснению и такие замечания, как «стиль Аввакума смешанный и известен в русском языке как вяканье»¹⁵ (стр. 276), когда говорится о взаимодействии книжного и живого языка. Своеобразие стилистики Гоголя, Белинского, Чернышевского и др. оценивается главным образом в духе подверженности их западному влиянию, и даже революционизирующему воздействию Пушкина на русский литературный язык отводится довольно скромная роль. Нашему же времени приписывается противопоставление литературного индивидуализма немногочисленных преемников традиций символизма утомительной напыщенности журналистского стиля.

К лексическим разделам книги трудно предъявлять высокие требования уже по той причине, что ни одна из исторических грамматик русского языка пока не дала хотя бы относительно удовлетворительного описания эволюции словарного состава русского языка. Подобно авторам других пособий, Метьюс в разделе «Лексические изменения» рассматривает, с одной стороны, исторически обусловленные изменения

¹⁴ И. И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка*, т. II, стлб. 1239.

¹⁵ Сам Аввакум использует это слово, иронизируя по поводу манеры своего изложения.

нескольких лексико-семантических групп (смена языческой терминологии христианской; изменения в наименованиях социальных групп в связи с развитием феодализма, изменения номенклатуры денежных единиц, системы мер и весов, юридической терминологии и др. — стр. 245—252). С другой стороны, оставаясь и здесь верным своим склонностям, Метьюс тринадцать страниц из двадцати посвящает истории заимствованных слов, затрагивая попутно некоторые моменты противодействия их проникновению в XIX—XX вв. (стр. 252—264). Но как раз в этих разделах из-за односторонности освещения возникает искаженная картина действительных путей развития русского словаря. Было бы, конечно, нелепо отрицать иноземный источник происхождения слов, упоминаемых на стр. 252—263. Однако этот вопрос имеет и другую сторону: какое представление о формировании словарного состава русского языка, о соотношении различных по происхождению лексических слоев может сложиться в конечном счете у зарубежного читателя книги Метьюса. И можно с уверенностью сказать, что представления о народной основе русского языка он не получит.

Прав Метьюс, когда, возражая В. Далю, говорит о невозможности схватить ни одним из пятнадцати указываемых Далем русских синонимов точный смысл заимствованного слова *кокетничать*. Но верен также и тот факт, что многие из этих слов вошли в состав национального русского языка в тех или иных своих значениях. Верно и то, что основу лексического богатства русского литературного языка составляют десятки тысяч слов, рожденных в живом народном языке и извлеченных усилиями национальных писателей. Между тем этой стороны вопроса Метьюс абсолютно не касается, проявляя интерес лишь к иноязычным воздействиям на язык классиков русской литературы. Конечно, автор волен в своих привязанностях, но в учебном пособии подобная односторонность никак не может быть оправдана. В главе о лексических изменениях не находится места даже для упоминания имени Пушкина, хотя приводится ряд побочных фактов, затрагивается деятельность Карамзина, Шишкова, Даля.

Что же касается современной русской художественной литературы, то самой примечательной чертой ее словаря в представлении автора оказывается перегруженность вульгаризмами, провинциализмами, жаргонизмами, а также акронимами, сокращениями и штампами. Это довольно одностороннее суждение обусловлено отсутствием необходимой дифференциации между лексикой литературного языка как языка нормированного и нелитературной лексикой во всем ее социальном и экспрессивно-стилистическом многообразии, используемой писателями с совершенно определенными целями. Поэтому на одном «уровне» Метьюсом приводятся такие слова, как *шамать*, *ухрать* (следует *ухрять*), *культпрон* и т. п. (стр. 264). Об отражении в лексике нашего времени исторических изменений в экономической и социальной жизни после 1917 года не сказано, в сущности, ничего.

Один из наиболее серьезных недостатков книги Метьюса, тем более ощутимых в учебном пособии, — отсутствие показа общих тенденций развития языка, глубокой закономерности и взаимосвязанности языковых изменений. Обилие фактов, эволюционные изменения на протяжении около девяти веков давали автору хороший материал для обобщений, однако этой возможностью он не воспользовался. Поэтому описание даже таких глубоких процессов, как последствия падения редуцированных, унификация типов склонения существительных, разрушение старой системы прошедших времен, имеет характер фрагментарных

этидов. Даже разделы об индоевропейском и общеславянском языках оказываются во многом «вещью в себе», а не основой для выявления тенденций, получивших впоследствии развитие на почве отдельных славянских языков¹⁶.

Несколько частных замечаний.

О первом русском глоссарии в составе Новгородской кормчей 1282 г. «Рѣчь жидовьскаго языка преложена на рускую» (лл. 613—615) говорится как о содержащем еврейские слова (Hebrew words — стр. 309). Действительно, среди объясняемых библейских собственных имен и культовых слов преобладают еврейские по происхождению. Как правило, они раскрываются подбором русских эквивалентов, соответствующих объясняемому скорее идеологически, чем семантически. Однако говорить лишь о еврейских элементах глоссария не будет правильным, так как, помимо них, в нем содержится целый ряд толкований славянских слов, распространенных в церковно-литургической литературе: *ковъ — леть, бритва — стриголникъ, не ключно — не надобъ, тина — грязь, зѣло — велми* (л. 613), *степень — лѣствица* (л. 615) и др.

Иногда смешиваются древнерусские и старославянские формы и вторые выдаются за первые (как древнерусское определяется *юноша* (не *оуноша!*) — стр. 107, *юнъ* — стр. 137).

На стр. 108 примеч. 4 краткая форма порядкового числительного *първъ* для среднего рода почему-то приводится в виде *първе*, а не *първо*.

Значение наречия *въсюду* переводится на английский язык сочетанием «*from everywhere*» (стр. 128), которому должно было бы соответствовать древнерусское *отъвьсюдоу*.

Написанный В. К. Метьюсом систематический, хотя во многом слишком беглый, очерк эволюции русского языка составляет примечательное явление в зарубежной литературе по русскому языку последних лет. Однако целый ряд спорных или слишком субъективных соображений, а иногда и просто ошибочных замечаний требуют известной критичности от читателя этой безусловно полезной книги.

¹⁶ На этот момент уже обратил внимание E. Dickermann в своей рецензии на книгу Метьюса «Die Welt der Slaven», Jahrgang VI, 1961, Heft 4, Wiesbaden, стр. 444.

Г. И. БЕЛОЗЕРЦЕВ
(Институт русск. языка АН СССР)

НОВАЯ КНИГА ОБ АЛЕКСЕЕ ТОЛСТОМ¹

Издание такого учебного пособия, как Семинарий по А. Н. Толстому, продиктовано насущной потребностью. А. Н. Толстой — один из классиков советской литературы, сыгравший большую роль в формировании нашего социалистического искусства. Творчество его широко изучается сейчас и будет еще больше изучаться в ближайшие годы. Огромные тиражи изданий его книг и особенно закончившееся недавно выпуском десяти томное собрание сочинений, напечатанное шестисоттысячным тиражом, — все это указывает на растущий интерес к творческому наследию писателя.

Уже давно выпущены Учпедгизом семинарии по творчеству целого ряда других русских писателей, и то, что до сих пор не было Семинария по А. Толстому, можно расценивать лишь как досадное упущение.

Теперь этот пробел восполнен появлением рецензируемой книги, написанной ленинградскими литературоведами И. С. Рождественской и А. Г. Ходюком.

Какого рода общие требования предъявляются к подобного типа изданиям? Что должны найти в них читатели — прежде всего студенты, аспиранты, молодые преподаватели? Кратко можно было бы об этом сказать так: Семинарий должен давать некоторую первичную ориентировку в имеющейся научной и критической литературе, вводить в основную проблематику изучения творчества данного писателя; должен содержать некоторые необходимые сведения об изданиях его сочинений, о его биографии и связанных с ней хронологических датах и т. д. и т. п.

Но, главное, важно, чтобы Семинарий помогал начинающим специалистам в выработке твердой методологической основы, обеспечивающей настоящее научное освещение изучаемого автора. Слоном, любой Семинарий — это не просто краткая библиографическая памятка, а пособие-справочник, дающее определенные указания методического характера.

В соответствии как раз с таким замыслом и построена интересная книга Рождественской и Ходюка. Она состоит из следующих основных разделов: I — История изучения творчества А. Толстого; II — Жизнь и творчество А. Толстого в датах и фактах; III — Темы самостоятельных работ; IV — Издания произведений А. Толстого в СССР и за рубежом;

¹ И. С. Рождественская, А. Г. Ходюк, А. Н. Толстой, Семинарий. Ушенин, Л., 1962.

V — Библиографические указатели произведений А. Толстого и литературы о нем; VI — Диссертации о творчестве А. Толстого.

Прибавлять сюда еще какие-нибудь разделы, как нам кажется, нет необходимости. Весь этот материал достаточно широк и направляет внимание читающих к уяснению действительно важных и существенных сторон многогранного творчества писателя.

Надо подчеркнуть в самом начале, что общее понимание авторами книги места А. Толстого в нашей литературе, освещение его роли в развитии метода социалистического реализма основываются на новейших, современных работах и монографиях о писателе, отражая достижения марксистского литературоведения последних лет. А. Толстой раскрывается как замечательный художник слова и писатель больших идей, прошедший, однако, сложный и противоречивый путь развития; будучи захвачен идеями революции, писатель сумел выйти к вершинам своего творчества уже в послеоктябрьскую эпоху и завоевал себе мировую славу. Автор «Хождения по мукам» и «Петра Первого», он выступил как один из тех мастеров советской художественной прозы, в ком с поразительной силой проявились национальные традиции русской классики, традиции, творчески им развитые и обогащенные новым.

Для изучающих А. Толстого прежде всего особый интерес представляет первый раздел — обзор критических и литературоведческих трудов об А. Толстом за пятьдесят лет. Написанная И. Рождественской, эта, так сказать, историографическая глава дает чрезвычайно важный и ответственный материал. Это по существу целое исследование, поскольку здесь говорится о множестве разных статей, старых рецензий, монографий, частью полузабытых, о столкновении различных, иногда резко противоположных тенденций истолкования творчества А. Толстого в критике.

И все-таки при такой видимой пестроте материала некая общая целостная картина литературно-критической борьбы вокруг творчества этого писателя получилась обрисованной довольно выпукло. Читателям становится ясно, как далеко не сразу, а постепенно, в процессе напряженных исканий, в ходе преодоления эстетских позиций или упрощенного социологизаторства, наша критика приближалась к широкому, подлинно научному пониманию творческого наследия А. Толстого.

Вот тут-то как раз реализуется в значительной степени одна из тех задач семинара, о которой говорилось выше: ознакомление с опытом и поисками предшествующих исследователей, уяснение ошибочности ряда их выводов — все это помогает определить собственные методологические установки, содействует их выработке.

В обзоре справедливо акцентируется важность известных горьковских высказываний об А. Н. Толстом, оказавших плодотворное влияние на весь процесс постепенного уяснения и раскрытия творческого облика писателя. Из обширной и многочисленной критической литературы об А. Толстом при этом удастся рассмотреть здесь, конечно, не все: статьи или книги, менее значительные, мало оригинальные (скажем, например, статьи Ю. Акимова, книжка Т. Веселовского и некоторые другие), естественно, должны были остаться за пределами обзора. Но зато из старых работ 20-х и 30-х годов извлекаются и такие, которые замалчивались в годы культа личности, например, яркая книга А. Старчакова или вступительная статья к Собранию сочинений А. Толстого П. Медведева. Напечатанная вскоре после войны монография об А. Толстом И. Векслера, в свое время недооцененная и даже вызвавшая некоторые необоснованные упреки, теперь приподнимается в своем

значении (подчеркивается немало интересного в трактовке П. Векслера «Хождения по мукам» и «Петра Первого»).

Весь этот обзор литературы не носит характера простого перечня в хронологической последовательности тех или иных трудов. Различные высказывания и взгляды критиков группируются по проблемам, располагаются вокруг определенных узловых вопросов изучения А. Толстого. Историчность подхода к этим частью старым критическим работам и дискуссиям не переходит в очерке в безразлично-равнодушный объективизм. Авторская оценка достаточно отчетливо проступает во всех этих характеристиках.

Вместе с тем следует сделать некоторые критические замечания по этому обзору, кое с чем нельзя здесь согласиться.

В конце обзора интересно говорится о дальнейших перспективах и задачах изучения наследия А. Толстого, но хотелось бы, чтобы с гораздо большей силой прозвучала сейчас мысль о необходимости раскрытия А. Толстого именно как художника, мастера слова, призыв исследовать богатейшую словесную ткань его произведений. В этом направлении можно было бы и наметить ряд конкретных вопросов, тем.

В ходе самого обзора не уделено внимания очень интересной и важной для понимания стиля А. Толстого проблеме — его теории о роли жеста, о применении этой теории в творческой практике писателя в работе над словом. По этому поводу говорится очень бегло, несколькими фразами на стр. 93, причем критикам и литературоведам ставится в вину абсолютное однообразие в освещении этого вопроса, повторение якобы одних и тех же очевидных и ясных положений. На самом деле это совсем не так; тут многое еще не выяснено, и исследователи стиля А. Толстого далеко не единодушны даже в понимании того, что же составляет главное в этой толстовской теории жеста. То имеют в виду жест, движение персонажа как замену описания его внутреннего состояния (припомним, например, как Телегин, слушая Дашу, от смущения сгибает и разгибает серебряную чайную ложечку). Но иногда разумеют и такой жест, который воплощен, «закреплен» в той или иной характерной выразительной интонации фразы, в самом строе повествовательной речи.

О ряде критических статей второй половины 30-х годов, посвященных особенно «Хлебу» А. Толстого, выступлений, в которых нашли свое отражение отзвуки периода культа личности, в обзоре говорится несколько общо и недостаточно резко (см. стр. 56 и 60). Здесь следовало прямо подчеркнуть, что многие из рецензентов по существу даже не давали тогда конкретного анализа повести «Хлеб», проходили совершенно мимо ее слабых сторон, впадая в самое неприкрытое славословие.

Жаль, что в обширный обзор критики об А. Толстом почти не попали те статьи, рецензии о его произведениях, которые выходили в последние годы за рубежом. Среди них есть не только написанные во враждебном тоне, тенденциозно извращающие и искажающие его писательский облик, но и сравнительно объективные и подчас вносящие даже что-то интересное. Можно сослаться, например, на статью Жоржа Нива о романе «Петр Первый», опубликованную недавно на французском языке в журнале, выпускаемом в Сорбонне². Интересно писали об А. Толстом также некоторые литературоведы в Болгарии, Чехословакии и Польше. Думается, что молодым специалистам уже со студен-

² Cahiers du monde russe et soviétique, t. II, Paris, 1960.

ческих лет мы должны прививать некоторые навыки работы с критической литературой, выходящей на иностранных языках.

Второй раздел Семинария «Жизнь и творчество А. Н. Толстого», написанный А. Г. Ходюком, представляет собой краткую сводку важнейших биографических сведений о писателе. Это такой материал, который нужно всегда иметь под рукой изучающему творчество А. Толстого, поэтому он и занял довольно значительное по объему место в книге.

Сухое упоминание фактов, событий, хронологические даты все время перемежаются здесь с выдержками, цитатами из писем, мемуаров, газетных заметок, официальных бумаг, помогающими нам выпуклее представить себе тот или иной этап жизненного пути А. Толстого. Этот раздел Семинария читается с живым интересом и кое-где напоминает нам даже страницы тех известных биографических монтажей, которые когда-то создавал В. Вересаев («Пушкин в жизни»).

В характеристике событий жизненного пути А. Толстого здесь сделан правильный упор на освещение самого главного, т. е. того, что связано было именно с творческой работой писателя, с его литературным окружением, его широкой общественной деятельностью. Автор этого раздела подошел с осторожностью к характеристике менее разработанных у нас периодов биографии писателя (годы пребывания А. Н. Толстого за рубежом изложены у него более чем лаконично и скупно. См. стр. 142—143). Наоборот, другие страницы наполнены обильным биографическим материалом, и это потому, что он оказался достоверен, проверен, а в ряде случаев, как это указано, основывается на специальных разысканиях такого видного биографа этого писателя, как Ю. А. Крестинский.

Едва ли не самое центральное место в книге занимает раздел третий — тематика самостоятельных работ по А. Толстому. Действительно, очень важно наметить возможные направления и аспекты изучения данного писателя, указать те вопросы, которые заслуживали бы в первую очередь быть разработанными на материале его произведений. Авторы Семинария (они оба являются составителями этого раздела) рекомендуют большое количество разнообразных тем, тем, различающихся по своему объему и по степени трудности, новизны, оригинальности и т. д. Здесь есть и довольно обычные, «учебного типа» темы (например: Научно-фантастический роман «Аэлита»; Сатирические рассказы и повести А. Толстого о белой эмиграции) и темы, мало разработанные, «творческие», пригодные скорее для разработки их студентами-дипломниками или даже аспирантами (например: Алексей Толстой — мастер рассказа; Алексей Толстой и Достоевский; Алексей Толстой и современность).

Нам кажется естественным, что состав рекомендуемых тем неоднороден. Важно при этом одно: чтобы не затрачивались попусту силы на темы малопродуктивные, незначительные, боковые и чтобы, наоборот, не оставались вне поля зрения темы, которые способны как-то обогащать общее понимание творчества А. Толстого, уяснять его место в большом потоке литературы. Вряд ли могут дать много такие «периферийные» темы, как, например, 59 и 60 («Хождение по мукам» в театре и кино; Принципы литературной обработки А. Толстым произведений исторического и научно-фантастического жанра для детей), для уяснения общего писательского облика А. Толстого. Одна из них скорее нужна для теории и истории кино, другая более важна для тех, кто изучает специально детскую литературу. Тема 39 — Женские ха-

рактеры в пьесах «Орел и орлица» и «Трудные годы» тоже несколько искусственно сужена и в этом смысле мало мотивирована. Здесь скорее нужна была бы такая тема: Характер драматического конфликта в «Иване Грозном» и своеобразие композиционной формы диалогии.

Среди указанных в семинарии тем есть, конечно, темы свежие, не шаблонные (назову здесь хотя бы две: Ирония и юмор в «Хождении по мукам», «Петр Первый» и пути развития советского исторического романа), но такого рода тем надо было бы ввести больше.

Сопровождающие темы разъяснительные пункты, тезисы, так сказать, «развороты» этих тем, конечно, полезны, но надо признать, что не во всех случаях они предложены в достаточно продуманных формулировках. Тут встречается иногда некоторая угловатость и неотработанность. Например, в теме 23 читаем: Черты сходства языка первой части «Хождения по мукам» с языком романов Тургенева, Достоевского, лирической поэзии А. Блока. Надо было сказать точнее — об особом использовании А. Толстым некоторых элементов стиля, художественно-языковой формы указанных авторов. На стр. 236 невразумительно сформулирован такой тезис: Стилиевые контрасты в сценах встреч Ивана IV с А. Вяземской как выражение трагедии царя. В пояснениях к 57 теме бросается в глаза такая фраза: «Выявление драматургического опыта А. Толстого на разработку проблем литературного языка».

В пояснении к теме 8 «Автобиографическая повесть «Детство Никиты» досадно ощущается отсутствие весьма необходимого тезиса о своеобразии художественно-языковой ткани этого произведения. Ведь в «Детстве Никиты» именно язык и стиль выполняют особенно важную эстетическую функцию.

По каждой теме авторы Семинария приводят в качестве пособий те или иные книги или статьи. Это практикуется всегда в такого типа изданиях. Но важно, чтобы не пропускались, не выпадали здесь значительные и интересные статьи. Вот, к сожалению, в теме 58 об «Иване Грозном» А. Толстого на сцене пропущена статья А. Попова и М. Кнебель «Н. П. Хмелев — Иван Грозный» (см. Ежегодник МХАТа за 1945 г., т. 2, 1948), которая дает много интересного о сценической интерпретации образа Грозного Хмелевым.

Раздел четвертый Семинария знакомит с основными изданиями произведений А. Толстого на русском языке — преимущественно с собраниями его сочинений и изданиями трилогии «Хождение по мукам» и романа «Петр Первый». Это сделано достаточно обстоятельно и точно и практически даст немало полезного читателям Семинария.

Для того чтобы уяснить, насколько широко переведены произведения А. Толстого на другие языки, в Семинарии приводятся данные о переводах его книг на иностранные языки и языки народов СССР.

Есть в Семинарии небольшой раздел — библиографические указатели произведений А. Толстого и литературы о нем. Но раздел этот довольно скуден, и указанное в нем подчас лишь частично связано с А. Толстым. Дело в том, что до сих пор у нас еще не появлялось настоящей солидной библиографии произведений писателя и литературы о нем. Такой специальный библиографический справочник об А. Н. Толстом крайне необходим, и пока его нет, данный Семинарий (своим библиографическим материалом) во многом может заменять его.

Досадно, что в тексте книги кое-где встречаются некоторые искажения и фактические неточности, своевременно не устраненные редак-

нией. На стр. 126 упоминается стихотворение А. Толстого «Хвала», посвященное А. М. Ремизову. Должно стоять «Ховала». На стр. 144 по ошибке попала в текст фамилия А. Блока, которого в 1922 г. уже не было в живых. Встречаются опечатки и в инициалах ряда упоминаемых критиков.

Однако, заключая рецензию, надо сказать: при всех указанных здесь недоработках и пробелах, Семинарий И. Рождественской и А. Ходюка представляет собой в целом серьезную, интересно составленную книгу. Авторы вложили в нее большой труд и значительный методический опыт. Можно быть уверенным, что Семинарий по А. Толстому войдет прочно в круг необходимых пособий для высшей школы.

А. В. АЛПАТОВ

(Московский государственный университет)

W. Wimmel, *Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der Augusterzeit*, Wiesbaden, 1960, 306 S.

(«Hermes», Einzelschriften 16)

Вопрос связи поэтики эллинизма с поэзией «золотого века» римской литературы не нов в исследованиях ученых¹. Интерес к нему усилился в связи с папирусными находками в Египте². Еще Кроль³ отметил, какое большое влияние оказала эллинистическая литература на римскую. Изучению связи между римской и эллинистической поэзией был посвящен также и симпозиум ученых в 1953 году⁴.

В рецензируемой книге В. Виммель занимается только частью этого вопроса, анализируя влияние апологетических стихотворений Каллимаха на римских поэтов «золотого века». К ним относятся: литературно-критические эпиграммы, гимн «К Апполону», «Ямбы» и вторая редакция пролога «Причин».

Именно эти стихотворения представляют наибольший интерес. Их автор анализирует после введения, в котором охарактеризован в целом литературный процесс времени Августа и место, занимаемое в нем эллинистической (литературы) поэзией, а также некоторые частные вопросы, на которых ввиду объема рецензии нет возможности очень подробно останавливаться (стр. 3—50). И это вполне закономерно. Ведь анализ этих произведений Каллимаха тем более необходим, что в настоящее время среди ученых нет единого мнения относительно их интерпретации, а когда речь идет об испорченных местах пролога «Причин», то и относительно дополнений⁵. Автор книги исходит из наличия у Кал-

¹ J. Manteuffel, *Kallimachos und die römische Literatur*, «Eos», 40 (1946), 1, стр. 73 и сл.

² Так, благодаря находке «Ямбов» Каллимаха, стало возможным изучение влияния его на Луцилла и частично на Горация.

³ W. Kroll, *Studien zum Verständnis der römischen Literatur*, Stuttgart, 1924.

⁴ L'influence grecque sur la poésie latine de Catulle à Ovide, «Fondation Hardt pour l'étude de l'antiquité classique», Genève, 1953.

⁵ Особенно горячая дискуссия развернулась вокруг дополнения и интерпретации стр. 9—13 пролога «Причин». См. A. Rostagni, *Scritti minori*, II, I, Torino, 1956; Barigazzi, *Mimnermo e Filite, Antimaco e Cherilo nel proemio degli Aitia di Callimaco*, «Hermes», 84 (1956), а также работы Н. Puelma, *Kallimachos interpretationen* («Philologus», 101, (1957), стр. 100), W. Wimmel, *Philite im Aitienprolog des Kallimachos*, («Hermes», B. 86, Hft. 3, (1958), стр. 346). См. также работы: Zur Frage der literarischen Kritik im Prolog der Aitia des Kallimachos *Miscellanea Alexandrina*, Torino, 1963, стр. 80 и след., где анализ дополнений и соответствующей литературы дается более подробно.

лимаха ряда образов, которые служат для иллюстрации его литературных принципов (напр., образ чистой пути, питье воды из чистого источника и т. д.). Их использовали и поэты в Риме.

Третий раздел книги посвящен анализу этих же мотивов в римской поэзии. В. Виммель делит весь имеющийся в его распоряжении материал на три группы, которые должны отвечать трем периодам развития каллимаховских образов в римской поэзии:

I период — ранний («Буколики» и «Георгики» Вергилия, ранние произведения Горация);

II период — расцвет апологетической формы у Проперция; любовные элегии Овидия;

III период — поздний (Гораций, поэзия Овидия периода ссылки).

На стр. 320—355 автор рассматривает эти же мотивы у Персия и Стация, после чего следуют заключение и выводы.

Что же можно сказать о рецензируемой книге?

Отметим, что она — первая попытка собрать и обобщить весь относящийся к данному вопросу материал. Большая заслуга В. Виммеля в том, что он занялся довольно сложной проблемой влияния эллинистической поэзии на римскую, привлек много новых параллелей, предложил оригинальную интерпретацию ряда мест из произведений как греческих, так и римских поэтов.

Он верно отметил противопоставление Диониса Аполлону в поэзии Каллимаха (стр. 54) и связанное с ним противопоставление «пьющих воду» каллимаховцев (*Wassertrinker*) — «пьющим вино» антикаллимаховцам (*Weintrinker*). Следы такого противопоставления можно найти и в любовных элегиях Овидия (III, 15, 17 и сл.). Очень интересна интерпретация 30 элегии из второй книги Проперция (II, 30, 40), где Виммель усматривает связь Проперция с Корнелием Галлом.

Однако с некоторыми предложенными Виммелем толкованиями нельзя согласиться, так как он приходит к абсолютизации формы произведения, отрывает ее от содержания. Проникновение апологетических каллимаховских мотивов в римскую поэзию для Виммеля «Voraussetzungen der Form», «Blüte der Form», «Lockerung und Weitung der Form», «Formen letzter Delikatesse» (стр. 189).

Правильно отметив противопоставление Диониса Аполлону в поэзии Каллимаха⁶, Виммель не пошел дальше, и это противопоставление осталось для него только формой проявления апологетики.

В современных зарубежных исследованиях господствует взгляд на литературу эллинизма, как на нечто, полностью оторванное от общественных условий. Особенно ярко ученые этого направления выражают свои взгляды в оценке Каллимаха и его места в литературе эллинизма. В работах Перротти⁷, Говальда⁸ и других Каллимах изображается предтечей современных декадентов, поэтом «l'art pour l'art». Исходя из предвзятых эстетствующих позиций, они отрицают наличие спора между Аполлоном Родосским и Каллимахом, пытаются доказать, что эллинистическая литература развивалась «бесконфликтно», «единым потоком»⁹. К сожалению, этим взглядам следует и Виммель, что обнаружи-

⁶ Возможно, оно имеется и в 191 стр. (ст. 7—8) «Ямбов» Каллимаха (по Пфейфферу): κατινύεσθ' οὐμ [—Δίω] νύσθον [καλῶν τῆ] Μουσῶν [... 'Απολλῶνος.

⁷ G. Perrotti, *Disegno storico della letteratura greca*, Milano-Messino, 1956.

⁸ E. Howald, *Der Dichter Kallimachos von Kyrene*, Zürich, 1943.

⁹ Необходимо отметить, что этим неверным взглядам дала отпор советская исследовательница Н. А. Чистякова (ВДИ, № 2, 1960, стр. 219).

вается в интерпретации эпизода с Завистью во втором гимне Каллимаха.

Раньше ученые видели здесь аллегорическое отражение спора между Аполлоном Родосским и Каллимахом. В настоящее время зарубежные ученые не считают эпизод с Завистью свидетельством литературной борьбы в Александрии. Виммель видит в этом эпизоде всего лишь мотив, заимствованный из басен Эзопа, где Мом и Фтон выступают как воплощение недоброжелательной критики. Но даже если мы и согласимся с Виммелем, что ст. 105 и сл. второго гимна Каллимаха содержат эзоповские мотивы, то это отнюдь не может служить доказательством ошибочности античной традиции о споре между Аполлоном Родосским и Каллимахом. Во-первых, существенное значение при интерпретации ст. 105 и сл. имеет текст предшествующей части гимна, в которой находим политические намеки, важные для его датировки. В связи с этим Виммель, обыкновенно критически анализирующий предшествующую ему литературу, отсылает читателей к работе П. фон дер Мюля¹⁰, доводы которого относительно датировки гимна неубедительны. Политические намеки содержатся в гимне в завуалированной форме (характерно, например, отождествление Аполлона с Эвергетом). Это дает право предполагать, что в эпизоде с Завистью содержится намек на события из литературной жизни в Александрии, связанные с поддержкой Каллимаха Эвергетом.

Во-вторых, эзоповские мотивы в гимне «К Аполлону» — не единственный пример использования их Каллимахом. Как известно, они встречаются и в «Ямбах». Однако нет ни одного места, где эзоповские мотивы не были бы средством литературной полемики, направленной против определенных лиц. Хаусрат¹¹, тщательно исследовавший второй «Ямб» Каллимаха (отр. 193 по Пфейфферу), приходит к заключению, что в нем Каллимах воспользовался басней Эзопа для выступления против современных ему поэтов.

Итак, даже если и верно замечание Виммеля об использовании во втором гимне эзоповских мотивов, то оно не может служить обоснованием для отрицания спора между Каллимахом и Аполлоном, несомненно, отраженного в данном гимне¹².

В книге Виммеля встречаются поверхностные, не всегда продуманные определения. Так, на стр. 3 читаем, что «Каллимах и Октавиан действительные противники (die wirklichen Gegnerfiguren) в новоразгоревшейся борьбе стилей». Это предложение следует, очевидно, понимать в том смысле, что Август объявил себя антикаллимаховцем, а поэты, ориентирующиеся на Каллимаха, были оппозиционно настроены к нему.

В действительности вопросы стиля интересовали Октавиана настолько, насколько представители того или иного литературного направления поддерживали его политику, сделав свои произведения руном официальной идеологии. Нет оснований считать, что поэты «золото-

¹⁰ P. von der Mühl, Die Zeit des Apollohymnus des Kallimachos, «Museum Helveticum», 15 (1958) стр. 1 и сл. Гимн датируется около 270 г., причем в статье отсутствует разбор литературы вопроса, недостаточно охарактеризована политическая тенденция гимна, что отражается на убедительности изложения.

¹¹ Hausrath, Ζεῦς καὶ τὰ ἄφρονα Die unbekannte Äsopfabel im Iambenbuch des Kallimachos, «Gymnasium», 56 (1950), стр. 54 и сл. С этой статьей я смог познакомиться благодаря любезной помощи проф. И. Ирмшера, которому пришлось глубокую благодарность.

¹² К этим же стихам гимна сохранилась схолия, в которой находим несомненный отзвук литературной борьбы в Александрии. Подлинность ее отрицается, по моему мнению, тоже без достаточных оснований.

го века», используя апологетические каллимаховские мотивы, выступали против Августа. Так, Вергилий, говоря в «Буколиках» (VI, 5) *pastorem... pinques pascere oportet oves, deductum dicere carmen*, перекликается с Каллимахом (отр. I, 17 и сл. по Пфейфферу: *ἄοιδε, τὸ μὲν θνῶς, ὅτι πᾶχιστον [θρέχει, τή]ν Μοῦσαν... λελτοταλῆν*, но тем не менее ни в «Буколиках», ни в «Георгиках», где он наиболее следует александрийским образцам (ср. Виммель, рец. книга, стр. 241), мы не находим враждебных выпадов против Октавиана.

И у Проперция ссылки на Каллимаха и Филета также не являются доказательством его оппозиционного отношения к Октавиану. Их нет в первой книге элегий, где поэт (с. 21) допустил явный выпад против Августа, с глубоким сочувствием упоминая о своем родственнике, погибшем в сражении на стороне противников Августа. Начиная со второй книги (II, 1, 40; II, 34, 32; III, 1, 1; III, 9, 43; IV, 1, 64), появляются указания на Каллимаха и Филета, как на образцы, которым Проперций подражает. И хотя поэт во второй книге (с. 7) радуется непринятию проекта *lex Julia de maritandis ordinibus*, в той же книге встречаем тему женской безнравственности. Поэт сожалеет о падении нравов в современном ему обществе, что вполне соответствовало политике Августа, а в 10 элегии той же книги Проперций говорит о своем желании воспеть деяния Августа.

Одновременно с отказом работать над созданием большой поэмы Проперций считает своим долгом рекламировать фактически еще не созданную «Энеиду» Вергилия, а сам откликается рядом элегий, прославляющих Октавиана в типично каллимаховском духе.

Отсюда следует, что ссылки на Каллимаха и использование отдельных поэтических образов из его апологетических стихотворений не являются сами по себе выражением оппозиционного отношения к Октавиану. По-видимому, действительно отказ Проперция от создания большой поэмы о деяниях Августа выражал лишь его личные склонности к определенному поэтическому жанру.

Гораздо сложнее обстоит дело со стихотворениями Овидия и Горация. У первого каллимаховские мотивы в «Любвных элегиях» можно действительно связать с критикой мероприятий Августа. Однако этого нельзя сказать о его произведениях более позднего периода, на которых отразилась эволюция взглядов поэта на деятельность Августа¹³. Что же касается Горация, то использование им каллимаховских мотивов требует более внимательного анализа, чем тот, который мы находим в книге Виммеля¹⁴.

Дело в том, что Гораций в своих произведениях в большей мере следовал Алкею и другим греческим лирикам, чем Каллимаху¹⁵. Неудивительно, что из многочисленных мест Горация, предложенных Виммелем в качестве апологетических мотивов из Каллимаха, не все достаточно убедительно.

¹³ История римской литературы, т. I, М., 1959, стр. 460.

¹⁴ Вопрос о соотношении между поэтикой Каллимаха и произведениями Горация рассматривали: R. Reitzenstein, *Horaz und die hellenistische Lyrik*, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum»; 21 (1908), стр. 81 и сл.; F. Wehrli, *Horaz und Kallimachos*, «Museum Helveticum», I (1944), стр. 69 и сл.

¹⁵ Отмечу некоторые работы, посвященные вопросу о соотношении между поэзией Горация и греческой лирикой: F. Leo, *De Horatio et Archilocho*, Progr. Göttingen, 1900; U. Wilamowitz-Möllendorf, *Sappho und Simonides*, Berl., 1913, стр. 305 и сл.; S. L. Highbarger, *The Pindaric Style of Horace*, «Transaction of American Philological Association», 66 (1935), стр. 222 и сл. В этом отношении показательный отрывок из посланий Горация (II, 2, 90-92; 99-101).

Так, Виммель (стр. 46) видит в эпитетах у Горация (с. 2, 12) *longa bella, feræ Numantiae, durum Hannibalem, mare purpureum sanguine* стиливо-символические выражения, служащие для смешивания военной и стиливо-эстетической (sic!) сфер. Аналогичные места можно найти и в разделах о Проперции¹⁶.

Заслуживает внимания вопрос соотношения между «Сатирами» Горация и «Ямбами» Каллимаха. В работах зарубежных ученых постоянно сравнивается Каллимах с Горацием¹⁷. Но это сравнение используется для подмены Луциллия Горацием, поэтому неубедительно¹⁸.

Вопрос о том, кто больше влиял на Горация — Луциллий или Каллимах — до настоящего времени остается открытым. Меня убеждают доводы ученых, считающих, что Гораций больше следует в «Сатирах» Луциллию, чем Каллимаху.

К недостаткам книги Виммеля следует отнести также использование эффектных заглавий, за которыми скрывается более скромное содержание. Так, глава, где анализируется третья элегия третьей книги Проперция, имеет название «Триумфальное совершенство упрощенной римской формы (!) апологетики (стр. 214)». Не говоря уже о том, что подобное заглавие может дезориентировать читателя, оно указывает и на недостаточно ясное понимание автором сущности литературного процесса «золотого века» римской литературы. В книге встречаются и неудачные формулировки. На стр. 223 Виммель утверждает, что море во втором гимне Каллимаха (ст. 106 и сл.) — символ громко звучащего пенья (*laut-tönendes Singen*), тогда как более правильно было бы указать, что море в данном случае служит для сравнения малого поэтического произведения с большим по размеру.

Не все произведения и фрагменты, относящиеся к теме книги, Виммель анализирует глубоко. Так, очень поверхностен анализ «Ямбов» (стр. 126—128); совсем не анализируется «Ибис» Овидия, написанный по образцу Каллимаха и поэтому представляющий большой интерес для истории апологетических, каллимаховских мотивов в Риме. Но это, конечно, не случайно, если учесть, что автор книги стоит на тенденциозных позициях современных буржуазных исследователей. Ведь более глубокий анализ «Ямбов» Каллимаха, как и всего творчества его, показал бы, что эллинистическая литература развивалась далеко не бесконфликтно, а «Ибис» Овидия, если он заимствован хотя бы по замыслу у Каллимаха, вынудил бы автора отвергнуть нелепую теорию отрицания спора между Аполлоном Родосским и Каллимахом.

Соглашаясь с Луком (указ. соч., стр. 360), что книга Виммеля как целое нас не может удовлетворить, нельзя забывать, что это только первый опыт создания монографии в данной области. Вслед за ней появятся новые исследования, и, надо надеяться, советские ученые внесут достойный вклад в изучение проблем, связанных с судьбой поэтики Каллимаха в Риме.

¹⁶ Как указал мне проф. С. Я. Лурье, в журнале «Гномон», В. 33, III, 4, стр. 360 и сл. появилась рецензия Лука на эту же книгу Виммеля. В рецензии приведены аналогичные места из Проперция.

¹⁷ M. Puelma-Piwonka, Lucilius und Kallimachos. Zur Geschichte einer Geltung der hellenistisch-römischen Poesie, Frankfurt a. M., 1949; L. Robinson, The Personal Abuse in Lucilius Satires, «The Classical Journal», 49 (1954); стр. 51—53.

¹⁸ См. М. Л. Гаспаров, Римская литература в современной буржуазной филологии, ВДИ, 1960, № 4, стр. 151.

А. П. СМОГРИЧ

Славянский государственный университет

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК И РЕЧЬ»

С 27 ноября по 1 декабря 1962 г. в I Московском государственном педагогическом институте иностранных языков проходила межвузовская конференция, посвященная проблеме «Язык и речь».

В работе конференции приняли участие представители почти всех ведущих вузов и научных учреждений страны. В течение пяти дней было заслушано и обсуждено 42 доклада и около 60 выступлений.

Во вступительном слове председатель оргкомитета Л. И. Базилевич отметил актуальность постановки проблемы языка и речи, как наименее разработанной, требующей обсуждения и широкого обмена мнениями; он указал на важность рассмотрения на конференции таких вопросов, как правомерность противоположения понятий языка и речи, характер взаимозависимости и взаимообусловленности каждой из этих категорий, определение языка и речи как объектов лингвистики, выделение единиц языка и речи и методы их анализа, целесообразность создания отдельной грамматики, стилистики и т. д. для языка и речи и многие другие.

С докладом «Основные проблемы стилистики речи» выступил В. В. Виноградов (Москва), который подчеркнул необходимость различать стилистику языка, речи и художественной литературы. Стилистика языка, или структурная стилистика, изучает соотношение форм и конструкций в системе языка и взаимодействие разных частных систем. Считая, что исследование речи должно быть выделено из проблемы индивидуального, докладчик рассматривает употребление стилей в сферах ограниченной и массовой коммуникации. В стилистике речи предметом особого изучения должна стать монологическая речь. Построение стилистики художественной литературы невозможно без стилистики речи.

В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «О соотношении языка и речи» отметила неправомерность противопоставления речи языку, ибо речь и язык представляют две стороны одного явления и характеризуются свойствами, по своей природе не контрастными, а взаимодополняющими. Однако проявляются эти свойства в языке и в речи различно. Исторические изменения также касаются как языка, так и речи, но вызываются различными причинами.

В докладе «К понятию языка и речи» Л. Р. Зиндер и Н. Д. Андреев (Ленинград) исходили из выделения четырех понятий: речевого акта, речевого материала, речи и языка. Целесообразно, по мнению авторов, отделить речевой акт от речевого материала, данного в виде множества текстов, а речь — и от речевого акта, и от речевого материала.

Язык как совокупность теоретико-множественных характеристик следует противопоставить речи как совокупности вероятностных характеристик того же речевого материала. Речевой акт и речевой материал обладают свойством упорядоченности во времени или пространстве; ни речь, ни язык этим свойством не обладают.

Вопросу «О правомерности различения языка и речи» был посвящен доклад Г. В. Колшанского (Москва), в котором было выдвинуто положение о том, что язык и речь как понятия лингвистические тождественны; следует учитывать, что язык как реальный объект един по своей сущности, язык же как научная абстракция есть лишь отражение одной из сторон реального объекта и существует в этом смысле как система правил. С этой точки зрения, язык как логико-теоретическая модель противопоставлен речи, а языку как реальному объекту.

Понимая язык и речь как диалектическое единство противоположностей, как сущность и явление, Е. М. Галкина-Федорук (Москва) в докладе «Язык и речь, их

взаимоотношения, различия, тождество» остановилась на необходимости различить и показать связь и взаимодействие единиц, относящихся к речи, и единиц, относящихся к языку.

С докладом «О предложении и фразе» выступил В. А. Артемов (Москва), который рассматривает язык как систему инвариантов речи, а фразу как систему вариантов языка. В предложении, которое, как правило, принадлежит языку, мы имеем лексемы, синтаксемы и интонымы, а во фразе, которая относится к речи, конкретную синтаксическую структуру и семантику, а также весьма вариативную интонацию.

Н. А. Слюсарева (Москва) посвятила свой доклад «Соотношение лингвистического и экстралингвистического» проблеме смысла, соотношению языка и мысли, языка и поведения человека.

Ю. М. Скребнев (Уфа), сделавший доклад «О правомерности противоположения понятий «язык» и «речь», считает, что, будучи понятиями различных планов («система-функция»), язык и речь не противостоят, а сосуществуют; дихотомию «язык-речь» целесообразно, по мнению автора, заменить дихотомией «язык-индивидуальный язык».

В коллективном докладе Р. Г. Пиотровского, П. М. Алексеева и Е. А. Чернядьевой (Ленинград) «Статистика речи и закономерности языка» рассматривались результаты лексико-статистического обследования английских и русских текстов по электронике и разбирались вопросы речевого моделирования.

Авторы доклада «Алгоритм установления системы языка на основании исследования речи» Н. Д. Андреев и Л. Д. Андреева (Ленинград) поставили вопрос о вычлениении и исследовании языковых единиц абсолютно формальным методом. В докладе последовательно описывается морфологическая, синтаксическая и семантическая часть алгоритма. Алгоритм установления морфологической системы языка по данным речи опирается на заданные границы фраз, слов и фонем (графем); алгоритмы установления синтаксической и словообразовательной системы — на результаты моделирования морфологии; алгоритм исследования семантических отношений между словами на результаты моделирования синтаксиса.

В докладе Р. М. Фрумкин (Москва) «От статистического описания речи к статистическим моделям языка» речь рассматривается как процесс функционирования языка-системы, который понимается как порождающее устройство. При построении описания языка как системы Р. М. Фрумкина считает возможным использование двух типов моделей — статистических моделей и детерминированных моделей.

Г. С. Клычков в докладе «Статистика речи и структура языка» подчеркнул, что обычная математическая теория информации ничего не может дать лингвистике, так как она рассматривает информацию только в количественном отношении, а речь несет качественно неоднородную информацию. Выдвигается гипотеза, что информация о языке есть функция от относительных вероятностей отклонений в речи частот языковых единиц от своих вероятностей.

Доклад Б. В. Беляева (Москва) был посвящен вопросу «О взаимоотношении между языком и речью с психологической точки зрения». Докладчик считает, что различие между языком и речью подтверждается их различной психологической характеристикой.

«Язык и речь как объекты лингвистики» — такова была тема доклада А. Г. Волкова (Москва), который критиковал представление о речи как о явлении индивидуальном, независимом и противоположном языку и выдвинул идею оптимальной структуры (системы).

Исходным пунктом доклада Г. П. Щедровицкого (Москва) «О системах волепроизведения «речи-языка» послужило различение объекта («речь») и предмета («язык») лингвистики.

Говоря «Об изоморфных соотношениях «язык-речь» и «сознание-мышление» М. М. Копыленко (Алма-Ата) отметил, что речь — это процессуальная форма языка, а мышление является такой же формой сознания; как речь, будучи отражением языка, не абсолютно адекватна ему, так и мышление не абсолютно адекватно сознанию; речь стремится к увеличению разнообразия, а язык — к его ограничению, эти закономерности отражаются также в мышлении и сознании.

В коллективном докладе О. С. Ахмановой, М. В. Давыдова и П. Н. Денисова (Москва) «К вопросу об единицах языка и речи» обосновывается необходимость и непригодность традиционного противопоставления единиц языка (фонема, морфема, конструкция) единицам речи (слог, слово, предложение) и ставится вопрос об единицах на дифференциальном и семантическом уровне.

Э. П. Шубин (Пятигорск) прочел доклад «О рациональном членении языкового общения». Характерным для языкового общения признается его «молекулярность» с одной стороны, а с другой — существование как «глобального целого».

Под термином «язык» следует понимать глобальный языковой продукт, термин «речь» относится лишь к «говорению».

По мнению В. Г. Гака (Москва), высказанному в докладе «Грамматика языка и грамматика речи», язык и речь, находясь в соотношении сущности и явления, различаются прежде всего как система и реализация этой системы.

Вопрос познаваемости системы языка на основании исследования речи был затронут В. П. Конецкой (Москва) в ее докладе «О построении некоторых микро-систем языка и их взаимоотношений с речью». Анализ проводился на простейших формах языкового материала, в качестве которых автор выделяет структурно-семантические микромоделли в речи и микросистемы в системе языка.

Концепция Т. П. Ломтева (Москва) по обсуждавшейся проблеме была изложена в докладе «Язык и речь», где за основу противопоставления языка и речи принимается положение о конструктивных и естественных лингвистических объектах. С этой точки зрения, язык представляет собой область конструктивных лингвистических объектов, а речь — область естественных лингвистических объектов.

Обратившись «К проблеме разграничения «языка» и «речи» как двух областей лингвистического исследования», Т. С. Глушак (Оренбург) определила взаимозависимость языка и речи как схему соотношения вариантов и инвариантов и предложила установить следующий параллелизм: системная норма как основной инвариант параллельна сумме фонология + структурная морфология + структурный синтаксис + структурная лексикология в статике. Речевая норма — это та же сумма в динамике + стилистика.

А. А. Леонтьев (Москва) в докладе «Языковая система и языковая способность» выдвинул одну из возможных модификаций трехчленной системы, составными категориями которой он признает языковую способность, языковую деятельность и языковый стандарт.

На последнем пленарном заседании были заслушаны доклады В. Д. Аракина (Москва) «Язык и речь, их соотношение», О. С. Широкова (Черновцы) «Поток звуков и система фонем», А. И. Ефимова (Москва) «Задачи стилистического изучения работ и публичных выступлений В. И. Ленина».

В понимании В. Д. Аракина, речь и система языка неразрывно связаны друг с другом и составляют две стороны одного общественного явления. Если система языка выполняет организующую функцию для речи, то речь, будучи производной от речевой деятельности, выполняет коммуникативную функцию; система языка представляет структурную сторону, речь — функциональную. Докладчик подчеркнул ряд моментов, характеризующих соотношение языка и речи.

О. С. Широков посвятил свой доклад описанию фонологической структуры албанского языка и обратил особое внимание на самый принцип исследования, идущего сначала от дистрибуционного и статистического анализа речи (звуков) к построению абстрактных схем (фонологическая структура языка), а затем от абстрактных фонологических схем (дифференторы и фонемы) к физическому субстрату (звуки речи как манифестанты фонем, «аллофоны», «вариации и варианты»).

В своем докладе А. И. Ефимов указал, что одной из актуальнейших задач фонологии является повышение культуры речи. С этой точки зрения, особое значение приобретает изучение языка и стиля работ и публичных выступлений В. И. Ленина как вершины речевой культуры и ораторского мастерства нашего времени. Докладчик подчеркнул необходимость создать словарь языка Ленина с семантико-стилистическими комментариями.

Прослушанные доклады вызвали оживленную дискуссию, которая свидетельствовала о большом интересе лингвистов к обсуждаемой проблеме. По многим вопросам мнения ученых расходились, были не только выдвинуты разные обоснования в пользу разграничения языка и речи, но и ставился вопрос о правомерности противопоставления этих двух понятий вообще.

И. Р. Гальперин (Москва), остановившись в своем выступлении на вопросе о мере упорядоченности в организации единиц, отметил относительность этой аргументации для различения языка и речи, поскольку в неупорядоченности речи обнаруживается все больше систематизированных единиц.

А. Я. Шайкевич (Москва), высоко оценив доклад Н. Д. Андреева и Л. Д. Андреевой, возразил против выбора заранее известных синонимов при измерении семантического расстояния между словами.

Б. Н. Головин (Горький) признал важность статистического алгоритма, изложенного Н. Д. Андреевым и Л. Д. Андреевой, но предложил уточнить, в каких областях и с какой целью его следует применять.

В. В. Белый предложил различать генетически языковое (инновации, потенциальные слова) и категориально языковое. Он выступил против высказанного Е. М. Галкиной-Федорук мнения, что слово однозначно в языке и многозначно в речи.

Говоря о процессе синтезирования речи, Ю. В. Рождественский указал, что задачей синтеза является не только воссоздание лингвистических единиц, но и их воссоздание

По мнению Р. Р. Каспранского (Москва), различие языка и речи наиболее ярко проявляется на фонологическом уровне: звуковы́е единицы языка — фонемы — представлены в языке в виде кванта пучка релевантных дифференциальных признаков.

Л. А. Близначенко (Киев) подчеркнул важность решения многих актуальных вопросов прикладного языкознания, а также высказался за разработку тематики и за координирование научных работ.

И. Б. Хлебникова (Москва) отметила, что функциональные единицы языка и речи аналогичны. Разница между ними в том, что единицы речи реализуются в ценной последовательности в речевом потоке, тогда как в языке они предстают в виде упорядоченной системы.

Б. А. Серебренников (Москва) высказал мысль, что вопрос о взаимоотношении языка и речи не может быть решен, пока не будет создано определенного понятия системы языка. Абстрактная система, изолированная от действительности, представляет резкий контраст по сравнению с живой индивидуальной речью. При создании более приближенной к речи системы противопоставление языка и речи может быть сведено к минимуму. Тезис де-Соссюра об индивидуальном характере речи и социальном характере языка ошибочен. Индивидуальная речь — акт не творческий, а типизированный. Минимум типизированных средств составляет среднюю норму, к которой стремится каждый индивид. Поэтому Б. А. Серебренников полагает, что противопоставление языка и речи не состоятельно.

И. А. Хабаров (Москва) говорил о необходимости вскрыть философскую основу взаимоотношений языка и речи.

Учитывая тот факт, что мы продолжаем понимать язык, утратив речь, В. М. Пикитин (Рязань) выступил за различение языка и речи, соотношение которых аналогично соотношению сущности и явления.

По мнению В. М. Андрущенко (Москва), лингвист, наблюдая над текстами, видит, что разнообразие их систематично, а система вариативна. Следовательно, есть два явления, находящиеся в диалектическом единстве.

А. А. Неелов упрекнул А. Г. Волкова в негативном подходе к решению проблемы.

О. М. Барсова (Москва), оставившись на докладах Г. В. Колшанского и В. Н. Ярцевой, отметила, что вопрос о выборе единиц и определении уровней языка следует отграничить от вопроса о соотношении единиц. Расчленение языка и речи как объектов исследования не говорит о их раздельном существовании.

В. Б. Беляев выразил уверенность в том, что язык и речь нетождественны, и привел ряд доводов в пользу этого положения. Однако различать язык и речь, как это делал Соссюр, нельзя. К последнему мнению присоединился и Г. П. Щедровицкий.

Г. С. Клычков говорил, что язык и речь не исчерпывают объектов лингвистики. Сейчас наиболее важным является исследование отношений уровней; схемой языковой системы более целесообразно считать спираль взаимопроникающих уровней, где наиболее важны области, промежуточные между фонологией и морфологией, морфологией и лексикой и т. п.

Р. А. Будагов (Москва) указал на необходимость пересмотреть принципы разграничения языка и речи. Философские предпосылки против этого разграничения: оно мало дает для развития теории, и, наконец, нет исследований речи, которые не были бы одновременно исследованиями языка. Р. А. Будагов отметил неясность некоторых обоснований, приводимых в пользу разграничения языка и речи.

А. А. Реформатский (Москва) высказал мысль, что лингвистам следует различать три понятия: язык, речевой акт и речь.

В. А. Никонов (Москва), рассказав об исследовании поэтической речи, подчеркнул, что статистические методы и математический анализ должны быть основой изучения лингвистики.

Е. М. Галкина-Федорук, высказав удовлетворение работой конференции, предостерегала против чрезмерного увлечения математикой, кибернетикой, логикой и другими науками.

А. В. Степанов (Москва) говорил о теории современного научного стиля и о понятии нормы в научной речи.

Во многих выступлениях ставился вопрос об используемых в современной лингвистике терминах и о необходимости упорядочения терминологии.

В прениях выступили также А. К. Власов (Душанбе), Р. С. Султанов (Баку), С. Н. Сыроваткин (Питтсбург), П. П. Резван (Москва), М. Р. Патадзе (Тбилиси).

Помимо пленарных заседаний, работа конференции проходила и на секциях грамматики и лексики.

На секции грамматики М. Д. Степанова (Москва) сделала сообщение о грамматической модели в языке и речи и также затронула проблему лексической модели

многи грамматических моделей в речи в связи с понятием «открытых» и «закрытых» классов слов в языке.

М. В. Раевский (Петрозаводск) изложил результаты наблюдений над фонологическими различиями между отдельными речевыми стилями в немецком языке.

М. В. Янкошвили (Тбилиси) указала на некоторые свойства слова в структуре языка и на их реализацию в речи.

Л. М. Уман (Орел) считает, что исследование интерференции в речи человека, говорящего на иностранном языке, позволяет проникнуть в специфику систем контактирующих языков и может быть использовано в методике обучения иностранным языкам.

Б. С. Хаймович (Харьков) предполагает, что можно говорить о языке и речи как о различных системах связи (парадигматической и синтагматической) одних и тех же элементов.

Три остальных доклада были посвящены проблеме предложения. Рассмотрев сложные предложения с причинными связями в современном немецком языке, О. Д. Боев (Орел) проанализировал взаимоотношения между коммуникативным содержанием и грамматической структурой предложения.

Е. Н. Шерстова (Орел) затронула вопрос о взаимоотношении определенных типов предложений и словосочетаний как единиц языка и речи.

Определив предложение как единицу и речи, и языка, В. Л. Юхт (Харьков) указала на важность установления структурной типологии предложений.

Выступившие в прениях положительно отзывались о заслушанных докладах и выдвинули ряд дополнительных соображений как общего, так и частного характера.

Е. И. Шендельс (Москва) считает, что при рассмотрении языка и речи мы имеем дело с двумя явлениями, в которых можно найти черты и общего, и отличного.

А. Н. Копылов (Рязань) наметил два пути определения семантической стороны предлогов: изучение речевого значения, которое обнаруживается на синтагматической оси, и языкового значения — на парадигматической оси.

Л. С. Бархударов (Москва) придерживается мнения, что язык существует в речи и что неправомерно разделять лингвистические единицы языка и речи.

Н. Я. Шейко (Пятигорск) указала на прикладное значение разграничения языка и речи и на его важность для разработки методики обучения иностранным языкам.

Л. П. Евдошенко (Кшинец) выразил свое согласие с основными положениями А. И. Смирницкого и предложил привлекать структурные методы в процессе преподавания.

В выступлении В. М. Андрищенко была высказана мысль, что к уровню языка относятся не единица, а ее абстрактный образ — модель. Модель можно рассматривать как образец и как систему описания.

Т. С. Глушак дала высокую оценку докладу М. В. Раевского, подчеркнув, однако, что в пределах немецкой общности нельзя говорить о существовании одного эталона произношения в обиходной речи.

Е. П. Логачева (Ленинград) остановилась на вопросе функционирования языковых единиц в речи и указала в связи с этим на возникновение новой дисциплины — лингвостилистики.

Доклад Л. М. Уман был положительно оценен З. М. Цветковой (Москва), которая приветствовала выход в сферу понятийного при анализе интерференции.

Н. Ф. Иртеньева (Москва) отметила доклады Е. Н. Шерстовой и Л. М. Уман и сделала ряд замечаний относительно анализа содержания языковых единиц.

Г. С. Клычков высоко оценил заслушанные доклады и поддержал концепцию А. И. Смирницкого по разбираемому вопросу, поскольку она противостоит позитивистскому пониманию языковой системы.

На секции лексикологии было заслушано 8 докладов. В большинстве из них рассматривалась проблема слова и значения слова в языке и речи.

А. А. Неелов (Орджоникидзе) остановился на вопросе о статическом и динамическом в структуре слова.

Н. И. Еремеева (Ленинград) говорила о взаимодействии двух категорий — значения и употребления (сочетаемости) слова.

Ю. Л. Лясот (Владивосток), отметив специфику некоторых лингвистических понятий и терминов в языке и речи, уделил особое внимание полисемии лексической единицы.

Н. А. Шехтман (Ленинград) сделал доклад о методике изучения семантической структуры слова в плане извлечения языка из речи.

В. А. Москвич (Москва) наметил ряд алгоритмических процедур семантического анализа текста, ведущих к созданию грамматик сочетаний смыслов и их типологии.

В двух следующих докладах освещались вопросы стилистики.

И. М. Владер (Москва) сообщила об опыте объективной лексико-стилистической

ческой классификации английских прилагательных на основе совокупности дифференциальных признаков в языке и речи.

М. Ф. Косилова (Москва) попыталась определить понятие «стилистического значения» при анализе выбора выразительных средств в произведениях художественной литературы.

И. М. Крейн (Одесса) предложила метод определения степени ассимиляции французских заимствований в современном английском языке и указала на связь между частотой использования заимствований в речи и степенью их ассимиляции в языке.

Обсуждение докладов вызвало оживленную дискуссию.

Подводя итоги проделанной работы, Г. В. Колшанский отметил, что отличительной особенностью конференции был ее действительно творческий характер, связанный с дискуссионностью самой проблемы и обилием точек зрения, представленных в многочисленных докладах и в развернувшихся прениях.

И. Н. МИЛЬГОФ
(Москва)

ВТОРАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ

В январе 1961 г. в Москве проходило Всесоюзное координационное совещание по актуальным вопросам славяноведения; на совещании были обсуждены перспективы и основные проблемы современной советской славистики. Исходя из рекомендаций совещания в области славянского литературоведения и языкознания, кафедра славянской филологии филологического факультета Ленинградского государственного университета вскоре после московской встречи славистов начала подготовку к Всесоюзной конференции, посвятив ей разработку конкретной и актуальной проблемы литературных и языковых связей.

Конференция работала в Ленинграде с 17 по 22 декабря 1962 года. Делегаты институтов АН СССР и союзных республик, преподаватели высших учебных заведений СССР более чем из 20 городов прочитали около 100 докладов по сравнительному славянскому языкознанию и литературоведению.

В секции литературоведов было прочитано 32 доклада представителей институтов АН СССР и вузов Ленинграда, Москвы, Львова, Житомира, Дрогобыча, Петрозаводска, Тамбова, Киева, Черновца, Ленинабада. Подавляющее большинство докладов было посвящено рассмотрению проблемы литературных межславянских и в особенности русско-славянских (главным образом XIX—XX веков) взаимосвязей на конкретном материале литератур. Доклады опирались на вновь извлеченные из архивов, книгохранилищ и малоизвестных публикаций материалы, раскрывающие действительное многообразие взаимосвязей славянских писателей, деятелей культуры и издателей.

Вместе с тем в докладах были поставлены общие проблемы развития славянских литератур. Это позволило докладчикам раскрыть картину богатства и разнообразия близкородственных и в то же время национально своеобразных славянских литератур, показать общие закономерности их развития и специфические особенности проявления этих закономерностей в каждой отдельной славянской стране. Рассмотренная в таком аспекте литературоведческая проблематика конференции продемонстрировала взаимное обогащение славянских литератур и значительно возросшее за последнее время сотрудничество литературоведов в духе современных идеологических задач всего социалистического лагеря.

Конкретность проблематики конференции проявилась и в том внимании, какое было уделено рассмотрению общих закономерностей литературных взаимодействий. На пленарном заседании с интересом был выслушан доклад Н. И. Кравцова (Москва) «Славянские литературы и мировой литературный процесс», в котором, кроме обзора основных этапов создания истории славянских литератур, освещались принципиальной важности методологические вопросы связей и взаимодействий славянских литератур между собой и с литературами неславянскими. Докладчик предложил подчинить вопросы изучения связей и влияний более общей проблеме — исследованию того, как славянские литературы усваивают художественный опыт других литератур.

Постановка подобных проблем, быть может, спорная в деталях, явилась отрядным и многообещающим моментом работы конференции. Обладая уже значительным накопленным фактическим материалом, советские слависты видят свою задачу в переходе к типологическому изучению родственных литератур и к определению их места в общем литературном процессе. Идеи эти нашли отражение и в докладах, и в оживленных прениях.

Доклад П. Н. Беркова (Ленинград) «Царство славян» Мавро Орбини в истории славянских литератур» был посвящен роли и значению сочинения далматинца Ор-

бини для идеологического обоснования славянского Возрождения и Просвещения

Методика сравнительного изучения литературы специально рассматривалась в докладе Л. С. Кишкина (Москва) «О формах литературных связей (на материале чешской и словацкой литератур)»; этих вопросов касались и многие другие докладчики.

Хотя конференция и не могла полностью решить всех возникших в этой связи вопросов, она с очевидностью показала, какую актуальность получают ныне вопросы методологии и теории сравнительного изучения литератур. Конференция показала также, что для комплексного решения таких вопросов необходимо добиваться тесной координации между учеными, занимающимися сходными, близкими или одинаковыми явлениями.

Прочитанные доклады свидетельствуют о том, что советские славысты разработали сложные и нужные вопросы исключительно большой и плодотворной историей роста и взаимообогащения родственных славянских литератур, исходя из актуальных задач идеологической борьбы нашего времени, ведут борьбу за отстаивание реалистических, гуманистических, демократических традиций славянской культуры. Критике некоторых современных югославских литературоведов, которые модернизируют творчество Р. Домановича, был посвящен доклад Г. И. Сафронова (Ленинград) «Об идеальной направленности творчества Р. Домановича (Доманович и Кафка)».

В докладе О. М. Малевича (Ленинград) «Карел Чапек и Россия» доказывалось, что восприятие чешским писателем передовых идей и художественного опыта русских писателей способствовало его переходу на путь реализма. Принципиальное уточнение представления о «западной» ориентации крупнейшего болгарского поэта начала XX в. П. П. Славейкова содержалось в докладе В. Д. Андреева (Ленинград) «Иенчо Славейков и Россия».

Вопросы воздействия русской и советской литературы на литературу украинцев, чехов, поляков, болгар, сербов, хорватов и других народов составили основу большинства докладов. В одних обстоятельно освещалось, как творчество славянских писателей пропагандировалось в русских журналах и газетах (например, доклады А. З. Дун (Ленинград) «В. Стефанек и русская литература», Д. С. Прокофьева (Москва) «Крашевский в русской критике», В. Н. Баскаков (Ленинград) «Крашевский в России» др.), в других — то, как принципы русских писателей, критиков находили отклик в литературном процессе славянских стран (например, доклады Е. З. Цыбенко (Москва) «Белинский и борьба за реализм в польской литературе 40—50-х годов XIX века», А. С. Мыльников (Ленинград) «Русская книга и чешское национальное возрождение», В. К. Петухов (Ленинград) «Фран Челестин — сотрудник журнала «Slovenski svet» (1890—1895)»; в третьих, были поставлены вопросы комплексного изучения связей между группами родственных литератур [доклады И. Я. Айзеншток (Ленинград) «Славянские связи украинских поэтов-романтиков», М. Я. Гольберт (Дробыч) «Основные проблемы украинно-югославских литературных взаимодействий в XIX веке», А. М. Балакин (Москва) «Сербско-русские литературные взаимосвязи в первой половине XIX века»]. В ряде докладов рассматривались процессы творческого усвоения конкретных идей, образов отдельных русских писателей славянскими авторами [доклады: А. И. Хватов (Ленинград) «Б. Нушич и русская литература», Ю. Д. Левин (Ленинград) «М. Л. Михайлов и деятели польского национального-освободительного движения», тов. Пивоварский (Житомир) «Старицкий и Шевченко», М. Ф. Чигринский (Ленинград) «Русская тематика в творчестве Павла Р. Витезовича»].

Логичными по своей направленности были доклады о литературных связях XX в. И здесь основную долю составили материалы о взаимодействии русской советской литературы со славянскими. Попытку установить идейное и художественное влияние некоторых советских поэтов на творчество болгарского поэта М. Исаева содержали доклады Ю. А. Левшиной (Тамбов) «М. Исаев и советская поэзия» и И. Ф. Копыстянской (Львов), проанализировавшей очерки и репортажи писателей Чехословакии, посвященные Закарпаты («Художественные очерки чешских писателей о Закарпатье» в докладе В. И. Злыднева (Москва) «Роль и значение советско-болгарских связей для литературного процесса Болгарии в 20—30-е годы» был дан анализ идейного влияния советской литературы на прогрессивную болгарскую литературу.

Однако изучение литературных взаимосвязей XX в. и в особенности современных не было представлено достаточно широко. Кроме названных уже тем, был прочитан доклад В. И. Шевчука (Киев) «Основные проблемы украинно-чехословацких литературных связей на современном этапе», а также доклад Н. Л. Стрешковой (Ленинград) об издательской деятельности «Детгиза», выпускающего произведения славянских авторов.

Области изучения древних литератур прежде всего следует отметить большой доклад Н. А. Мещерского (Петрозаводск) «Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской письменности (К истории текста славянской книги Евангелия)», в котором было прослежено распространение в славянских литературах ветхозаветных

апокрифов из памятников письменности общины Кумран, найденных недавно в районе Мертвого моря. Несколько докладов было посвящено связям в области древних славянских литератур и народного творчества: Л. С. Шептаев (Ленинград) «Сербская песня о Куликовской битве», Н. Я. Велецкая (Москва) «Русский героический эпос в трудах чешских ученых», Ю. К. Бегунов (Ленинград) «Болгарский писатель Христо Козьма Пресвитер в древнерусской литературе».

Секция выслушала также доклад польского ученого З. Либеры «Проблемы польского просвещения» и выступление словацкого литературоведа асп. Петруса, посвященное проблемам литературных связей.

В. Д. АНДРЕЕВ (ЛГУ)

* * *

В кругу основных проблем конференции находились проблемы истории славянских языков.

В секции языкознания большой интерес вызвал доклад проф. Б. А. Ларина «Об одной славяно-балто-финской изоглоссе», прочитанный на пленарном заседании. В докладе был дан анализ конструкции инфинитива с именительным прямого дополнения, как одной из общих черт «прибалтийского языкового союза». Вопрос о природе и происхождении этой конструкции получил широкую историческую перспективу на основе сопоставления ее с аналогичными синтаксическими моделями балтийских и финских языков. Последние лучше сохранили архаическую систему падежных отношений, в которой функции именительного падежа еще четко не разграничивались с функциями винительного. Сопоставление с прибалтийско-финскими языками позволяет понять употребление дополнений в именительном падеже не только при инфинитиве переходных глаголов, но и при личных формах глагола, что прослеживается в древнерусском языке и в современных диалектах. Пережиточная конструкция русского языка предстает как проявление двухтысячелетнего контакта славянских племен с финскими и балтийскими.

Историю одного из важнейших явлений, противопоставляющих восточнославянские языки всем другим славянским, — полногласия — посвятил свой доклад Ф. П. Филин «О первом полногласии и времени его возникновения». С возникновением данного явления автор связывает самый процесс образования самостоятельного восточнославянского языка. Считая неприемлемыми существующие точки зрения о преобразовании общеславянских сочетаний типа **torŭ* в V в. или в IX—X вв., автор на основании показаний старославянских и древнерусских письменных источников, славянских заимствований в неславянских языках и заимствований в славянские языки из неславянских языков доказывает, что время развития восточнославянского полногласия — VI — первая пол. IX в. В эту же эпоху образуются и другие особенности, изоглоссы которых полностью совпадают с общей границей восточнославянской речи.

Вопросу генезиса отдельных явлений славянских языков были посвящены доклады В. К. Журавлева (Минск), В. Мажулиса (Вильнюс) и В. Амбразаса (Вильнюс).

В. К. Журавлев в докладе «Генезис одной общеславянской изоглоссы» предложил новое решение вопроса о совпадении изоглоссы рефлексов **ě* и изоглоссы рефлексов носовых. (Соответствие и из праславянского о-носового узкому рефлексу *ě* и задержка деназализации там, где рефлекс *ě* возводятся к широкому *ä*.)

Закономерные соответствия рефлексов объясняются автором теми изменениями фонологической системы после монофтонгизации дифтонгов, которые были проиктованы естественным стремлением системы к устойчивости, т. е. к сохранению принципа симметрии. Две различные системы вокализма в славянских языках, возникшие в результате разной рефлексации **ě*, вызвали разные рефлексы носовых, соответствующие в каждой из систем закону противопоставлений.

В докладе «Дательный самостоятельный в литовском языке» В. Амбразас обобщил данные исследования названной конструкции в древнейших памятниках литовского языка, привлекая показания современных литовских говоров.

В противовес распространенному мнению о заимствованном характере конструкции автор считает этот оборот исконно литовским, что подтверждается данными современных говоров.

Основное содержание доклада В. Мажулиса «О происхождении балто-славянской формы генитива» заключалось в опровержении традиционной точки зрения, возводящей старославянское окончание род. пад. мн. ч. *ь к и-е* **ōp*, и доказательство того, что древним общеславянским окончанием было окончание **ōp*.

Ряд докладов был посвящен вопросу лексических взаимосвязей языков.

Оживленный обмен мнениями вызвали доклады В. С. Ващенко (Днепропет

ровск) и В. В. Акуленко (Киев). В докладе «О русско-украинско-болгарских языковых контактах» В. С. Ващенко на материалах переселенческих говоров (русских на Буковине, украинских на Волге, болгарских возле Одессы) показал разные результаты взаимодействия языков: заимствование отдельных элементов, создание коштами национальных форм, функционирование параллельных форм, нарастание новых межязыковых качеств.

В. В. Акуленко в докладе «Исторические источники интернациональной лексики в восточнославянских языках» рассматривал историю формирования фондов международных слов восточнославянских языков и специфику путей возникновения интернациональной лексики в каждом из языков.

Обсуждению участников конференции подверглось само толкование термина «интернационализм», который автор понимает как слово, включенное в изоглоссу не менее, чем трех синхронически сопоставленных неродственных языков.

На основании материалов «Малого атласа польских говоров» И. А. Дзеиндзевский (Ужгород) в своем докладе «Восточнославянские лексические наслоения в говорах польского языка» представил взаимоотношения польского языка с соседними украинским и белорусским языками. Восточнославянские наслоения в польских говорах, значительные и по количеству, и территориально, подразделяются на восточнославянские (украинско-белорусские заимствования), украинизмы и белоруссизмы. Они могут быть лексическими, словообразовательными, лексико-фонетическими и семантическими.

Взаимоотношения славянских языков с румынским на фонологическом уровне посвятил свой доклад Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Исходя из положений о том, что перцепционная, артикуляторная и акустическая близость звуков в двух языках, являясь внешним фактором, далеко не всегда отражают эквивалентность, представляемые этими звуками фонем или группы фонем, автор считает, что степень лингвистической близости языков и диалектов должна измеряться количеством и «асом» структурных соответствий между рассматриваемыми языками.

Для решения вопроса о славянском влиянии на дакорумынскую фонологию автор предлагает особые правила и лингвистические критерии для группирования фонем и дифференциальных признаков, основанные на дихотомической фонологии Якобсона Шаумяна.

Лексические связи языков были предметом рассмотрения также в докладах И. Е. Грицютенко «Некоторые вопросы лексического взаимодействия родственных языков (на материале восточнославянских языков)», А. А. Гребнева «О некоторых проблемах изучения лексики славянских языков в сопоставительном плане», Л. И. Коломиец (Харьков) «Наблюдения над терминологическими словосочетаниями в восточнославянских законодательных документах в связи со сравнительно-историческим их изучением», Я. Л. Жовтубрюха (Киев) «Украинская публицистическая лексика середины XIX в. в ее связях с русской, польской и чешской». В ряде лексикологических докладов освещалась судьба отдельных лексических групп в славянских языках или заключалась их сопоставительная характеристика. Так, несколько докладов касались вопросов славянской терминологии. Интерес участников конференции вызвали доклады М. А. Соколовой (Ленинград) «Из прошлого русской терминологии» и О. Н. Трубачева (Москва) «Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянских языках».

М. А. Соколова представила тщательно разработанную на основании данных древнерусских памятников и словарей историю нескольких специальных терминов.

В результате анализа текстовой терминологии в лексическом и словообразовательном плане О. Н. Трубачев провел сличение состава этой терминологии в индоевропейских диалектных группах и показал, в какой мере отношения на ранних реконструируемых стадиях отличаются от более поздних состояний.

Терминологической лексике посвятил свой доклад и Б. Л. Богородский (Ленинград) «Некоторые сербохорватские элементы в русской морской терминологии».

А. С. Герд, А. И. Корнев, М. П. Рускова (Ленинград) в докладе «О русских названиях рыб» показали распространение рассматриваемых слов в современных славянских языках в плане синхронии.

В докладе «Переносное употребление качественных прилагательных в славянских языках» Г. А. Лилич, проследив систему переносных значений прилагательного «устой» во всех славянских языках, показала, что причины и пути семантических сдвигов однокоренных прилагательных в отдельных славянских языках следует искать в разнообразии их связей с другими лексическими элементами.

О. С. Мжелская на основе детального анализа фонетической и словообразовательной природы слова «скорлуна» в нескольких говорах и в общедо-славянских языках подтвердила гипотезу о скрещенном, переходном характере некоторых говоров.

Д. Земзаре (Рига) в докладе «О названиях «золота и серебра» в балтийских и славянских языках» изложила историю балто-славянских наименований золота и се-

ребра и дала сопоставительную характеристику семантики этих слов в современных языках.

Несколько докладов были посвящены глагольной лексике.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «К вопросу о глаголах движения в древнерусском языке» рассматривал бесприставочные определенные глаголы движения в их отношении к виду, считая основы определенно-моторных глаголов имперфективными, но отмечая способность их выступать «в позиции совершенности».

Т. М. Возный (Львов) в докладе «Глаголы с суффиксами «ону», «ану», в восточнославянских языках» предлагает генезис названных суффиксов видеть в контаминации разновидных глаголов на *-а-ти* и *ну-ти* (*дерг-а-ть + дер-ну-ть > дерг-ану-ть*).

Наибольшее внимание в этой группе докладов привлек доклад В. Ф. Ивановой (Ленинград) «Болгарские эквиваленты русских отглагольных образований на *-мый*».

Опровергая традиционную теорию причастного происхождения болгарских форм на *-мый*, автор выдвинул точку зрения об именном характере данных образований. Он считает, что прилагательные со значением возможности-невозможности действия (*непобедимый, нерушимый*) возникли уже в старославянском языке как категория, отличная от причастий. Русский язык принял эту категорию как продуктивную языковую модель. Эта лексико-грамматическая категория перенята современным болгарским литературным языком из русского именно как живая категория.

Вопросам фразеологии был посвящен доклад М. М. Копыленко (Алма-Ата) «Проблемы изучения славянской фразеологии древнейшей поры».

Прочитанные на конференции доклады касались и проблем литературных славянских языков.

И. Палёнис (Вильнюс) в докладе «О принципах построения курса истории литературного языка» защищал историко-грамматический подход к изучению истории литературного языка в противовес стилистическому.

Доклад В. В. Анохиной «Опыт периодизации истории книжно-славянского языка» представлял попытку построить периодизацию книжно-славянского языка в соответствии с этапами его нормализации (X—XIII вв.; XIV—XVI вв.; XVI—XVII вв.). Этот принцип периодизации подвергся критике в выступлении Б. А. Ларина, Н. А. Мещерского (Петрозаводск) и др., отмечавших неизменность социальной базы и состава книжно-славянского языка и условность внешнего момента его нормализации.

П. П. Плющ (Киев) в докладе «Задачи изучения языка Пересопницкого евангелия» дал палеографическое описание памятника, характеристику его автора и места создания и наметил перспективы изучения памятника в плане взаимоотношений его языка с украинским деловым языком XVI в., народной разговорной речью и другими славянскими языками.

М. И. Привалова (Ленинград) в докладе «Из истории древнеславянского письма» защищала положение о более древнем, по сравнению с кириллицей, происхождении глаголицы, которая не является результатом спонтанного развития письма из «черт и резов», но восходит к грузино-армянской системе письма, связанной с индийским алфавитом. Именно глаголицу и нашел Константин у славян в греческих колониях, кириллица же — более позднее нововведение епископа Климента.

В резолюциях секций, оглашенных на заключительном пленарном заседании, отмечался высокий теоретический уровень докладов, новизна многих выдвинутых теоретических положений, богатство и свежесть фактического материала, представленного в сообщениях, плодотворность состоявшегося обмена мнениями между лингвистами, работающими в области славистики.

Конференция явилась значительным этапом в истории советского славяноведения и открыла новые перспективы его развития.

М. Б. БОРИСОВА (Саратов)

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20-х ГОДОВ

По инициативе кафедры русской и зарубежной литературы Ивановского государственного пединститута им. Д. А. Фурманова с 15 по 19 ноября 1962 г. проводилась научная конференция, посвященная изучению советской литературы 20-х годов. Тема конференции заинтересовала многих литературоведов. В Иваново приехали научные работники, преподаватели пединститутов и университетов центральных областей, Сибири, Поволжья, Украины, Молдавии. В работе конференции приняли участие ученые из Германской Демократической Республики, Чехословакии и Болгарии.

Было прослушано и обсуждено пятнадцать докладов, в которых советская литература 20-х годов рассматривалась в нескольких аспектах, весьма существенных для ее исследования.

Во многих докладах затрагивались вопросы художественного метода: «К вопросу об эстетическом идеале в поэзии С. Есенина» — А. Микешина (Кемеровский пединститут), «Проблема положительного героя в творчестве А. М. Неверова» — Л. В. Берловской (Одесский университет), «Ветер» Б. Лаврентева: апология стихийности или своеобразия эпохи и художественного метода писателя» — В. А. Ружины (Бельский пединститут), «Об одном недоразумении в истолковании произведения А. С. Серафимовича «Железный поток» — Н. Д. Старицына (Казанский пединститут). Этим же вопросам в основном посвящены и доклады научных работников Ивановского пединститута: К. С. Николаевой — «Художественное воплощение образа народа в драматургии 20-х годов», В. А. Бартенева — «Цемент» Ф. Gladкова как эталонное произведение советской литературы 20-х годов», П. В. Куприяновского — «О своеобразии творчества Д. А. Фурманова».

Ряд докладов был связан с анализом эстетической платформы литературных группировок 20-х годов и с выяснением того, какую позицию занимали крупные писатели в литературно-эстетической борьбе того времени. На эту тему выступили В. М. Черников из Саратовского университета («Литературная жизнь 20-х годов в оценке Д. А. Фурманова»), Н. Д. Григорьев из Владимирского пединститута («Эстетические взгляды В. В. Маяковского и «Левовские» теории искусства»), А. Ф. Киреева из Саратовского пединститута («Пролеткульт и вопросы художественного метода»). К перечисленным докладам близки по своей проблематике сообщения К. Завецкой (Горьковский университет) и «Вопросы мастерства в литературном наставничестве А. М. Горького» Ф. И. Беленькой (Ивановский пединститут).

Большой интерес вызвали доклады зарубежных литературоведов, рассказавших о восприятии советской литературы в Германии, Чехословакии и Болгарии. Доктор Хорст Флиге (Эрфуртский педагогический институт) на примере эрфуртской печати 1919–1933 гг. ярко показал, что советская литература плочилась тогда в Германии широкое распространение, вокруг нее шла идеологическая борьба, а Коммунистическая партия Германии использовала произведения советских писателей как важное средство пропаганды. Научный сотрудник Чехословацкой академии наук Ладислав Штипл для своей темы «Д. Фурманов в Чехословакии» раскрывал на широком фоне восприятия русской классической и советской литературы в его родной стране, где любовь к русской литературе имеет давние крепкие корни и традиции. Творчество Фурманова рассматривалось им в связи с проблемами развития чешской литературы и было включено в общую проблематику европейских литератур XX в. (в связи с судьбой жанра романа). До

клад болгарского литературоведа Цветаны Ташевой был посвящен переводам произведений Фурманова на болгарский язык и общественно-политическому воздействию фурмановского «Чапаева» в Болгарии.

В большинстве докладов ставились новые, не решенные в литературоведении вопросы, привлекались свежие материалы.

Так, в докладе А. Ф. Киреевой было показано несоответствие теории и практики Пролеткульта: поэзия военного коммунизма была романтической, а теории Пролеткульта отрицали романтизм. Литературные группировки, возникшие после Пролеткульта, эстетические вопросы, проблему художественного метода советской литературы рсшали также односторонне: РАПП выдвигал лишь вопросы идейности, партийности, Леф — вопросы формы, «Перевал» — вопросы мастерства, психологии художественного творчества и т. д. Все это, указывает докладчик, затрудняло выработку правильного, целостного представления о сущности нового искусства. Большое значение в выработке такого представления имели партийные документы по вопросам литературы.

Н. Д. Старицын считает необоснованным общепринятое мнение о том, что в «Железном потоке» А. С. Серафимовича отсутствует изображение партийного руководства в годы гражданской войны. Он отмечает, что формы воспитания масс были разнообразными. Главное в воспитании таманцев — примеры жизни, а жизнь, объективный ход истории все более и более убеждали их в правоте и величии дела большевиков. Таким образом, роль партии в «Железном потоке» раскрыта через изображение объективного хода истории.

Остро полемическим был доклад В. А. Ружины, который спорил с теми, кто не учитывает своеобразия романтического метода Б. Лавренева и объявляет его «стихийником». Анализируя повесть «Ветер», В. А. Ружина устанавливает, что сам автор развенчивает на страницах повести чуждую народу анархическую стихийность. Образ же Василия Гулявина надо рассматривать не как апологию стихии, а как воплощение революционного романтизма.

Крестьянские писатели — значительная сила в советской литературе 20-х годов. Их роль как идеологических и эстетических посредников между партией и многомиллионным крестьянством (а наша страна в 20-е годы в основном была земледельческая, крестьянская) явно недооценивается, крестьянские писатели выпали из поля зрения наших литературоведов. Вот почему доклад Г. С. Зайцевой, построенный на основе большого фактического материала, воспринят на конференции как положительное явление, как начало изучения важной и нужной темы.

Много нового было и в других докладах. Отмечая это, чешский ученый Ладислав Штиндл говорил об итогах конференции: «Советская литература 20-х годов заслуживает пристального внимания, так как она — ключ к пониманию всего дальнейшего развития не только советской, но и других социалистических литератур. Мне кажется что конференция нашла правильный подход к решению своих задач, стремясь ввести в научный оборот новый материал, ставить новые вопросы».

По материалам конференции решено издать сборник.

П. КУПРИЯНОВСКИЙ (Ивановский пединститут)

ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 1962 ГОДА

20 и 21 ноября в Государственном музее Л. Н. Толстого состоялись традиционные «Толстовские чтения», посвященные вопросам морали и нравственности в художественных произведениях писателя.

Вступительное слово произнес М. Б. Храпченко. Он подчеркнул, что в современных исследованиях вопросам морали и нравственности в художественных произведениях Толстого уделяется недостаточное внимание. И дело не в индивидуальных просчетах отдельных исследователей, а в определенной тенденции в нашем литературоведении. Всякая попытка рассмотреть положительную сторону нравственного учения Толстого считалась слабостью исследователя. Этическое содержание произведений Толстого, заметил М. Б. Храпченко, отнюдь не сводится к непротивлению злу насилием, нравственному самосовершенствованию отдельного человека и т. п. Толстой дорог нам не только осуждением «сумасшествия эгоизма», но и утверждением многих истинно народных начал нравственности. Поэтому нравственные поиски героев Толстого неотделимы от поисков истины, правды. Главную задачу «Толстовских чтений» М. Б. Храпченко видит в том, чтобы наметить конкретные пути решения этой сложной проблемы.

Затем были заслушаны четыре доклада. Н. И. Азарова посвятила свой доклад нравственным проблемам в автобиографической трилогии Л. Толстого, Э. Е. Зайденшнур — «Войне и миру», М. Н. Бойко — «Анне Карениной», К. Н. Ломунов — «Воскресению».

В обсуждении приняли участие Н. Н. Гусев (Москва), М. П. Николаев (Тула), Е. П. Андреева (Воронеж), Е. Л. Лозовская (Магнитогорск), Э. Г. Бабаяев (Москва), Е. Н. Купрянова (Ленинград), Б. Я. Бялокозович (Варшава), Г. В. Краснов (Горький), М. В. Минокин (Орел). Все выступавшие отметили актуальность поставленной на чтениях проблемы и высказали пожелание, чтобы музей стал координирующим центром в разработке этой важной стороны наследия Л. Толстого.

* *

22—23 ноября состоялись третьи «Толстовские чтения», проводимые ежегодно (с 1960 г.) Тульским государственным пединститутом им. Л. Н. Толстого и Музеем усадьбой «Ясная Поляна». На секции литературы было заслушано 12 докладов. Э. Г. Бабаяев в докладе «Л. Н. Толстой и европейские конгрессы мира» показал отношение писателя к вопросам войны и мира.

Е. П. Андреева (Воронеж) в докладе «О влиянии Белинского на творчество молодого Толстого» обратила внимание слушателей на то, как эстетические взгляды позднего Белинского сказались в творчестве молодого Толстого, особенно в постановке и решении проблемы народа. Пушкинским традициям в творчестве Толстого был посвящен доклад И. Е. Гриневой (Тула). М. В. Минокин (Орел) выступил с докладом «Толстой и Г. Успенский о рукописном памфлете крестьянина Т. Бондарева». Докладчик охарактеризовал еще одну неизвестную сторону деятельности Толстого: его суждения о рукописном памфлете Т. Бондарева «Трудолюбие и тушеядство».

М. П. Николаев (Тула) в докладе «Толстой и царские жандармы (об обыске в Ясной Поляне в 1862 году)» рассказал о новых материалах Тульского и Ленинградских архивов, свидетельствующих о пристальном внимании царской охраны к литературной и педагогической деятельности Толстого. Научный сотрудник Музея усадьбы «Ясная Поляна» Н. П. Пузин сделал интересный доклад об отношениях Л. Толстого и А. А. Фета, используя ряд новых, еще не опубликованных материалов. На чтениях

был зачитан доклад В. В. Смиренского (Волгодонск, Ростовская область) на тему «Л. Толстой и Фофанов». «Сущность религиозно-нравственного учения Л. Н. Толстого» — тема доклада И. Е. Семеновской (Ясная Поляна). Н. А. Милонов (Тула) сделал сообщение на тему: «Басов-Верхоанцев о Л. Толстом».

Роману «Война и мир» были посвящены два доклада: Н. Ф. Мурашова (Винница) «Приемы раскрытия образа Кутузова в романе «Война и мир» и А. К. Бочаровой (Пенза) «Особенности толстовской характеристики Платона Каратаева». В. В. Основин (Арзамас) выступил с докладом «О жанре «Живого трупа» Л. Толстого».

Одновременно работала секция русского языка, на которой были заслушаны следующие доклады: Т. А. Григорьевой (Рязань) «Галлицизмы в романах Л. Н. Толстого», Л. С. Ряховской (Рязань) «Суффиксы субъективной оценки в творческой практике Толстого», А. И. Чиковой (Тула) «Сложные слова в романе Л. Толстого «Война и мир», М. В. Добрыдневой (Рязань) «Наречия в творчестве Л. Толстого», Л. А. Андреевой (Рязань) «Средства выражения состояния субъекта и объекта у Л. Толстого», Е. А. Черницыной-Провоторовой (Рязань) «Система средств, выражающих причинные отношения, в творчестве Л. Толстого», А. Ф. Михеева (Рязань) «Выражение следствия в простом предложении у Л. Толстого», В. П. Ананьева (Тула) «Из наблюдений над определениями в романе «Война и мир», В. М. Никитина (Рязань) «Изобразительные качества обстоятельства образа действия в творчестве Л. Толстого», В. М. Цепниковой (Тула) «Несобственно-прямая речь как способ авторского повествования в произведениях Л. Толстого», Н. Великодворской (Тула) «О некоторых явлениях синтаксической синонимии в языке Л. Толстого», В. В. Попова (Тула) «Приемы и функции использования повторяющихся членов и синонимических рядов в автобиографической трилогии Л. Толстого».

В. В. ОСНОВИН (Арзамас)

В лице П. Д. Ухова наука потеряла неутомимого искателя и исследователя, ученики — талантливого учителя, друзья — доброго и отзывчивого человека.

Научная биография покойного коротка: она охватывает всего 12 лет. В 1950 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Былины об Илье Муромце». Работа Ухова была полемически направлена против всего застойного и консервативного в фольклористике. Он стремился подойти к эпосу по-новому. При страстной увлеченности своим предметом автор относился к нему критически и искрывал все противоречия крестьянского мировоззрения. Эти черты стиля работ П. Д. Ухова — сроднение любви к своему предмету с критичностью по отношению к материалам — он сохранил в течение всей жизни. Он никогда не позволял себе необдуманных суждений или мнений, не основанных на детальной и скрупулезной проработке материала. Касаясь спора о современном фольклоре, он писал: «Казалось бы, для решения спора было необходимо обратиться к анализу того материала, который стал предметом дискуссии, но этого не произошло. Материал до сих пор остается нетронутым, а дискуссия не обостряется» («Кто и как сочиняет частушки в советское время»). Интерес к эпосу он сохранил до последних дней. Стремясь к точному анализу материала, он нашел метод атрибуции и паспортизации, который должен войти в нашу науку как «метод Ухова». В работе «Типические места» (*loci communes*) как средство паспортизации былины он устанавливает, что каждая область, каждый район и даже отдельные исполнители имеют свои, типические для них «общие места» или вариации их. Отсюда очень простая мысль: типические места могут служить надежным средством паспортизации былины, если былина записана была неизвестно где и от кого. Применительно этого метода он показал на ряде блестящих анализов, точно определив, например, что записи П. С. Ефименко были сделаны от певца Пономарева. При помощи этого метода можно установить исполнителя даже тогда, когда эти записи произведены в таких местах, куда скиталец, например, переселился. Можно установить также фальсификации и определить источники, из которых черпали фальсификаторы. Этот метод очень прост и надежен, но вместе с тем его трудно применять, пока не будет указателей общих мест. П. Д. Ухов владел материалом на память, и на вопрос, заданный ему экспромтом, где могли быть записаны былины с тем или иным общим местом, отвечал сразу же безошибочно. Применение этого метода дало целый ряд важнейших открытий. Так, при помощи этого метода можно было установить, что все былины сборника Кириш Данилова записаны одним лицом, а именно, самим исполнителем. Этот простой тезис — плод кропотливого труда по сопоставлению деталей текстов, по изучению характера их совпадений и отличий. Обращаясь к сборнику Рыбникова, П. Д. Ухов мог вскрыть целый ряд ошибок издателя этого сборника 1909 года А. Е. Грузинского. П. Д. Ухов мог совершенно точно определить, от кого были записаны былины без обозначения исполнителей. Чтобы поверить себя, он обратился к архиву Рыбникова. Архив этот считался утерянным, но Петру Дмитриевичу удалось его найти и решить все спорные и неясные вопросы, связанные со сложной историей публикации этого собрания. Смерть не дала П. Д. Ухову осуществить новое, подлинно научное переиздание песен, собранных Рыбниковым.

Наиболее блестящие открытия были им сделаны при разработке материалов собрания Киреевского. И здесь П. Д. Ухов обратился к архиву. Настойчивость, методичность и неутомимость в архивных поисках привели к ряду важнейших находок. Им, например, были найдены тетради записей народных песен, сделанных Кольцовым. Со свойственной ему обстоятельностью Петр Дмитриевич выяснил все детали, связанные с этим собранием, что дало очень много нового для понимания как Кольцова, так и народной песни. По-новому представлена и роль Белинского в этом деле. Найдена подготовленная Гоголем к печати тетрадь дум и исторических песен. Найдены письма Турганова к Бессонову. По этим письмам виден интерес Турганова к народной поэзии: он просит прислать ему книги «Калики перехожие» Бессонова, «Белорусские песни» Сахарова и «Причитания северного края» Барсова.

Главное же открытие заключалось в том, что вопреки утверждению Сперанского, будто в изданной им «Новой серии» песен Киреевского издано все, П. Д. Ухов нашел еще около 2000 текстов песен. Об этом было доложено на IV международном конгрессе славистов. Материал этот подготовлен к печати для издания в одном из очередных томов «Литературного наследства», и надо надеяться, что они выйдут в недалеком будущем. Работая над лирическими песнями архива Киреевского, П. Д. Ухов увидел, что метод, применяемый им к анализу былины, применим и к песням лирическим. Об этом он сделал краткое сообщение в печати, но основной труд, посвященный этому вопросу, оформлен в докторской диссертации, которую он успел закончить и представить к защите. Диссертация эта посвящена важнейшему вопросу — вопросу о методах атрибуции в фольклористике и проведена на материале собрания П. Д. Киреевского. Здесь подробно раскрыта вся история собирательской работы Киреевского и его многочисленные

ных корреспондентов, выяснена неприглядная роль Бессонова как редактора этого собрания. Все это обставлено богатейшими фактическими данными и дает новые материалы к истории общественной мысли 30—40-х годов. Подробно разработана методика и методология атрибуции и блестяще применена к новым материалам Киреевского. Научная общественность вправе ожидать, что Московский университет, где работал покойный, примет все меры к скорейшему изданию этого полностью законченного труда.

Охарактеризовать все находки и исследовательские работы П. Д. Ухова здесь нет возможности. Некоторое представление об этом дает список его трудов. Необходимо еще напомнить, что Петр Дмитриевич был большим мастером научно-популярного изложения. Он умел учить, воспитывать, увлекать, умел излагать материал кратко и ясно, искусно отделяя важное от второстепенного. Перу Петра Дмитриевича принадлежит ряд учебных пособий и научно-популярных трудов. Изложение его всегда отвечало высоким требованиям научности. Он нигде в угоду читателю не упрощал материала, наоборот: он вводит читателя в проблематику, оставаясь при этом всегда объективным и беспристрастным. Этими качествами обладает, например, его статья в книге «Эпос славянских народов» (1960), посвященная русским былинам. Особо выделить следует его антологию «Былины» (1957), предназначенную преимущественно для студентов. Каждая былина сопровождается обстоятельными научными комментариями. Книжке предпослана вступительная статья, вводящая читателя в основные проблемы изучения русского эпоса.

П. Д. Ухов был бессменным автором, соавтором или редактором программ по фольклору для вузов, выпускаемых Министерством высшего образования СССР; им же составлено прекрасное пособие по фольклору для студентов-заочников.

Многообразная и плодотворная жизнь оборвалась слишком рано, но и то, что сделано, имеет для советской науки о народном творчестве первостепенное значение.

В. Я. ПРОПП

СПИСОК ТРУДОВ П. Д. УХОВА *

1950

1. Былины об Илье Муромце (Опыт литературоведческого анализа), Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук, М., 1950, 12 стр. (МГУ).

1951

2. Редактура: Программа по русскому фольклору (для филол. фак-тов гос. унив.), М., 1951, 23 стр. (МГУ). См. №№ 3, 6, 7, 12, 16, 26.

1952

3. Отв. редактура: Программа по русскому народному творчеству (для филол. фак-тов гос. унив.), М., 1952, 22 стр. (МГУ). См. №№ 2, 6, 7, 12, 16, 26.

1953

4. К истории термина «былина». Вестник Моск. унив., 1953, № 4 (серия общественных наук, вып. 2), стр. 129—135.

1954

5. Былины. — В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов, М., Учпедгиз, 1954, стр. 257—291. См. № 8.

6. Соавторство: Программа по русскому народному творчеству (для филол. фак-тов гос. унив.), М., 1954, 22 стр. (Мин-во высш. образования СССР. МГУ). См. №№ 2, 3, 7, 12, 16, 26.

1955

7. Составитель: Программа по русскому народному творчеству (для филол. фак-тов гос. унив.), Харьков, Изд. Харьковского унив., 1955, 19 стр. См. №№ 2, 3, 6, 12, 16, 26

1956

8. Былины. В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов, Изд. 2-е, М., Учпедгиз, 1956, стр. 324—366. См. № 5.

9. Из наблюдений над стилем сборника Кириши Данилова. — В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования, I, М. Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 97—115.

10. Методические указания по курсу «Русское народное творчество». Для студентов-заочников I курса филол. фак-тов гос. унив., М., 1956, 34 стр. (МГУ). См. №№ 24, 33.
11. Рецензия: В. Я. Пропп. Русский героический эпос, Сов. этнография, 1956, № 2, стр. 147—150.
12. Соавторство: Программа по русскому народному творчеству (для филол. фак-тов гос. унив.), М., 1956, 22 стр. (Мин-во высш. образования СССР. МГУ). См. №№ 2, 3, 6, 7, 16, 26.

1957

13. Составление и вступ. статья в кн.: Былины, М., Изд. МГУ, 1957, 515 стр.
14. О типических местах (*loci communes*) в русских народных традиционных песнях, Вестник Моск. унив., 1957, Историко-филол. серия, № 1, стр. 94—103.
15. Типические места (*loci communes*) как средство паспортизации былин. — В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования, II, М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 129—154.
16. Соавторство: Программа по русскому народному творчеству (для филол. фак-тов гос. унив.), М., 1957, 21 стр. (МГУ). См. №№ 2, 3, 6, 7, 12, 26.

1958

17. Забытые тексты былин середины XIX века, Вестник Моск. унив., 1958, № 1, стр. 159—167.
18. А. Кольцов — собиратель народных песен, Подъем, Воронеж, 1958, № 6, стр. 90—100.
19. Найденные тексты 2000 народных песен, Литература и жизнь, 1958, № 13, 7 мая 1958, 24 стр. См. № 35.
20. Неизвестные материалы из собрания П. В. Киреевского, М., Изд. АН СССР, 1958, 24 стр. См. № 35.
21. О подлинности текста былины, записанной Меем, НДВШ, «Филологические науки», 1953, № 1, стр. 86—89.
22. Постоянные эпитеты в былинах как средство типизации и создания образа. В кн.: Основные проблемы эпоса восточных славян, М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 158—171.
23. Примечания и вступ. статья в кн.: Русские народные былины, М., Детгиз, 1958, 318 стр.
24. Учебно-методическое пособие по курсу «Русское народное творчество» для студентов-заочников I курса филол. фак-тов гос. унив., М., 1958, 72 стр. (Научно-метод. кабинет по заоч. обучению при МГУ). См. №№ 10, 33.
25. Ценная находка (Записи народных песен, сделанные А. В. Кольцовым). Комсомол. правда, 1958, № 58, 9 марта.
26. Соавторство: Программа по русскому народному творчеству. М., 1958, 21 стр. (МГУ). См. №№ 2, 3, 6, 7, 12, 16.

1959

27. Н. В. Гоголь — собиратель дум и украинских исторических песен, Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. I, стр. 27—39.
28. Кто и как сочиняет частушки в советское время?. Вопросы литературы, 1959, № 12, стр. 174—179.
29. Неизвестные письма И. С. Тургенева, Москва, 1959, № 9, стр. 223—224.
30. Неожиданная находка (Записи украинских исторических песен, сделанные Н. В. Гоголем). — Смена, 1959, № 6, стр. 8.
31. Об издании «Песен» П. Н. Рыбникова П. А. Бессоновым и А. Е. Грузинским. В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования, IV, М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 155—167.
32. Русский эпос. — В кн.: Эпос славянских народов. Хрестоматия, М., Учпедгиз, 1959, стр. 7—23.
33. Русское народное творчество. Учебно-метод. пособие для студентов-заочников I курса филол. фак-тов гос. унив., Изд. 3-е, Минск, 1959, 72 стр. (МГУ). См. №№ 10, 24.
34. П. И. Якушкин и А. Н. Афанасьев — издатели «Старой серии» песен П. В. Киреевского. — НДВШ, «Филологические науки», 1959, № 4, стр. 169—173.

1960

35. Неизвестные материалы из собрания П. В. Киреевского. В кн.: Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских ученых на IV Междунар. съезде славистов, М., 1960, стр. 325—341. См. № 20.

36. Раннее свидетельство о бытовании частушек. — Вестник Моск. унив., 1960. Серия VII, филология, журналистика, 4, стр. 67—70.

1961

37. Детские песни, записанные А. Марковым в центральных губерниях в 1892—1896 годах. — Вестник Моск. унив., 1961, серия VII, филология, журналистика, № 4, стр. 71—86; № 5, стр. 71—86.

38. Загадка Пушкина, Москва, 1961, № 1, стр. 213—215.

39. Рецензия: С. Г. Лазутин. Русская частушка. Вопросы происхождения и формирования, Сов. этнография, 1961, № 3, стр. 118—119.

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Г. П. Щедровицкий. Методологические замечания к проблеме происхождения языка	3
В. А. Гречко. О лексической синонимии в русском языке	19
Н. А. Крылов. Типы основ в современном русском языке	31
Т. И. Фролова. Процесс вычленения префиксов романского происхождения в английском языке	44
Е. С. Троянская. К вопросу о полифлективных формах в немецком языке	58
А. В. Чичерин. О литературоведческом понимании грамматических форм	67
Н. Ф. Бельчиков. О разысканиях в научной работе	72
О. Л. Костылев. Критика толстовства в произведениях Каронина	82
Н. В. Тимохина. Д. Н. Мамин-Сибиряк в журнале «Русское богатство» в 90-е годы XIX века	90
В. П. Оводенко. Добролюбов о Шекспире (Навстречу юбилею Шекспира)	104
Л. С. Гордон. Забытый поэт и переводчик Петр Афанасьевич Пельский (1765—1803)	117
Филологическое образование необходимо улучшить	128

Материалы и сообщения

Л. Р. Зиндер. Фонематическая сущность долгого палатализованного [š:] в русском языке	137
Е. С. Скобликова. Об одной конструкции в словосочетаниях с однородными определениями в русском языке	143
Р. Н. Попов. О конструкции типа <i>выйти в люди</i> в современном литературном русском языке	151
Б. И. Блажев. О семантико-синтаксической структуре сочетаний типа <i>все возможное</i> (на материале русского языка с некоторыми сопоставлениями с болгарским языком)	156
А. Н. Добромыслова. О происхождении некоторых особенностей местного склонения в северо-западных говорах	164
А. Н. Копылов. Некоторые основы изучения предлогов	169
Т. А. Иванова. Что говорят рукописи и книги (Об основном тексте «Демона»)	176
Б. С. Виноградов. Бэла и песня Казбича	187
А. Д. Михайлов. Жоашен Дю Белле и Клеман Маро (О двух переводах из Петрарки)	199

Критика и библиография

Г. И. Белозерцев. W. K. Matthews, Russian Historical Grammar. University of London, The Athlone Press, 1960. XIV+362 («London East European Series» Group II)	204
А. В. Алпатов. Новая книга об Алексее Толстом	215
А. П. Смотрич. W. Wimmel, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der Augustuszeit. Wiesbaden, 1960, 360 S. («Hermes», Einzelschriften 16)	221

Научная жизнь

Межвузовская конференция «Язык и речь»	226
Вторая Всесоюзная конференция славистов	232
Конференция по изучению советской литературы 20-х годов	237
Толстовские чтения 1962 года	239

<u>Петр Дмитриевич Ухов</u>	241
---------------------------------------	-----

Технический редактор *Л. А. Григорчук*
Корректор *Т. Д. Хромцева*

Сдано в набор 12/II—63 г.	Подписано к печати 18/IV—63 г.
Бумага 70×108 ¹ / ₁₆ 15,5 печ. л.	21,24 усл. печ. л. 20,02 уч.-изд. л.
Тираж 1740 А-02327	Заказ 226 Цена 1 руб

Государственное издательство «Высшая школа»,
Москва, К-62, Подсосенский пер., 20

СОДЕРЖАНИЕ

выпусков Ученых записок Московского областного педагогического института, изданных кафедрой русской литературы в 1960 г.

ВЫПУСК 5

1. Т. С. Михеева, Песни о взятии Казани.
2. Л. А. Беляева, Проблема положительного героя в пьесе И. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен».
3. Н. С. Гродская, Из наблюдений над речевой характеристикой в творчестве А. Н. Островского.
4. З. П. Сурганова, Театр и образы актеров в пьесах А. Н. Островского.
5. Н. А. Якоби, К истории создания А. К. Толстым трагедии «Царь Федор Иоаннович».
6. Ю. Г. Овсиенко, Проблема положительного героя в произведениях А. П. Чехова о народе.
7. Г. М. Миронов, Капиталистический Запад в творчестве В. Г. Короленко.
8. В. З. Горная, Образ Константина Левина (К вопросу об истории создания).

ВЫПУСК 6

1. Т. И. Михалева, Ранняя беллетристика А. А. Бестужева.
2. А. М. Гуревич, Образ Мазепы в «Войнаровском» Рыльского.
3. У. Р. Фохт, Поэмы М. Ю. Лермонтова.
4. Р. И. Альбеткова, Изображение характера в произведениях М. Ю. Лермонтова.
5. С. Н. Иконников, О некоторых особенностях стиля зрелой лирики Лермонтова.
6. Л. А. Беляева, К вопросу о положительном герое в русской классической литературе XIX века.
7. М. А. Цейтлин, Развитие жанра в романах Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо».
8. Ю. Г. Овсиенко, Проблема положительного героя в пьесе А. П. Чехова «Три сестры».

ВЫПУСК 7

1. А. В. Кокорев, Журнал разумных общинков.
2. А. К. Базилевская, Некоторые особенности реализма ранних повестей М. Е. Салтыкова Щедрина.

3. В. С. Совалин, В. Курочкин в борьбе с поэзией «чистого искусства».

4. А. М. Новикова, Подпольные песни эпохи революционных демократов «60-х годов XIX века».

5. Н. М. Марягина, Некоторые особенности изображения персонажей в очерках Г. Успенского последних лет (1884—1890 гг.)

6. А. А. Мокрушин, Творчество Н. Н. Златовратского 80—90-х гг.

7. Г. М. Мионов, Образ рабочего-марксиста Дениса Катриана в очерке В. Г. Короленко «Наши на Дунае».

8. М. М. Ушаков, Педагогические взгляды Д. И. Тихомирова.

ВЫПУСК 8

(Из печати выйдет в 1963 г.)

1. Л. Я. Круглик, Мастерство Л. Н. Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность».

2. А. М. Новикова, Севастопольская песня Л. Н. Толстого.

3. М. А. Цейтлин, «Утро помещика» Л. Н. Толстого.

4. В. З. Горная, Мастерство Л. Н. Толстого в романе «Анна Каренина».

5. И. Е. Гринёва, «Анна Каренина» в критике 70-х гг.

Заказы на данные выпуски «Ученых записок» можно направлять по адресу: Москва, ул. Радио, д. 10-а, Московский областной педагогический институт, кафедра русской литературы.